

Валентин
РАСПУТИН

**Что
в слове,
что
за словом?**

**Что
в слове,
что
за словом?**





Валентин
РАСПУТИН

**Что
в слове,
что
за словом?**



ИРКУТСК
ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЕ
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1987

P2
P24

Распутин В. Г.

P24 **Что в слове, что за словом?: Очерки, интервью, рецензии.**— Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1987.—336 с., фр.

75 к.

P 4702010200—20 18—87
M141(03) — 87

P2

© Восточно-Сибирское
книжное издательство, 1987

Знаки Родины





ПОЛЕ КУЛИКОВО

Опять над полем Куликовым
Взошла и расточилась мгла,
И, словно облаком суровым,
Грядущий день заволокла.

А. Блок

Весь день то дождь хлестал, то снег, небо в непри-
вычной для меня степной стороне, ничем не поддержи-
ваемое, сходилось с землей совсем близко, и в серой
мгле трудно было что-то рассмотреть. Мы ехали с юга,
откуда пришли и куда бежали затем татары; у Краси-
вой Мечи, доколе гнали их русские ратники, мы остано-
вились и долго глядели на темную воду и на берега,
спрашивая, помнят, ведают они славу свою или нет. Но
изрытые, истерзанные машинами берега едва ли что пом-
нили... И мы поехали дальше, в сердце этой славы и па-
мяти, куда с самого начала и правили, для чего и затея-
ли эту поездку. И то, что получилась она с обходом, с
порядочным кругалем, вышло даже хорошо: в старых
русских городках, прежде громких, в истории нашей па-
мятных, сбереженных удачей и надеждой и для после-
дующей памяти, в городах, напоминающих в долгом и
трудном пути русской судьбины стоптанные башмаки со
сверкающими новыми набойками, мы подворачивали к
часовенкам и камням над братскими могилами, останав-
ливались перед досками с великими именами и заходили
в открытые, работающие музеи и в святыни, ждущие
своего восстановления, все эти дни мы словно бы прохо-
дили необходимую душевную подготовку, или, лучше
сказать, посвящение перед главной встречей, чтобы по-

зволилось нам за кратким сегодняшним мигом и верхним слоем земли увидеть и почувствовать нечто большее, чем могут вместить обычные впечатления. И уж, кажется, на подъезде изнемогали мы от увиденного и услышанного, не в силах сразу отделить, чем можно гордиться и чего нужно стыдиться.

После обеда даже и не серая, а темная мгла стала наваливаться с неба, заставляя нас то и дело взгляды-вать на часы. Встречные машины прошмыгивали с зажженными фарами, белый свет сомкнулся и был забит мокрым снегом, придорожные деревни наплывали как-то непрочно и случайно, точно их подбивало непогодьем. Но часу в шестом, когда и без того вот-вот натянуться сумеркам и когда мы готовы уже были смириться, что нет, не успеть при свете, вдруг... не подозревайте в этой картине придуманной для красного словца, влад блоковским строкам, символика, я пишу, как было, хотя в прежние времена она, вечерняя эта картина, во всем ее продолжении, наверняка была бы принята за великое знамение. Едва свернули мы с богородицкой трактовой дороги вправо к Полю Куликову, как снег прекратился, и произошло это действительно вдруг, в один миг сразу за поворотом, а тяжелая чугунная тьма неба в том месте, где заходить солнцу, также вдруг потянулась, зашевелилась, и сквозь нее проступило желанное обещание, легонько засветившее степь: так уж и быть, ради вас, поэтому что вы издалека, попробую...

Я искал впереди глазами шпиль-памятник, о котором был слышан и который бы заранее показал Поле, и не сразу заметил, что и пашня по обе стороны от дороги, и успевший за вечер задержаться на ней снег, и редкие дальние перелески, и вся обозримая огромная степь закружились и поплыли уже и не от нашего движения, а от какой-то иной силы. Я взглянул на закат — за пять минут там чудом успела обнажиться полоса чистого неба, которая прямо на глазах все расширялась и

расширялась, вздымая над собой черноту, и на глазах же, как божественная плоть, оживала и наливалась аlostью. От него-то, от волшебного красного света, плывущего с запада, замороженно загорелась и закружилась степь, творя свое дикое, пусть и на паханом, но и тоскливое торжество.

А тут и шпиль показался, вернее, прежде крест, поднимающийся от земли, и одновременно чуть правей еще кресты — эти, как я догадался, над храмом-памятником Сергию Радонежскому, благословившему князя Дмитрия на великую битву и немало сделавшему для объединения русских сил под его началом. И покуда подъезжали мы смиренно, сбросив скорость, чтобы лучше видеть открывающееся Поле, кресты вырастали все выше и выше, и вот уже под левым, одиноким, обозначился темный столб, а под правыми, как три васнецовских богатыря, встало в рост трехчастное здание храма.

Было отчего ошеломленно замереть и забыть на минуту о памятниках, когда мы вышли из машины: казалось, это могло быть только здесь, над Полем Куликовым, и, казалось, выступив из недр веков, являло оно не случайный смысл. В полгоризонта полыхал закат, да не солнцем, нет, а словно бы его растекшимся во всю ширь освободившегося неба огнем, набирающимся изнутри, из какой-то горячей горловины; четкую и чистую кровавую раскаленность этого зарева чертили еще местами дымные полосы из отступающей черноты, но они быстро погружались, тонули и исчезали бесследно в огненной глубине, которая, не умиряясь, едва ли не видимыми подтайными взмахами снова наплескивалась на темный берег. И если бы не вечернее время, если бы не сочность и неистовость красок, вполне можно было бы принять это скоро нарастающее зарево за рассвет, выступивший не в свой черед где-нибудь посреди ночи, — так мощно и грозно, продолжая с пугающим мерцанием накаляться, нависли друг против друга над степью красная и черная стороны.

И как было предку нашему при виде столь дивного и жуткого зрелища не пасть на колени и не просить у неба защиты — да если случалось оно еще накануне его судьбы?!

По одним источникам больше ста тысяч, по другим — двести пятьдесят, а по третьим — четыреста тысяч войска выступило на защиту русской земли и русской чести. У Мамаю вместе с наемной генуэзской пехотой набралось еще больше. Как раз в той стороне, где горит закат, и выстроилась в переломный для нашей истории день 8 сентября 1380 года, перейдя ночью Дон, сила Дмитрия. Татары, поджидая на подмогу Ягайлу Литовского и Олега Рязанского (должно быть, и сейчас, шесть веков спустя, екает стыдливо сердце ни в чем не повинных рязанцев от вероломства их предка, князя Олега, и позже, в годину страшного нашествия Тохтамыша, снова предавшего Дмитрия Донского — ох, как памятно и взыскательно время!), татары огромным шумным лагерем бурлили здесь, откуда мы сейчас осматриваем Поле.

Андрей Анисимович Родиончиков, работник краеведческого музея, ведет нас по аллее на самую высокую точку Поля, на знаменитый, увенчанный ныне памятником Дмитрию Донскому, Красный холм. Здесь, по преданию, находилась ставка хана Мамаю, отсюда он в окружении пяти своих князьков руководил боем. С того места, где решено устроить смотровую площадку на краю холма, Родиончиков показывает нам расположение русских войск. Говорит он негромко и неторопливо, будто принимая нас за бывалых, знакомых с этой битвой людей, которым нужно только напомнить, подсказать ее общую картину, возможно, несколько стершуюся в памяти за давностью лет.

Утром 8 сентября пал сильный туман. Перевезшись ночью «за Дон в поле чисто, в ордынскую землю на усть Непрядвы-реки», Дмитрий остановился близ нынешней деревни Монастырщина и повелел своим полкам готовиться к сечи. Полк правой руки занял позиции во-он там, близ

обрывистого берега Нижнего Дубика, речки ныне высохшей, русло которой едва показывают лощина и овраги; полк левой руки — за речкой Смолкой, тоже высохшей, неподалеку от впадения Непрядвы в Дон, а в центре, как главная, основная сила, большой и передовой полки, за ними на случай неудачи — резервный полк. Но был еще и решивший затем исход битвы засадный полк, который прятался до поры в Зеленой дубраве за Смолкой — «во-он там, где березовые посадки», — показывает вправо, в сторону Дона Андрей Анисимович, постепенно увлекаясь, поддержанный нашей сообразительностью и пониманием — точно и в самом деле, одолев наконец тяжесть времени, отозвалась память...

Удивительно здесь, на месте события, ощущение близости и очевидности всего, что происходило в тот день. Совсем, кажется тонкая, да и то полупрозрачная, пропускающая дневной свет, пленка и отделяет его, чуть смазывая знакомые черты, от нас... и до того, что невольно оборачиваешься: не поддел бы какой заблудившийся, перепутавший века татарин на острую свою пику? А не в нас ли, выбрав и выметав загадочным перстом, не в нас ли, по старинному поверию, переселились души polegших здесь?.. А, люди добрые? Не оттого ли и званы мы сюда за сотни и тысячи верст, да так, что не стало сил откладывать? Не потому ли столь легко стираются сегодняшние приметы, и вместо распаханной черной степи послушно видится играющий под ветром ковыль, не пересохли, водой текут речки Нижний Дубик и Смолка, по-прежнему жива Зеленая дубрава, полноводнее, шире Непрядва и Дон, которыми мы решительно прикрылись, отказавшись тем самым от возможности отступления, — или победа, или смерть?! И позор полуторавекового рабства не наше ли гнетет сердце, требуя возмездия и справедливости? А этот закат?

Нет, пройдя шестьсот лет и огрузившись знаниями, в знамения не верят...

Закат между тем уже затмевался, догорал, и небо, вольно осияв родную нам сторону, потихоньку угасало. Потянул с открытых просторов холодный ветер, в деревнях, что низко и смутно темнели возле рек, мелькнули огоньки, замутилась степь, и по какому-то неверному ожиданию вот-вот, казалось, возникнут в ней горящие памятные знаки, показывающие, где и что было.

Битва, как известно, началась с поединка Пересвета с Челубеем. Принято было в старину: перед тем как войскам всей силой сойтись на кровавую сечу, устраивать единоборство избранных, выдающихся по силе и духу бойцов, — одолевший, считалось, предрекал победу своей стороне. Вызов татарского мурзы, который был «велик и страшен зело», принял троицкий монах из брянских бояр Александр Пересвет. Разогнав друг против друга коней, сшиблись они на виду у многих тысяч и «спадоса на землю мертви и ту конец прияша оба».

И грянула сеча, «какой (по «Истории России» С. М. Соловьева) еще никогда не бывало прежде на Руси: говорят, что кровь лилась как вода на пространстве десять верст, лошади не могли ступать по трунам, ратники гибли под конскими копытами, задыхались от тесноты. Пешая русская рать уже лежала как скошенное сено, и татары начали одолевать».

С. М. Соловьев, лишь подправляя на современный ему язык, не отступает от летописей — «и прольется кровь яко дождевная туча», «пешая русская великая рать аки дресева сломившаяся и аки сено посечено лежаху».

Князь Дмитрий, которому тогда было тридцать лет, оставил под своим великокняжеским стягом Михаила Бренка (погиб любимец Дмитрия), а сам в доспехах простого воина дрался в передовом полку, в пешей рати. Татары смяли ее, прорвались сквозь ряды большого полка, завернули левый фланг русских войск и стали сбрасывать его в Непрядву.

...Мы подъехали после к Непрядве — под высоким,

крутым до сих пор берегом, куда скатывались воины полка левой руки, течет совсем невеликая, по нашим сибирским понятиям, полусонная речка. Меня удивило, что и Дон, Дон-батюшка, Дон Иванович, как величают его, в месте переправы не шире каких-нибудь тридцати—сорока метров. Да ведь история и слава не метры считают, а тогда и метров было поболее, но ведают память. Помнить же Непрядве и Дону есть, ох есть что!— и когда в сумерках стояли мы над их берегом, только слабость нашего слуха не дала разобрать сухой, веками живущий здесь, как и над всем Полем, свидетельский шепот.

Исход боя повернул в свою пользу скрытый в Зеленой дубраве засадный полк под командованием двоюродного брата Дмитрия, князя Владимира Андреевича Серпуховского и московского воеводы Дмитрия Боброка. Народная память, выделяя Боброка, называет его «решителем» битвы — и не только за отвагу, но и за полководческую мудрость. Немалого труда стоило ему сдерживать нетерпение князя Владимира и рвущихся в бой воинов, которые хорошо видели из-за деревьев, как гибнут их товарищи. И лишь когда татары, подхлестывая себя победными кликами, сместились вправо, когда, по преданию, ветер, дувший до того в лицо русским, повернул в обратную сторону, Боброк дал наконец команду: «Час прииде, братья!». Горячая свежая сила ударила сбоку и в тыл рвущимся к Непрядве и Дону татарам столь неожиданно, обрушилась на них с такой стремительностью и яростью, что, ужаснувшись и не выдержав, «поганные борзо вспять отступиша».

Сорок верст до Красивой Мечи, как упоминалось, гнали их русские, а воротившись, «князь Владимир Андреевич стал на костях и велел трубить в трубы», сзывая живых. До немногих достали те победные звуки. С трудом отыскивали распластанного без сознания под срубленным деревом великого князя Дмитрия, отныне Донского. «Страшно и горестно, братья, было смотреть: лежат тру-

пы христианские как сennie стога у Дона великого на берегу, а Дон-река три дни кровью текла». Тот же источник, который называет число пришедших на битву — 400 тысяч, называет и число уцелевших — 40 тысяч, и, сомневаясь даже в подлинности первой цифры, мы не можем сомневаться в этом страшном соотношении: только каждый десятый или каждый девятый остался в живых.

Восемь дней, снося павших в братскую могилу, продолжались похороны. На месте захоронения срубили войны из деревьев Зеленой дубравы, оставляя Поле, часовню (а многие города и княжества повезли погибших в родные земли), на месте часовни стоит с середины прошлого века в деревне Монастырщина каменная церковь, разумеется, запущенная, в которой предстоит еще провести все реставрационные работы.

Тяжело досталась русскому народу эта победа. Когда новый правитель Орды Тохтамыш, спустя два года после Куликовской битвы, двинулся на Москву, защищать ее было некому. Тохтамыш сжег Москву (князь Дмитрий в ту пору собирал в Костроме ополчение) и перебил ее жителей, но тут же, боясь Дмитрия, вынужден был отступить. Владычеству Орды подходил конец. И хоть полное освобождение от татаро-монгольского ига свершилось лишь через сто лет, это была уже обессиленная и обесславленная власть, с которой русские князья считались мало.

На Поле Куликовом Русь отстояла себя. И не только, кстати, себя. И непокорным своим рабством, и окончательной победой она преградила татарам дорогу в Европу, к новым завоеваниям. Умирили и погибали отцы, но детям внушалось, что это не жизнь — под рабством; и дети уходили, оставляя тот же наказ внукам, об этом каждый день и каждый час молчаливо молили пашни, выпевали народные песни, об этом напоминало каждое слово родного языка и вызванивали, роняя горестные звуки, в будни и праздники колокола.

Русь, как известно, началась не с Поля Куликова, но Полем Куликовым она была направлена и определена уже не как рядовая нация. С этого момента началась ее новая история, в которой много еще будет всякого, в том числе жестокого и темного, но никогда не будет рабства — кроме собственного. С Поля Куликова пробил новый час Руси, подвинувший ее к России. С этого момента начинается ее национальное, государственное и культурное учреждение, которое дало впоследствии право говорить о мессианской роли России во всем мире.

Что теперь на Поле Куликовом? Как увековечен ратный подвиг русского народа, что представляет из себя место битвы, какие ведутся приготовления к юбилею? Через два года минет шесть веков с той поры, как умолкла здесь сеча... Шесть веков!

Много воды утекло за шестьсот лет — так много, что одни речки на месте Куликовской битвы высохли совсем, оставив нам на память свои названия, другие обмелели и зачахли. Там, где было «дико поле» и шумел камыш, простирается ныне всюду, куда ни взгляни, распаханная степь. Здесь, на Поле Куликовом, сходятся границы трех районов Тульской области. Рядом, за Доном, начинается Рязанщина.

Благородна служба ратной земли — поднимать хлеба, но, надо надеяться, что хотя бы в год юбилея огромное российское хлебное поле, поднатужившись, возьмет на себя долю нескольких десятков гектаров Поля Куликова и даст ему отдохнуть на лето от трудовой повинности, чтобы люди, приехав поклониться этой земле, могли подойти не только к месту переправы Дмитрия через Дон или к примерному месту схватки Пересвета с Челубеем, а и просто пройтись без помех по Полю и, уединившись, почувствовать, услышать в глубине под ногами связь свою с тем, что, став этой землей ради нас, ушло в тихую всевидящую вечность. А что соберутся здесь десятки тысяч со всех концов страны, сомневаться не приходится:

сейчас как никогда пробуждается и возрождается память русского человека к своей истории.

На Красном (красивом, по-старинному) холме, самой высокой точке Поля, откуда, как упоминалось, Мамай руководил своим войском, стоит с 1850 года памятник Дмитрию Донскому (работа архитектора А. П. Брюллова). На 28 метров поднимается ввысь величественная пятиярусная колонна чугунного литья, увенчанная золотой главой с крестом. Нижний, самый вместительный, ярус украшен воинскими доспехами — мечами, копьями, шлемами, щитами, с помощью которых была добыта победа. Здесь же, в нижнем ярусе, надпись: «Победителю татар великому князю Дмитрию Ивановичу Донскому признательное потомство».

Неподалеку, метрах в трехстах, в южную сторону от вершины Красного холма, другой памятник — храм Сергия Радонежского. Заложенный 8 сентября 1910 года, он был закончен уже после революции в 1918 году и строился по проекту знаменитого А. В. Щусева, впоследствии автора Мавзолея В. И. Ленина и первых станций Московского метрополитена.

Поздней осенью 1941 года на подступах к Полю Куликову шли бои. Наши воины не позволили фашистам ступить на Поле и осквернить тем самым его славу.

Сейчас памятники Поля, за исключением, как упоминалось уже, церкви в Монастырщине, полностью восстановлены. На реставрацию храма Сергия Радонежского ушло почти десять лет. Теперь здесь филиал краеведческого музея, экспонаты и выставки которого рассказывают о Куликовской битве.

И все же, все же... Андрей Анисимович Родиончиков, не удержавшись, с грустью пожаловался нам, что ему, научному работнику музея, немало времени приходится терять на сторожевую службу: то гоняться за машинами, которые, не глядя на запрещающие знаки, мчат прямо к памятнику Дмитрию Донскому, то вступать в схватку с

юпцами, сбивающими с него буквы «от признательного потомства» или переворачивающими заново отлитые тумбы. Шофер наш, из тех бойких московских новожилков, которые понемногу знают обо всем и во всякое дело умеют с энергией вмешаться, искренне и горячо возмутился:

— Ну, татары! Ну, татары!

А потом, не обращая внимания на возражения Андрея Анисимовича, взялся всерьез учить его, как настораживать и замаскировывать на асфальте гвозди, которые бы остановили машины...

Мы ночевали на Поле. Легли вповалку на полу в служебной комнате Андрея Анисимовича и долго говорили... В обыденности об этом всем нам приходится размышлять не часто: нужны особенные, проникновенные и располагающие моменты, чтобы не умом рассуждать, а сердцем и памятью чувствовать и понимать то вешнее и вечное изначальное, из плоти и духа чего мы, в сущности, состоим и всякое обращение, всякое чувство к чему считаем из какой-то внушенной нам ложной стыдливости высокопарным или излишним. Мы говорили о России, о Родине нашей, и судьбах ее, прошедших и грядущих... и где, как не здесь, на Поле Куликовом, было об этом говорить.

...Среди ночи я вышел на улицу — небо сияло в такой оглушительной и яркой звездной красоте, что нельзя уже было поверить в сырой и ненастный вчерашний день. Деревни вокруг Поля, напротив, пригасли, редкие огоньки в них были слабыми и казались звездными отблесками. Степь, ровно и таинственно освещенная небом, лежала в размытом мерцании. Было тихо, но ночная тишина имеет немало значений — так и теперь: поднимешь голову вверх — слышишь многоголосый и свободный, празднично и буйно творимый звездами звон, когда легко различить при взгляде на нее звук каждой звезды в отдельности, а опустишь глаза, глянешь понизу в степную даль — и безмолвие, сон, покой. Но стоит задержать внимание на степи подольше, и просыпается, организуется,

начинает звучать жизнь теперь уже здесь, точно степи вдруг удалось взять свой верх над небом.

Только небо и степь. Только вставшие друг против друга небо и степь, ведущие давнюю и уж, конечно, не бессмысленную беседу, в знаках которой время растягивается далеко назад и далеко вперед и сходится в вечность. И не понять, не угадать, небу или земли принадлежат памятники Поля Куликова, повисшие, кажется, в воздухе и пытающиеся, кажется, соединить то и другое.

Я прошел мимо храма, заметив, что Орион словно бы присел на вознесенный крест, и по липовой, безжизненной сейчас аллее поднялся на Красный холм к памятнику. Удивительно, как быстро и незаметно, будто разделяют они с нами одну беспокойную страсть, подхватывают эти старые рукотворные знаки в честь вождей Куликовской битвы твое слабое, едва теплящееся чувство и, оживив и наполнив его, награждают редкой способностью внимать тому, что не имеет твердой плоти и живого гласа. И снова, кажется, слышишь в ночи глухую поступь сотен и тысяч лошадей, различаешь, напрягшись, скрытое движение, чувствуешь, как замерла в тревоге и напряжении степь — и только после уж, завершая картину, чьим-то вещим духом напомним блоковские слова:

Мы, сам-друг,
 над степью
 в полночь стали!
Не вернуться,
 не взглянуть назад.
За Непрядвой лебеди
 кричали,
И опять, опять они
 кричат...

Снова тишина. И снова движение и шум, но на этот раз настолько слабые, что едва напоминают вспорхнувшую стайку самых маленьких ночных птиц, почуявших чужое присутствие. Приходится сильно напрягаться, чтобы в волнении воздуха не столько услышать, сколько уга-

дать сухие и колеблющиеся, перебивающие друг друга голоса... Что они говорят, понять не дано: чувствуешь лишь в их разноголосице то тревогу, то молитву, то надежду.

Небо и степь. Степь и небо. Небо над этой степью знает великую тайну: оно было могучим вышним свидетелем битвы и победы, затем многовекового терпеливого ожидания, и оно стало, наконец, свидетелем пробуждающейся памяти... А что дальше? Степь под этим небом знает великую мудрость, коли в избытке приняла она жертвенный подвиг наших предков во имя... Что оно есть, то окончательное или хотя бы законченное, что составляет смысл этого «во имя?» Что соберем мы и соберем ли что-нибудь с Поля ныне, когда вновь обработали его, — не с пашни колхозной, а от святости и учительства этой земли? Не опоздали ли собирать?

...И что, что же все-таки шепчут они, эти невнятные, точно полуистлевшие, голоса, витающие над Полем, что хотят подсказать и чему научить? Прощены ли мы предками нашими за беспамятство и небрежение, сполна ли заплатили за них или еще платить и платить?

Степь и небо. Небо и степь. Так много, очевидно, ясных ответов там и там, да не для нас, чтобы свою судьбу мы сполна прошли сами.

* * *

Спустя два года мы снова вернулись на Поле Куликово. Это было через две недели после юбилейных торжеств, посвященных 600-летию Куликовской битвы. Вернулись в той же машине и с тем же шофером, почти без изменения той же компанией, равнодушной к судьбе отечественной истории. И приехали мы так же вечером, как в первый раз, однако теперь вечер был теплый и тихий, словно бы объятый какою-то великой вселенской усталостью, светлой и натруженной, относящейся не к

окончанию дня, а к завершению огромного событийного круга. На завтра и верно предстоял не простой день — 8 сентября по старому стилю и церковный праздник Рождества Богородицы, в который, как свидетельствуют летописи, и состоялась битва. К этому дню, признаться, мы и подгадывали, чтобы при нас замкнулась невидимая черта, что-то вольно или невольно выказав, и время русской истории от Куликова Поля двинулось по новому кругу. Что будет, когда через сто лет оно снова сойдется с началом отсчета, какие грянут события, придет ли кто сюда отметить новый юбилей и с какой верой, с каким сердцем придет? — страшно подумать.

...Хорошо помню, как в прошлый раз мы уезжали с Поля. Поднялись рано, по темноте, наскоро попив чаю, загрузились в кузов нашего вездехода и решили на прощанье вернуться к Дону. Пока по разбитой дороге подъехали, уже рассвело. За неказистым мостом открылось село Татинки, чуть выше которого в ночь перед битвой русское войско переправилось через Дон, а еще левее и дальше, уже по берегу Непрядвы, обозначились избенки деревни Монастырщина, где большая часть этого войска нашла себе вечный приют. На месте захоронения оставшиеся в живых, прежде чем покидать Поле, срубили из дубов Зеленой дубравы часовню, а на ее месте позднее была поставлена каменная церковь Рождества Богородицы. Тяжело было в тот утренний час смотреть на нее: чем больше расходились сумерки и полнее набирался свет, тем сильнее выявлялись разрушения, не меньшие, чем при бомбежке, и тем непоправимей они казались. На реставрацию храма-памятника Сергию Радонежскому на Красном холме ушло почти десять лет, да и то она не вполне к тому времени была закончена, — как же поверить, что возможно тут что-то сделать за два года, если работа высматривалась долгая и кропотливая. Горьким укором торчала высокая, со сквозившими узкими окнами колокольня, обращенная к Непрядве, а за нею в жест-

ком, колючем для глаза и не виднелись холмы, которые, как знать, не были ли курганами над костями над русскими... И общий этот, разлитый над всею местною землею молчаливый укор нельзя было не почувствовать...

Мы уже усаживались в машину, когда из-за реки, от Татинок, нас окликнули. На съезде к мосту там стояла подвода, а возле нее две фигуры, мужская и женская. Женщина рысью перебежала мост и попросила подвезти ее в Ивановку, в деревню неподалеку от Красного холма, до которой отсюда насчиталось бы верст десять. Лошаденка в подводе, низкорослая и съезженная, наострила уши: ей эти десять верст вытягивать два часа, а тут бы... Удивительная есть в этом едва не вымершем по нашей милости племени трудяг мера достоинства и сопротивления, знающая, где хитрануть, попридержать силенки и где не жалеть себя. Будто, в отличие от нас, готовились они к своему незавидному положению загодя и знают, что ждет их впереди. Едва женщина махнула рукой, лошаденка, не дожидаясь понукания, тронула и весело засемила по мосту.

Мы помогли перегрузить с подводы в машину мешки и бидоны и развернулись. Удача в лошаденке быстро погасла, она снова съезжилась, и, отъезжая, мы видели, как мужик стегал ее вожжами, заставляя тронуть с места.

Женщина, не молодая уже, потерявшая возраст, долго благодарила, присматриваясь, что мы за люди, и высмотрела в одном из нас, как ей показалось, начальника. Упустить столь подходящий случай она не захотела и стала рассказывать, вроде жалуясь и не жалуясь, мол, как хотите, так и понимайте. Затем, видя наше удивление, она все-таки свернула на твердую жалобу и несколько раз назвала имя директора, виновного, по ее мнению, в этом безобразии.

Безобразие, конечно, было — что и говорить!, но когда я раздумывал об этой истории, она поворачивалась у меня своей стороной, не той, которая выставлялась для

постороннего человека. Я примеривал ее к своему сибирскому мужику и видел, как он, недолго кряхтя, берет в руки топор и лопату, спускается во двор и где-нибудь в углу начинает сооружать то, что, простите, называется отхожим местом. Конечно, подобное место в кирпичных двухэтажных домах предусматривалось проектом в каждой квартире, устраиваемой на городской лад, но ивановский строитель, то ли из экономии материала, то ли от нехватки его, проектом почему-то пренебрег и вместо санузла оставил жильцам глухую каморку. И вот уже несколько лет люди мучаются: и во дворе ничего нет, и внутри укоротили. Женщина, которой мы помогли поднять ее груз на второй этаж, для вящей доказательности распахнула перед нами эту каморку, и таким нас ударило убедительным духом от стоящего за порошком ведра, что и от нас потребовалось на Поле Куликовом мужество, чтобы устоять на ногах.

Разумеется, можно бы и обойтись без этого, не очень приятного воспоминания, которое к тому же не совсем в строку юбилейным размышлениям, но что делать, если не шло оно у меня из головы?! Случись такое в любом другом месте, скоро бы, наверное, и забылось. Мало ли что не бывает на наших просторах! Но здесь, на Поле Куликовом!.. Здесь это выросло в особый и неслучайный смысл, оторопь брала, как только вольно или невольно протягивалась связь через шестьсот лет (через шестьсот лет!!!) от великой жертвенной битвы к этому пустяку. Что за люди мы, русские, есть ли мы еще в том духе и зерне, которые были заложены в нас при рождении нации, и где пролегли столбовые дороги наши, если миновали они это Поле, назначенное нам в судьбу? И что в конце концов стало нашей судьбой — не эти ли, как в насмешку, состряпанные с укоротом каменные дома на святой земле, в которых живут незнакомые и непонятные люди? Неужели ничего не передалось им от самой земли?

Вспомнилось еще, кстати, как однажды было сказано при мне: «Россия вся от начала ее стоит на вопросительных знаках, а народ только тем и занят, что выправляет их в восклицательные».

Нет, не поехать снова на Поле Куликово никак было нельзя...

...Юбилейные торжества уже отшумели; Поле, когда мы подъехали вечером, лежало в тихой полутьме. Мне показывали: вот здесь, справа от дороги, была стоянка для машин — многие сотни автобусов и машин стояли впритык друг к другу. Вон там приземлялись десантники, вон оттуда давали салют. Здесь трибуны. Вот тут, перед памятником, выстроились войска. Там везде мы. И там, и там, и там. Тысяч пятьдесят нас было, не меньше. Мы тут такое грянули под салют «ура»!..

То, что праздник по всем понятиям вышел за рамки дежурного календарного юбилея, видно было даже и по телепередачам, по газетам. Воинские почести, искренние, неказенные слова с трибун, непапусское воодушевление собравшегося со всех концов России народа. Большая группа москвичей пешком прошла по тем самым дорогам, по которым двигалось на Поле ополчение князя Дмитрия. В торжественной музыке оркестра, в марше знаменосцев, в чеканном шаге ныпешных воинов, в наполненной величием и скорбью минуте молчания, во множестве лучших лиц, призванных, чтобы составить одно русское лицо, и во множестве душ, чтобы явить одну спасенную и верующую душу, в картине святой земли, из которой, как нерукотворные, взошли и поднялись в честь вождей и боев Куликовской битвы духоносные памятники — во всем этом русский человек слился с отечеством и обрел историю, вспомнил свое неотмененное имя. После победы Дмитрия Донского на этом Поле средневековая Европа с удивлением узнала, что русичи живы, она полагала, что за полтора века рабства они полностью поглощены Ордой и стали ордынцами; в наше время, напротив, Европа

постоянно твердит о русских, а сами мы, словно связанные обетом, нечасто и с оглядкой обращаемся к своему национальному названию.

На праздник приезжали космонавты, в глубинах неба тосковавшие по России неведомой нам тоской — увеличенной настолько, насколько они были удалены от родных полей и лесов, глядящие на них после приземления с ненасытной любовью. Лучшие голоса, лучших мастеров прислала Россия на Поле Куликово из Москвы и Сибири, с севера и юга, чтобы показать: что жило в народе, что цел народ и что мастерило, чему радовался и во что верил, живет и поныне. Быть может, излишне подчеркнута старались показать здесь в юбилейные дни сохранность народного духа; дело не в искусстве, а в мере сохранности, в том, праздничное, возвышенное только это настроение и умение или повседневное. Согласимся, что в мере отстали, но лучшими, «выходными» образцами гордимся справедливо — и гремел над Полем, богато обнося собравшихся русской мощью и удалью, бас Ведерникова; не голосами, а душами, спустившимися с неба, выводила старинные напевы хоровая капелла им. Юрлова; с восхода солнца, откуда пришла и утвердилась на Волге Золотая Орда, привезли сибирские танцы красноярцы. И даже валютный ансамбль-магазин «Березка» каким-то административным чудом удалось заманить на Поле. В искусстве здесь было и подлинно народное и под народное, но в людях, бесспорно, сошелся лучший наш народ, какой у нас есть сегодня, не потерявший память и язык, физическое и духовное потомство.

И когда, переночевав, вышли мы утром на Поле и разошлись каждый своей тропой, чтобы даже дружеское присутствие не мешало чувству, с разных сторон к Красному холму уже тянулись люди. Многие, как и мы, выбрали именно этот день, совпадающий со сроком битвы. Я поначалу интересовался: откуда? — мне отвечали: из Тулы, из Ельца, из Москвы, из Воронежа, из Пензы, из

Новосибирска, потом лишь внимательно всматривался в лица, отыскивая в них избранность. И я находил ее. Попробую объяснить, что такое видел я в этих людях, что дает мне право говорить о «необщем выражение».

День, как и накануне под вечер, был теплый, тихий и скорбный. Скорбь разлита была во всем — в призмевшем солнце, в убранных полях и сухих холмах, в яркости юбилейных времянок под киоски и службы, в высоком навале живых цветов к памятнику Дмитрию Донскому, в позолоте крестов на обелиске и храме, в сторожевом молчании необъятной степи и напряженности времени, в котором над этим Полем замыкалось вековое кольцо.

Оно замыкалось ощутимо, совпадением каких-то целевых каналов, тревожной и победительной выстроенностью звуков, в запахах воздуха, будто, выверая, над нами что-то поднимали или опускали. Из церкви Сергия Радонежского, из звукового оформления рассказа о битве, доносились колокольные звоны.

Уже пал к этому часу на землю в схватке с Челубеем Пересвет, могилу которого в Симоновом монастыре в Москве мы никак не можем освободить из-под ига завода, чтобы поклониться ей, уже надали татары всей мощью на наш правый фланг, пытаюсь взять русских в кольцо, уже стоном и треском, криками и ржаньем огласилось Поле от Дубика до Смолки, уже смят был сторожевой полк и покосились, «аки сено», первые ряды передового полка...

Уже час встал над часом в шести веках, и потревожились умолкшие голоса, взныли травы, уже замелькали невидимые тени.

Быть может, в том и состояла разница между людьми, бывшими на Поле в день юбилейного торжества, и сегодняшними: те приезжали праздновать великое событие, эти пришли послушать павших. К середине дня нас собралось много на Поле, но не мы властвовали над ним,

а оно над нами, не мы заняли его, а оно нас, не мы говорили, а оно, а от нас требовалось только слушать и слушать, собирая звуки в складывающийся смысл. Две недели назад Россия благодарила убиенных здесь за вечный подвиг, сегодня убиенные спрашивали, что случилось с Россией.

Нелегко было отвечать им.

По всему огромному Полю ходили молчаливые, ушедшие в себя люди. С вершины холма казалось, что они что-то ищут, собирают что-то, оставленное после уборки. Утомившись, они присаживались то небольшими группами, то поодиночке прямо на траву, и, посидев или за скорым обедом, или за тихим разговором, или за найденным чувством, снова поднимались и шли кто в Монастырщину, кто к памятникам Красного холма, кто к Непрядве.

Обретенность не знает законченности, они верили и не верили в свою счастливую соединенность с Отечеством, судийный и благословляющий дух которого две недели подряд не слетал с Поля, помечая каждого, кто приходил сюда не из любопытства. Завтра он, быть может, перенесется в Москву, в Киев или Новгород, а то отправится в Сибирь, куда длинным и широким рукавом выкроилась Россия, завтра главное, высотное место для него будет на другом поле и, существуя всюду, его изберет он своим средоточием, но сегодня здесь и нас пронзал он любовью и добросмыслом. В нас вносил он семена жертвенности, из которых состоит русский человек и в которых он за века не может разобраться: что оправдано и что нет, что в пользу и что во вред ему.

И об этом вопрошали нас павшие, и над этим стесненно молчали мы, заблудившись в друзьях и врагах.

«Крепко сражались, жестоко друг друга уничтожали, не только от оружия, но и от великой тесноты под конскими копытами умирали, потому что нельзя было вститься на том поле Куликовом: то место между Доном и Непрядвою было тесным. Выступили из полков крова-

вые зори, а в них сверкали сильные молнии от блистания мечей. И был треск великий и шум от ломающихся копий и от ударов мечей, так что нельзя было в тот горький час обозреть это грозное побоище. Уже многих убили, многие богатыри русские погибли, как деревья приклонившись, точно трава от солища усыхает и под копыта подстиляется...»

«...и под копыта подстиляется...» Где тот летописец, который с такой красотой, мощью и точностью рассказал бы о современном событии, в слове которого прозвучала бы вышность и бесспорность истины?

Вместе с экскурсией, приехавшей на автобусе, мы вошли в храм-памятник Сергию Радонежскому, где теперь краеведческий музей, посвященный битве. На макете Поля с помощью электроники и световых эффектов повторяются события сражения, огромный скульптурный Дмитрий Иванович Донской устало и испытующе смотрит на посетителей, рядом с ним, как охрана, ратники в доспехах, возле стен образцы оружия, впитавшие в себя ржу и плоть времени, на пологие изображение русских земель, за которые шла сеча. Если ехать за впечатлениями, которые можно пересказать, то они только здесь, в этой звучащей и движущейся панораме, в говорящей о событии экспозиции, все остальное, что за стенами музея, бессловесно.

В этих лицах, всматривающихся и вслушивающихся в Поле, не любопытство, ищущее удовлетворения, не умеющее заглядывать за границы собственной жизни, а если заглядывающее, так чтобы узнать, в кости еще или прахе останки куликовских воинов... Нет, в этих лицах иное — глубина, неслучайность и выстраданность их очертаний, дальнейшее воспоминание, доставшееся от предков, взгляд, подхватившийся от взгляда, и слух, протянувшийся от слуха. В них разгаданные и неразгаданные знаки судьбы с проступающей гордостью и горечью, болезненная рассветность и выздоровление, желанное и тре-

возможное прощание с одиночеством. Как здоровье физическое горит на лице, так и светится в нем духовность; это были не сухо-лампадные, но по большей части светящиеся, наполненные чувством и мыслью, путевые, с печатью дальних начал, страдавшие лица. Словно сама Россия отыскивала их, чтобы отчитаться перед Полем Куликовым за последние пути свои...

В Монастырщине, в церкви на костях убиенных, восстановленной менее чем за два года, мы читали потом в книге отзывов слова этих людей, обращенные к России, — слова, которые могли явиться только здесь, полные благодарности и верности, порою мольбы, чтобы нынешнее Отечество понимало и принимало их искреннюю любовь.

Тут, на Поле Куликовом, мы увидели, что их много, земляков-россиян, в ком не выродился тяжкий и славный исторический след нации.

Уезжали одни, подъезжали и подходили другие...



СИБИРЬ БЕЗ РОМАНТИКИ

Это громадное пространство носит общее прозвище Сибирь, с которым, вероятно, и останется навсегда, потому что ничего другого, кроме Сибири, из него выйти не может.

В. К. Андриевич,
историк Сибири

Слово «Сибирь» — и не столько слово, сколько само понятие, давно уже звучит вроде набатного колокола, возвещая что-то неопределенно могучее и предстоящее. Прежде эти удары то приглушались, когда интерес к Сибири вдруг понижался, то снова усиливались, когда он поднимался, теперь они постоянно быют со все нарастающей силой. Сибирь! Сибирь!.. Одни слышат в этом гулком звучании уверенность и надежду, другие — тревожную поступь человека на дальней земле, третьи ничего определенного не слышат, но прислушиваются со смутным ощущением перемен, идущих из этого края, которые могли бы принести облегчение. Сибирь неминуемо чувствуют в себе даже те, кто никогда в ней не бывал и находится вдали от ее жизни и ее интересов. Она сама вошла в жизнь и интересы многих и многих — если не как физическое, материальное понятие, то как понятие нравственное, сулящее какое-то неясное, но желанное обожление.

В XVIII веке говорили: «Сибирь — наша Перу и Мексика». В XIX: «Это наши Соединенные Штаты». В XX: «Сибирь — источник колоссальной энергии», «край неограниченных возможностей». Как видим, меняется техническая вооруженность человека, меняются его потреб-

ности, меняются и характеристики Сибири. От богатств самородных, лежащих на поверхности и близ поверхности, до богатств глубинных и производительных — все есть в Сибири, каждому веку она угождала, и в оценках ее, от первых слухов до последних научно-экономических обоснований, постоянно видна превосходная степень. Но уже и теперь, когда Земля почувствовала признаки удушья, она оборачивается на Сибирь: «Это легкие планеты». Уже и теперь... Нетрудно понять, что будет первой и непреходящей необходимостью для человека через тридцать, сорок и пятьдесят лет и для чего Сибирь могла бы явиться воистину целебной и спасительной силой.

Мы привыкли к языку сравнений, но никакие сравнения ничего не скажут о Сибири. Мы можем сопоставлять лишь результаты освоения, дела рук человеческих, но не более. Нет ничего в мире, что можно было бы поставить в виде аналога рядом с Сибирью. Кажется, она могла бы существовать как самостоятельная планета, в ней есть все, что должно быть на такой планете во всех трех царствах природы — на земле, под землей и в небе. Ее собственно жизнь, столь разнovidную и разнохарактерную, невозможно обозначить известными понятиями. Со всем тем, что существует в ней плохого и хорошего, открытого и неоткрытого, свершившегося и несвершенного, обнадеживающего и недоступного, Сибирь — это Сибирь, которая имеет свое имя, лежит на своем месте и выработала свой, ни на что другое не похожий характер. Из конца в конец и из края в край над нею витает свой дух, словно бы до сих пор не решивший, быть ему добрым или злым, — в зависимости от того, как поведет себя здесь человек. За четыреста лет, прошедших после покорения Сибири русскими, она, похоже, так и осталась великаном, которого и приручили, и привели местами в божеский вид, но так и не разбудили окончательно. И это пробуждение, это духовное осознание ее самой себя, хочется надеяться, еще впереди.

Слово «Сибирь» так и не расшифровано, точное этимологическое значение его не найдено. Для человека постороннего, знающего о Сибири лишь понаслышке, это огромный, суровый и богатый край — все как бы в космических размерах, включая и космическую выстуженность и неприютность. И в коренном сибиряке он видит скорее продукт загадочной природы, нежели такой же, как он сам, продукт загадочного человечества. Для нас, для тех, кто в Сибири родился и живет, это родина, дороже и ближе которой ничего в свете нет, нуждающаяся, как и всякая родина, в любви и защите — нуждающаяся, быть может, в защите больше, чем любая другая сторона, потому что тут пока есть что защищать. И то, что пугает в Сибири других, для нас не только привычно, но и необходимо: нам легче дышится, если зимой мороз, а не капель; мы ощущаем покой, а не страх в нетронутой, дикой тайге; немеренные просторы и могучие реки сформировали нашу вольную, норовистую душу. Разные взгляды на Сибирь — взгляд со стороны и взгляд изнутри — существовали всегда; пусть и сместившись, поколебавшись и сблизившись, остались они разными и теперь. Одни привыкли смотреть на нее как на богатую провинцию, и развитием нашего края они полагают его скорое и мощное облегчение от этих богатств, другие, живучи здесь и являясь патриотами своей земли, смотрели и смотрят на ее развитие не только как на промышленное строительство и эксплуатацию природных ресурсов. И это тоже, но в разумных пределах. Чтобы не было окончательно загублено то, чему завтра не станет цены и что уже сегодня, на ясный ум, не опьяненный промышленным угаром, выдвигается поперед всех остальных богатств. Это — воздух, вырабатываемый сибирскими лесами, которым можно дышать без вреда для легких; это чистая вода, в которой мир и сейчас испытывает огромную жажду, и это не зараженная и не истощенная земля, которая в состоянии усыновить и прокор-

мать гораздо больше людей, чем она кормит теперь.

В сущности, опершись на Сибирь да еще на некоторые, пока заповедные районы, человечество могло бы начать новую жизнь. Так или иначе очень скоро, если оно собирается существовать дальше, ему придется решать главные проблемы: чем дышать, что пить и что есть, как, в каких целях использовать человеческий разум? Земля, как планета, все более и более устанавливается на четырех китах, ни один из которых нельзя сейчас считать надежным. И если слово «Сибирь» в своем коренном смысле не означает «спасение», оно могло бы стать синонимом спасения. И тогда отсталая, в сравнении с Северной Америкой, колонизация Сибири, в чем долго упрекали старую Россию, обернулась бы великой выгодой; и тогда русский человек не без оснований мог бы считать, что он выполнил немалую часть своего очистительного назначения на Земле.

* * *

Но здесь имеет случай отдать справедливость народному характеру. Твердость в предприятиях, неутомимость в исполнении суть качества, отличающие народ российский. И если бы место было здесь не рассуждение, то бы показать можно было, что предприимчивость и ненарушимость в последовании предприятия есть и была первою причиною к успехам россиян.

А. Н. Радищев.
Слово о Ермаке.

Сибирь, находясь на одном материке с Европой, отгороженная от нее лишь Уральским Камнем, который вполне можно считать доступным, была тем не менее открыта для цивилизованного человечества почти на сто лет позднее, чем Америка.

Конечно, смутные слухи о Сибири бродили по миру издревле и, конечно, русский человек, тот же неутомимый новгородец, и торговал, и промышлял в ее владениях, проникая туда и по суше, и по северным морям, но, считая это делом обычным, отчетов о своих самовольных проникновениях никому не давал, а опыт передавал сыновьям. Новгородцы знали Юргу (так назывались северные земли к востоку от Урала) еще в XI столетии, а может и раньше, впервые же слово «Сибирь» появилось в русских летописях в начале XV века в связи с кончиной хана Тохтамыша, того самого Тохтамыша, который уже после Куликовской битвы в княжение Дмитрия Донского спалил Москву, но продержался у власти недолго и в результате междоусобных распр был убит в «сибирской земле».

Что до слухов о Сибири, время от времени возникавших в древности в Западной Европе,—столько в них было небылиц и сказок, что одних они отпугивали, у других уже и тогда вызывали усмешку. Со слухов же Геродот записывает в «Истории», имея в виду, очевидно, Урал: «У подошвы высоких гор обитают люди от рождения плешивые, плосконосые, с продолговатыми подбородками». А дальше не может не усомниться: «Плешивцы рассказывают, чему я, впрочем, не верю, будто на горах живут люди с козьими ногами, а за ними другие, которые спят шесть месяцев в году».

Иностранцам в древние и средние времена еще простительно, когда они считают, что глубины Азии заселены чудовищами с песьими головами или даже вовсе без голов, с глазами и ртом на животе, но вот ведь и русский письменный источник XVI столетия, того самого столетия, когда началось государственное присоединение Сибири к России, рассказывая о зауральской стороне, повторяет старые сказки, будто люди там на зиму умирают, а по весне оживают опять. Что удивляться: несколько лет назад в Западном Берлине меня спрашивали: «Что

в Сибири делают зимой?», всерьез полагая, что зимой в наших краях можно только спать.

У П. А. Вяземского, литератора и друга Пушкина, о мнениях такого рода есть любопытные слова: «Хотите, чтобы умный человек, немец или француз, сморозил глупость,—заставьте его высказать суждение о России. Это предмет, который его опьяняет и сразу помрачает его мыслительные способности». Тем более эти слова применимы к Сибири. И в Европу не надо ходить: Сибирь долго «опьяняла» и «помрачала» своего же брата, соотечественника, который во взглядах на нее нес (и несет еще иной раз) такую ахинею и околесицу, что остается теперь пожалеть, что не нашлось никого, кто собрал бы их для забавы в одну книгу. Однако ахинея эта не всегда оставалась безобидной и выражалась порой в указах, которые следовало выполнять.

Как в древности искал, так и сейчас человек продолжает искать чудеса, которые не совпадали бы с ученой упорядоченностью мира. Сибирь, надо полагать, одна из тех областей, где человеческий дух сомнения и противоречия испытал в свою пору немалое разочарование: и здесь, в сущности, то же, что и везде.

Покорителем Сибири стал, как известно, Ермак Тимофеевич. То, что и сам Ермак и его дружина была из казаков, значило очень многое. Казак — татарское слово, оно переводится как удалец, смельчак, человек, порвавший со своим сословным кругом. Казачество зародилось на Руси вскоре после свержения татарского ига и сформировалось в течение XVI века с усилением феодальной и крепостнической зависимости русского народа. Люди, не желавшие выносить никакого, в том числе и отеческого ига, бежали от него в Дикое Поле, в низовья Дона и Волги, основывали там свои поселения, избирали атаманов, принимали законы и начинали новую и вольную,

никакому царству, никакому ханству не подчиненную жизнь. Позже русскому казачеству пришлось-таки идти под цареву руку, потому что иначе ему было и не выжить, но тогда в XVI столетии, еще нет, тогда казаки сами себе были хозяева. Царские власти, играя на патриотических чувствах, могли использовать их против своих беспокойных южных соседей, против Турции, крымских и ногайских татар, но могли за самовольство или в результате дипломатических маневров с теми же соседями наслать на них карательные экспедиции — отношения между Москвой и вольным казачеством всегда были сложными, а в первое время в особенности. Одно хорошо: если России угрожала серьезная опасность, казаки считали своим долгом выступить на ее защиту, откуда бы эта опасность ни исходила, — или от ближней Турции, или от дальней Литвы. В Ливонской войне, как доказывают в последнее время историки, принимал участие накануне своего сибирского похода и Ермак Тимофеевич.

В покорении и освоении Сибири казаки сыграли роль исключительную, почти сверхъестественную. Только особое сословие людей дерзких и отчаянных, не сломленных тяжелой русской государственностью, чудесным образом смогло сделать то, что удалось им.

Говоря о фигуре Ермака, трудно не приостановиться и не отдать дань нашей российской слабопамятливости и небрежению... После свержения татарского ига и до Петра Великого не было в судьбе России ничего более огромного и важного, более счастливого и исторического, чем присоединение Сибири, на просторы которой старую Русь можно было уложить несколько раз. Только перед этим одним фактом наше воображение в растерянности замирает — словно бы застревает сразу за Уралом в глубоких сибирских снегах. Однако о Колумбе, открывшем Америку, нам известно все: и откуда он был родом, чем занимался до своего «звездного» часа; известно, когда, какого числа и месяца вышел в первое свое плавание, и во

второе, и в третье, и в четвертое, когда достиг американского берега, когда флагманская «Санта-Мария» села на рифы и что было потом... Что Колумб! — о древнеримских императорах и патрициях мы помним больше, чем о Ермаке. Ну ладно, не мог он вести, как Колумб, судовой журнал, не было возле него, как возле Нерона, замышлявшего убийства, расторопного историка, но ведь не оказалось и совсем никого, кто бы понимал значение его фигуры и величие его похода. Это уж после спохватились, когда выяснилось, что не знаем ни имени Ермака, ни рода, не запомнили и не записали, в каком году выступил он против Кучума, сколько его отряд насчитывал казаков и чем помогли Строгановы, за один ли переход, как считает известный историк Р. Г. Скрынников, он добрался до столицы сибирского ханства Искера, или ему потребовалось возвращаться после зимовки обратно, а затем снаряжаться вновь. Строгановские летописи мы вынуждены подозревать в неточности именно потому, что они строгановские и могли преувеличивать роль этой фамилии в деле присоединения Сибири; на другой документ, на Синодик тобольского архиепископа Киприана, составленный спустя сорок лет после Ермака по рассказам оставшихся в живых участников похода, мы также смотрим с недоверием: уж очень хотелось преосвященному в интересах местной церкви сделать из Ермака святого и потому не подходящие для капонизации факты из его жизни он не задумался бы приукрасить или опустить. Не зря говорят: кто владеет настоящим, тот владеет и прошлым.

И вот уже не одно столетие мы гадаем: верно ли, что Ермак, как поется в народных песнях, до Сибири погуливал, подобно Степану Разину, по Волге и Дону да потрагивал не без корысти купеческие и царские караваны? Или народ, путая добродетели, награждает для пущей славы своего героя тем, что за ним не водилось? Спорим: Ермак — это прозвище или усеченная форма имени Ер-

молай? А может, от Еремея, от Ермила? Споры эти не прекращаются до сих пор. В 1981 году в Иркутске вышла книга А. Г. Сутормина «Ермак Тимофеевич», в которой читаем: «Итак, Ермак родом не с Дона, он уралец, с реки Чусовой. Его имя Василий, отчество Тимофеевич, фамилия Аленин... А Ермак только прозвище, кличка». В книге Р. Г. Скрынникова «Сибирская экспедиция Ермака» (Новосибирск, 1982 год) с той же уверенностью уже совсем иное: «Возможно, в строгановских вотчинах XVI или XVII веков и жил разбойник Василий Аленин, но к Ермолаю Тимофеевичу — историческому Ермаку — он не имел никакого отношения... Что же касается имени Ермак, то его следует рассматривать не как прозвище, а как сокращение полного имени Ермолай».

Едва ли теперь удастся открыть истину, если она не открылась раньше, ближе к действительным событиям. Вероятней всего, придется Ермаку, «родом неизвестному, думой знаменитому» (Н. М. Карамзин) оставаться, как и прежде, Ермаком. Можно и расщедриться: мол, дело не в этом. Нет, отчего же — и в этом тоже. Не след нам гордиться, что от короткой памяти мы на короткой ноге со своими героями. Но нет, оказывается, и в этом случае худа без добра: среди воздаваемых ныне Ермаку почестей, которые приводятся в вышеупомянутой книге А. Г. Сутормина, есть и такая: «В молодом сибирском городе Ангарске спортивный коллектив химиков «Ермак», названный в честь первопроходца, успешно умножает свою спортивную славу». Полным да еще закоренным именем спортклуб химиков назвать было бы несподручно.

Но тут уж, верно, дело не в этом. Народ русский во все четыреста лет, прошедших после легендарного похода, помнит как:

На диком бреге Иртыша
Сидел Ермак, объятый думой.

Во взгляде на первого сибирского героя и на его подвиг лучше всего, очевидно, следовать известными, проторенными историей путями. Поправки, которые предлагаются нынешними исследователями, не представляются настолько убедительными, чтобы их можно было безоговорочно принять. Так, едва ли есть основания обеливать Ермака в той части его биографии, которая относится к ватажной жизни на Волге, когда пытаются доказать, что не мог Ермак заниматься непотребным, «воровским», ремеслом. Его соратники могли, а он — нет. Не надежней ли в этом факте положиться на народную память и народное чутье, которые редко раздавали понапрасну подобные доблести. Трудно, кроме того, предположить, зная те времена и нравы, чтобы человек, прошедший в Диком Поле не менее двадцати лет и ставший атаманом, уберегся бы от привычных для казацкой вольницы занятий. Как в песне:

Ты прими-де, Грозный царь, ты поклон от Ермака,
Посылаю те в гостинец всю Сибирскую страну,
Всю Сибирскую страну: дай прощенье Ермаку!

Итак, Ермак со товарищи гулял по Волге, принимал участие в битвах и стычках, а род знаменитых купцов Строгановых поселился к тому времени на восточных рубежах Русского царства, по рекам Чусовой, Каме и Лысьве на Урале, завел там прибыльное солеварение, пашенное, промысловое и прочие дела и, не довольствуясь приобретенным, испросил у Ивана Грозного разрешение на земли по Тоболу и Иртышу. Дать такое разрешение Грозному ничего не стоило: эти земли ему не принадлежали, там хозяйничал хан Кучум, собравший воедино сибирские племена и насаждавший среди них ислам. Таким образом, с одной стороны, Строгановы посматривали вожделенно на вроде бы принадлежавшие, а на самом деле не принадлежавшие им богатые просторы, а с другой — Кучум, набрав силу, все чаще стал тревожить отстроенные поселения. В этих условиях естест-

венно, что Строгановы обращаются за помощью к казакам.

Нам теперь уже не узнать, от кого исходила инициатива — от самого Ермака, когда ему понадобилось от греха подальше уйти с Волги, или действительно от Строгановых, решившихся наконец на серьезные действия по отношению к своему восточному соседу, как не узнать, существовали ли у Ермака сомнения, идти или не идти ему тяжелым и опасным походом в Сибирь, но было бы жаль, если бы вместо Ермака против Кучума выступил другой человек. Уж очень подходящ для этой роли именно Ермак, человек из народа, словно бы самим народом отправленный в Сибирь и не оставленный им без славы. Он да еще Степан Разин стали вечными любимцами русского народа, олицетворением его давних вольнолюбивых устремлений. Но если Степан Разин искал своим бунтом воли на старых русских землях, Ермак открыл, как распахнул, для воли земли новые, сказочные, не имеющие, казалось, ни конца и ни края.

Он выступил походом в зауральскую сторону в 1581-м, по другим предположениям, в 1579-м, в 1582 годах. При праздновании 300-летия этого события один из русских журналов писал: «Удивителен, конечно, подвиг Ермака, с горстью казаков овладевшего целым царством. Как ни превосходно ружье перед луком, все же не должно забывать, что саранча тушит целые костры, преграждающие ей путь, хотя и гибнет массами. Казаков было всего лишь пять сотен, а враг считал себя тысячами и при упорной защите отстоял бы себя, если бы во главе русских храбрецов не находилась выдающаяся способностями полководца и администратора личность Ермака и если бы внутренние узы, связывавшие сибирские племена, были крепче. Прославляя подвиг Ермака, нельзя не удивляться и тому, что простолюдин явился выразителем исторического закона, который двигал Русь к востоку в Азию и который продолжает вести ее в этом

направлении до настоящего времени. Первый, основательный шаг за Уралом сделал Ермак, другие пошли за ним».

Эти другие свершили подвиг не менее удивительный.

* * *

Нет! Все, что смог сделать народ русский в Сибири, он сделал с необыкновенной энергией, и результат трудов его достоин удивления по своей громадности. Покажите мне другой народ в истории мира, который бы в полтора столетия прошел пространство, больше пространства всей Европы, и утвердился на нем! Все, что ни сделал народ русский, было выше сил его, выше исторического порядка вещей.

Н. М. Ядрищев

Непонятно, почему Н. М. Ядрищев, знаменитый сибирский писатель и ученый прошлого века, говорит о полутора столетиях, в которые народ русский прошел Сибирь и утвердился в ней. Очевидно, это относится больше к «утвердился», занял Сибирь во всю ее мощь и ширь и рассмотрел, где заводить пашню, где промышленность зверя, а где копать рудники.

Ермак овладел столицей сибирского ханства Искером осенью 1582 года, в августе 1585 года погиб в неравном ночном бою, после чего его оставшийся в живых отряд вынужден был отойти, а уже в 1639 году енисейский служилый человек Иван Москвитин поставил на берегу Охотского моря зимовье, и русские вышли к Тихому океану, в 1648 году Семен Дежнев проплыл проливом, который отделяет Америку от Азии. Уму непостижимо! Кто представляет себе хоть немного эти великие и гиблые расстояния, тот не может не схватиться за голову. Без дорог, двигаясь только по рекам, волоком перетаскивая с воды на воду струги и тяжелые грузы, зимуя в

ожидании ледохода в наскоро срубленных избушках и незнакомых местах и среди враждебно настроенного коренного кочевника, страдая от холода, голода, болезней, зверья и гнуса, теряя с каждым переходом товарищей и силы, пользуясь не картами и достоверными сведениями, а слухами, грозившими оказаться придумкой, нередко в горстку людей, не ведая, что ждет их завтра и послезавтра, они шли все вперед и вперед, дальше и дальше на восток. Это после них появятся и зимовья на реках, и остроги, и чертежи, и записи «распросных речей», и опыт общения с туземцами, и пашни, и солеварни, и просто затеси, указывающие путь,— для них же все было впервые, все представляло неизведанную и опасную новизну. И сейчас, когда каждый шаг и каждое дело сибирских строителей и покорителей мы без заминки называем подвигом, нелишне бы помнить нам и нелишне бы почаще представлять, как доставались начальные шаги и дела нашим предкам.

«Он идет по тобольским лесам и нескончаемым снегам с тяжелой пищалью за плечами, выданной на время похода из воеводской казны. Он ищет новые соболиные реки, составляет чертежи. На лыжах он пересекает огромные снежные просторы, мчится на мохнатом гнедом коне, ведя второго в поводу, сидит на корме широкой плоскодонной лодки, и над его головой шумит парус из сыромятной кожи. Его подстерегают опасности. Он слышит, как поет, приближаясь к нему, стрела с черными перьями. Он не щадит себя в «съемном» — рукопашном — бою, и раны его под конец многотрудной жизни нельзя сосчитать. Он спит на снегу, кормится чем попадет, годами не видит свежего хлеба, часто ест «всякую скверну» и сосновую кору. Ему много лет не платят государева жалованья — денежного, хлебного и соляного. «Поднимаясь» для прииска новых рек и земель, он все покупает на свои деньги, залезая в неоплатные долги, подписывая кабальные грамоты».

Так рисует портрет первопроходца известный писатель Сергей Марков, начиная свой очерк о Семене Дежнев¹е. И это далеко не все напасти, которые подстерегают на длинных путях «добытчика» и «прибыльщика». Прибавьте сюда еще несправедливость и алчность воевод, таких, как якутский стольник Петр Головин; прибавьте лукавство и заспинные действия местных князьков, на которых нельзя было положиться; «правеж», «розыски» и доносы со стороны доглядчиков, без коих редко удавалось обходиться любой русской склотке; борьба, вплоть до боев, с отпавшими отрядниками, как у Хабарова с Поляковым или у Дежнева со Стадухиным, — это все сверх суровости сибирской природы. Они и терпели кораблекрушения, и исчезали бесследно, не оставив о себе ни единой памятки, и зимовали не по разу в местах, называемых ныне полюсами холода, и теряли рассудок в полярных ночах... что и говорить! — Сибирь взяла с них свою дань сполна. Они выходили в пути крепкими и телом и духом казаками, готовыми к любым лишениям, из которых едва ли могли предвидеть и десятую часть, и они заканчивали их, кому удавалось закончить, людьми какой-то особой, сверхъестественной силы и выдержки, людьми, под которыми должна была приклоняться земля. После них подобных людей, кажется, уже и не случалось, они были тем, что можно назвать «самострелами» русского духа. Потому что это было движение по большей части стихийное, народное, устремленное на свой страх и риск, за которым не всегда поспевали правительственные и даже воеводские постановления. Для осознания их изнурительного подвига не хватает воображения, оно, воображение наше, не готово следовать теми долгими и пешими путями, какими шли сквозь Сибирь эти герои.

Что же вело их на восток, что заставляло, пренебрегая мучениями и опасностями, так торопиться? Обычно выставляют одну причину: жажда наживы, необходи-

мость отыскать новые земли, где природные богатства, и особенно пушнина, оставались еще нетронутыми, и желание, служа царю и воеводе, поставить им под ясак новые народцы. Вело, разумеется, и это, но будь это единственной причиной, казаки-первопроходцы так не торопились бы. За те пятьдесят или шестьдесят лет, что прошли они от Иртыша до Тихого океана, соболя и горносталя не успели еще выбить и в «проведанной» части Сибири, а остроги, которые наспех ставили казаки по пути на восток, были бедны, малочисленны и не давали им безопасности. Чего бы, казалось, разумней: как следует обустроиться, запастись в достатке провизией и провиантом, обеспечить, по-нынешнему говоря, надежные тылы, а затем не спеша и наверняка двигаться дальше. Но нет, они спешат. А как, представьте, выдержать спокойную и разумную жизнь, как усидеть на месте, если, слышно от кочевников, впереди великая река Енисей, потом великая река Лена, по которой живет большой и мастеровитый народ (якуты), а затем реки и вовсе поворачивают встречу солнцу. Нет, не в русском характере здесь усидеть в спокойствии, ожидая указаний, не в русской стихии быть благоразумным и осмотрительным, оставив родное «авось». Можно быть уверенным, что не только корысть направляла казаков и не только, что уже благородней, дух соперничества в первенстве двигали ими, но и нечто большее. Здесь было словно волеизъявление самой истории, низко склонившейся в ту пору над этим краем и выбирающей смельчаков, чтобы проверить и доказать, на что способен этот полусонный, по общему мнению, и забитый народ. Тут немалой частью энергии для столь могучего порыва явилось народное самолюбие.

У нас не принято ставить памятники отличившимся городам. А было бы справедливо где-нибудь на просторах Сибири, предположим, на той же Лене, где к середине XVII века собрались самые деятельные «землесведыватели», выказать и подтвердить благородную память

сибиряков Великому Устюгу, городу теперь захиревшему, выпускающему гармоники. А в то время Великий Устюг, когда-то бросавший вызов самому Великому Новгороду, еще гремел, и величие свое он подтвердил в именах Семена Дежнева, Ерофея Хабарова, Василия Пояркова, Владимира Атласова, Василия Бугра, Парфена Ходырева и многих, многих других, добывших себе по сибирским рекам, морям и волокам мужественную славу. Все они из Великого Устюга. Это не только удивления достойно, но кажется невероятным: что за оказия! как их там, в колыбели мореходов и открывателей, наставляли, чем укрепляли дух и кость?! Тут бы для гордости в веках хватило и одного Семена Дежнева, открывшего «Берингов» пролив. «Одиссеей» Ерофея Хабарова почла бы за честь хвалиться любая столица, будь он из нее родом. А Атласов, покоритель Камчатки! А Поярков, «приискавший» огромные территории Северо-Восточной Сибири! И как знать, не из Устюга ли вышел и легендарный Пенда, поперед всех проникший на Лену из «златокипящей» Мангазеи? Не устюжанином ли был и Петр Бекетов, об одной из экспедиций которого И. Фишер в «Сибирской истории» писал: «Намерение свое он произвел с таким малым числом людей, что почти невероятно показалось бы, как россияне могли на то отважиться».

Кстати припомнить еще, что дважды в течение десятилетия (в 1630 и в 1637 годах) Великий Устюг вместе с соседями — Тотьмой и Сольвычегодском — снаряжал в далекую Сибирь большие отряды девиц в «жонки» русским служилым людям. Как не считать после того сибирякам этот город своим родным, как не поклониться ему издалека кровным поклоном! Да и всей русско-северной сторонushке, где Новгород, Вологда, Архангельск и Вятка, следует поклониться: оттуда вслед за казаками пришли пашенные и мастеровые люди, оттуда началось первоначальное заселение Сибири.

Сибири суждено было войти в плоть и кровь России,

так оно и произошло. Ермак острым и быстрым клином, как ножом, вонзившись в ханскую Сибирь, лишил ее прежней власти, казаки-первопроходцы, наскоро пройдя Сибирь насквозь, простежив ее боевыми острогами, словно бы подшили ее к России. Но русской и оседлой Сибирь сделали не воины, не служивые, промысловые и торговые люди, а хлеборобы. Волны, которыми двигала нажива, накатывали и откатывали — за пушшиной, мамонтовой костью, за золотом и другими драгоценными металлами — и, выбив, выбрав богатства, опустошив сибирские леса и по тогдашним возможностям сибирские недра, искатели скорого счастья уходили восвояси и распускали мрачные слухи о том, что Сибирь — страна мертвая и бедная, непригодная ни для удачи, ни для сытого житья. Всегда так — ограбленному спасибо не говорят. Не последние умы еще в прошлом столетии заявляли, удрученные малой, как казалось, производительной отдачей Сибири, что она, Сибирь, питаясь соками России, знает лишь отнимать силы у своей кормилицы. А пашенный человек, пришедший на эту целомудренно пустовавшую землю вслед за казаком, между тем распахивал степь или корчевал под поле тайгу и год от года сажал и собирал хлеб, растил детей, умножал семьи и делал теперь уже свой многотрудный край жилым и доступным. Мнения о Сибири менялись, интерес к ней то вспыхивал, то снова пропадал, из золотого колодца она превращалась в нечто вроде мусорной ямы, куда сваливали всех мастей преступников и нежелательных для правительств людей, а он, крестьянин, знай себе работал да работал и тяжелым трудом и нелегкой жизнью рождался с Алтаем, Енисеем и Леной все прочней и прочней.

Этот тихий и незаметный, как прежде говорили, угодный богу труд сделал решающее дело. В конце концов Сибирь покорила тому, кто ее накормил. Уже через сто лет после Ермака она стала обходиться собственным хлебом, а еще через сто — не знала, что с ним делать.

Интересно, что противники строительства через Сибирь железной дороги в прошлом веке выставляли одним из главных доводов опасение, что по этой дороге Сибирь беспрепятственно завалит Россию своим дешевым хлебом, а России, мол, и собственного девать некуда.

Он, крестьянин, и прирастил окончательно Сибирь к России, сохой завершив огромное по своему размаху и по своим последствиям предприятие, начатое Ермаком с помощью оружия. И надо признать: Сибирь досталась России легче, чем можно было предполагать. Досталась как великая удача, как небывалый, по слову сибиряка, фарт.

* * *

Должно отдать справедливость Сибири. При всех недостатках, укорежившихся в ней от постоянного наплыва разных, часто весьма нечистых элементов, как-то: бесчестья, эгоизма, скрытности, взаимного недоверия — она отличается какою-то особо широтою сердца и мысли, истинным великодушием.

Михаил Бакунин

Ум сибиряка всецело поглощен материальной наживой, его увлекают только текущие практические цели и интересы. Этот холодный расчет и корыстные страсти подавили в населении всякое идеальное настроение и даже общественность.

Афанасий Щапов

Если бы удалось собрать всю разногласицу высказываний вместе, выяснилось бы, что несибиряки отзываются о сибиряках лучше, нередко с восторгом, чем сами сибиряки о себе. И это тоже в характере сибиряка. Он скорее будет несправедлив, преувеличивая свои недостатки, чем достоинства, и он не станет скрывать разо-

чарования в своих земляках и в своей родине, которые ему хотелось бы видеть совершенней и лучше.

Конечно, попав в другую природную обстановку, оказавшись сзади аборигенов, коренных жителей этих краев, столкнувшись во многом с новыми условиями существования, сибиряк должен был отличаться от обитателей старой части России. Как европеец в Америке превратился в тип янки, так и русский в Сибири видоизменился в тип сибиряка, имеющего отличия и в психическом складе, и даже в физическом облике.

Сразу за Уралом вы встретите лица с азиатчинкой. Признано, что с самого начала русский в Сибири оказался превосходным колонистом. Правда, и здесь были попытки устроить по примеру Северной Америки рабство, материалом для которого послужило бы местное население, однако попытки эти мало сказать ничем не кончились, но провалились с треском, осужденные и правительством, и нарождающейся общественностью, и практикой переселившегося сюда простого мужика.

Что касается правительства, надо сказать, что во всех серьезных спорах между русскими и инородцами оно, как правило, брало сторону последних. Так было и при Петре, и при Екатерине. Конечно, это не мешало воеводам и их людям нещадно обирать и унижать инородцев, но простой мужик, устроившись на новом месте рядом с бурятом или тунгусом, сразу и без труда входил с ним в дружеские отношения, передавая ему свой опыт пахаря и мастерового и перенимая от него навыки в охоте и рыбалке, в знании местных условий и природного календаря. Ничуть не страдая своей избранностью (за русским это, кажется, и вовсе не водится), он стал родниться с аборигеном семейными узами и до того увлекся, что практика эта встревожила и правительство и церковь. Еще в 1622 году московский патриарх Филарет взыскивал с сибирского архиепископа Кириана: «Ведомо нам учинилось и от воевод, и от приказных людей, которые

прежде сего бывали в Сибири, что в сибирских городах многие служилые и жилецкие люди живут не христианскими обычаями, но по своим скверным похотям: многие-де русские люди... с татарскими, и с остяцкими, и с вогулицкими погаными женами смешаются и скверная деют, а иные живут с татарскими некрещеными и деют с ними противность...»

Церковь, впрочем, не была последовательной в своих требованиях, и одним перстом запрещая смешанные браки, другим разрешала их при условии, если иноверцы пойдут под крест. Изредка присылаемых в жены из российских губерний партий девиц не могло хватить на весь огромный край, кроме того, русский мужик вправе был поступать по собственному выбору, поэтому ничего удивительного, что чем дальше в глубь Сибири, тем больше смешанных браков и тем чаще азиатчина в русских лицах. В Восточной Сибири, к примеру, едва ли не каждое четвертое или третье лицо — с раскосыми глазами и широкими скулами, что придает женской красоте новую очерченность и выразительную свежесть, отличающую ее от усталости и стертости красоты европейской. Сибиряк, получившийся от слияния славянской порывистости и стихийности с азиатской природностью и самоуглубленностью, быть может, как характер и не выделился во что-то совершенно особое, но приобрел такие заметные черты, приятные и неприятные, как острая наблюдательность, возбужденное чувство собственного достоинства, не принимающее ничего навязанного и чужого, необъяснимая смена настроения и способность уходить в себя, в какие-то свои неизвестные пределы, иступленность в работе, перемежающаяся провалами порочного безделья, а также хитроватость вместе с добротой, хитроватость столь явная, что никакой выгоды от нее быть не может. Все это, возможно, еще не достроено, во всем видны две стороны, не сошедшиеся пока в одно целое, — природе, надо полагать, требуется времени больше, чем у нее было, что-

бы довести начатое до конца, но видно, что делом этим она занимается не без удовольствия.

Говоря о характере русского сибиряка, нелишне повториться, что с самого начала его формировала народная вольница. Колонизация Сибири прежде всего была народной, и раньше тех, кого правительство направляло «по выбору» и «по указу», сюда пробирались отряды «вольноохочих». В Сибирь шли люди, уходившие от ограничений и притеснений и искавшие свободы всех толков — религиозной, общественной, нравственной, деловой и личной. Сюда двинулись и те, кто не в ладах был с законом, чтобы скрыться в зауральских глубинах от наказания, и те, кто искал справедливого общинного закона, который бы противостоял административному гнету, и те, кто мечтал о сторонушке, где бы вовсе не водилось никаких законов. Рядом с авантюристом шагал праведник, рядом с тружеником — пустожил и пройдоха. Религиозный раскол XVII века двинул в Сибирь десятки тысяч самых крепких, самых стойких духом и характером людей, которые отказались признать церковные и государственные нововведения и предпочли им уход из мира в неприступную глухомань. Еще и теперь в наших лесах находят их поселения, где человек в языке, обычаях, верованиях, в одежде и способах существования остался таким же, каким он был триста лет назад. Можно удивляться фанатичности этих людей, но нужно удивляться и их жизнестойкости и твердости, выходящих за границы наших представлений об этих понятиях. Все сходилось в Сибири — и староверческая община, отличавшаяся чистой и крепкой нравственностью, противостояла здесь ссыльно-уголовному братству, которое держалось законами совсем другого рода. Н. М. Ядринцев отмечал: «Эти села потому и носят характер старины, потому в них видны сила и порядок, что главную массу их населения составляют раскольники. И в других раскольничьих селениях Сибири, где бы они ни попадались, в Восточной или Западной Си-

бири, видна та же порядочность, то же довольство во всем. Самая наружность жителей другого рода, точно они составляют особое племя. Красивые, полные, белолицые, свежие женщины в цветных, опрятных сарафанах, опрятные, почтенного вида старики, красивые парни; во всем порядочность, чистота и довольство».

И теперь человек из семейских, как называют староверов, вызывает даже и в сибиряке особое уважение и интерес: из семейских — значит, как правило, надежный товарищ и отменный работник.

В Сибирь всегда шло много народу и много возвращалось обратно. Были времена, когда она напоминала проходной двор — со всем тем неизбежным, как ведут себя люди в проходном дворе. В немалой степени это остается и сейчас. Огромные тысячи, которые постоянно, как прибой, накатывают на громкие сибирские стройки, накатывают, как и положено прибою, с шумом, музыкой и впечатляющей мощью, по прошествии нескольких лет тихо и незаметно исчезают — словно уходят в песок. Опять новый прибой и новые тысячи — и опять спящими и потайными ручейками отлив, оставляющий на местах весьма небольшую часть прибывших. Объясняется это прежде всего устоявшимся отношением к Сибири: как быстрее и дешевле взять ее богатства. Забота о людях, в которой не приходится сомневаться, в сибирских условиях подчас соскальзывает на несколько порядков вниз, а поднимать ее с самого начала, с учетом этого соскальзывания, на несколько порядков вверх никак не хотят.

Нечего и говорить — жить в Сибири нелегко. Климат ее, ставший в последние десятилетия более капризным, то и дело подкидывающим сюрпризы, когда под Новый год может зазвучать капель, а в июне пойти зимний снег, едва ли стал более мягким. Суровость и неуютность этих краев издавна устраивали строгий отбор колонистам и всевозможным покорителям. Чтобы прижиться и остаться здесь, нужно иметь дух сибиряка — не минуты подье-

ма, а состояние постоянной готовности ко всякого рода неожиданностям и неприятностям и умение преодолевать их без излишней затраты сил. Этот дух необязательно должен родиться в Сибири, он может развиваться где угодно, но должен соответствовать Сибири, войти в ее общую атмосферу сопутствующим движением. Есть люди, ведущие свой род здесь не одним поколением, но так и не ставшие сибиряками, чем дальше, тем сильнее страдающие на чужой для них земле, и есть — кто словно создан для Сибири и, попав сюда, осваивается без особых трудностей. Так что сибиряк — это не только толстая кожа, привыкшая к морозам и неудобствам, и не только упрямство и упорство в достижении цели, выработанные местными условиями, но также и неслучайность, глубокая и прочная укорененность на этой земле, совместимость человеческой души с природным духом. Сибиряк редко изменяет своей родине; охота к перемене мест, ставшая повсюду эпидемией, у него замечается все-таки меньше и существует, как правило, в пределах своего родного края. Отчая земля, живущая в каждом из нас изначальным составом, в сибиряке существует более требовательной страстью — потому, быть может, что и досталась она с великими трудами, память о которых еще не ватерялась в череде поколений.

Без упорства и упрямства, в которых нередко упрекают сибиряка, человек здесь не смог бы долго продержаться. Первым насельникам, основателям деревень и сел, в буквальном смысле пришлось отвоевывать в глубинной Сибири у тайги каждый клочок земли. Стоило чуть ослабить силы — лес наступал на отнятую у него распаханную полосу. Тайга стояла стеной, далеко над тайгой нависали горы, с которых никогда не сходят снежные шапки. Длинная зима выматывала силы душевные, короткое лето требовало вдвое больше сил физических. Среди лета ни с того ни с сего вдруг могли ударить заморозки и погубить урожай в тайге, в огороде и в поле на корню, ви-

мой оголодавший зверь заходил в деревню и задирали домашнюю скотину, нападал на человека. В тепло угнетал гнус: комары, мошка да еще мокрец — крохотная, едва видимая ядовитая мушка, тучей налетающая в ненастье. Скот, донимаемый мошкой, пасся только ночами, днем стоял взаперти под дымокурком, люди работали в натянутых на голову волосяных сетках, под которыми трудно дышать, обмазавшись к тому же еще для верности дегтем. Все это от дедовских времен дошло и до нас: в моем детстве, в 40 и 50-х годах, без сетки в среднем и нижнем течении Ангары нельзя было выйти на улицу и на две минуты, в 30-градусную жару (не до загара) обвязывались и закутывались в тряпки с головы до пят, чтоб — упаси господь! — не остался где лоскуток тела; вымазывались дегтем как черти, набивали в голенища сапог и ичигов траву, закрывая все ходы и выходы, — и помогало мало: ходили с опухшими глазами, с разъеденными, в кровавых полосах, руками и ногами.

Про наших комаров итальянец Сомье, побывавший за Уралом в конце прошлого века, писал: «Если бы Данте путешествовал по Сибири, то из комаров он сделал бы новую казнь для своих преступников». За двести и сто лет и до того и столет спустя комары здесь, кажется, мало изменились, лучше человека приспособившись в нынешнем веке и к дыму, и к угару, и ко всем остальным изменениям в их владениях.

Чтобы выстоять и не опустить руки, мало было иметь крепкие силы, надо было иметь еще и крепкий дух, дух гордого сопротивления и неубывающего упрямства: а все-таки выдержу, не уйду, все-таки я сильнее.

Не подправил ли бог этот край в Сибирь в самом конце своего творения, когда он усомнился в человеке? — вот как, озирая со своего поля расстилающиеся перед ним неласковые дали, в скорбной гордыне мог размышлять в ту пору сибиряк.

Прибавьте к его несчастьям в прошлом еще одно

зло — бродяг. Известно, что Сибирь — край каторги и ссылки, куда со всей огромной и законом не устроенной империи сваливали за всякую, большую и малую провинность, полагая это пользой для малонаселенного края. Почему-то принято считать (надо думать, по воспоминаниям, которые уголовники не пишут), будто сюда направляли едва ли не только политических ссыльных. Кстати, с политическими ссыльными, от декабристов и польских повстанцев до марксистов и большевиков, Сибири повезло, хотя сами они, оказавшись здесь, разумеется, не считали, что им повезло. Но добро есть добро, в каких бы обстоятельствах оно ни творилось, и для нашего темного в ту пору и малоизученного края их деятельность в науке, культуре и просто нравственном и личностном воспитании явилась огромным благом. Одно присутствие здесь декабристов, разбросанных в ссылке по всем просторам Западной и Восточной Сибири, имело на общественность такое влияние, что, во-первых, будучи во многих местах разрозненными умами, она стала общественностью и, во-вторых, обрела цели, которые в конце концов привели к открытию Томского университета.

Но Сибирь в основном была наводнена уголовниками. В некоторых углах их насчитывалось больше, чем местных жителей, и понятно, что ничему другому, как своему ремеслу, они их учить не могли. Дело даже не в развращении нравов; коренной сибиряк был достаточно устойчив, чтобы не поддаваться ему, — главная беда исходила от густого бродяжничества этих людей. Надзор за ними никуда не годился, убежать с места поселения было намного легче, чем выжить затем в дороге, поэтому человек, решившийся на побег, готов был на все — на воровство, на грабеж, на убийство. Это мы теперь, выпевая жалостную песню о бродяге, который «к Байкалу подходит, рыбацкую лодку берет», сокрушаемся о его погубленной судьбе, — предок наш плакал от него горькими слезами. Он держал оружие не только против зверя, но и против тем-

ного человека, который в любой момент мог постучать в окно и потребовать все, что ему заблагорассудится. Надо ли удивляться после этого недоверчивости и скрытности сибиряка, его якобы недружелюбности и холодности? Да, недоверчив, холоден, приглядчив, но только поначалу, пока не изучит тебя и не поймет, что ты зла не несешь, — и тогда душа нараспашку, и этот же человек, который вот-вот, казалось, завернет тебя с порога, принимает и угощает как родного брата, без лишних слов и ненужных чувств, но хлебосольно, дружелюбно, с той искренностью и радушием, с которыми и должен радоваться в этом мире человек человеку.

О гостеприимстве сибиряков ходят легенды, быть может, несколько преувеличенные, имеющие, однако, немалые основания, чтобы им появиться и держаться.

Деревни и села по рекам отстояли друг от друга далеко и были небольшими, круг людей в них один и тот же, поэтому, истосковавшись в долгом таежном промысле и страдных делах по свежему человеку, сибиряк умел ценить общение и пользоваться им. Оно было для него как праздник. Да и просто отношения друг с другом, со своими соседями и односельчанами отличались основательностью и серьезностью. Сердце по пустякам на мелкие обиды и ссоры не сворачивали, а дружили — так дружили, враждовали — так враждовали, все в полную силу и по полной мере.

Без взаимовыручки и общинного духа обойтись здесь было труднее, чем где-либо в другом месте, и этот общинный дух, как ни странно, прекрасно уживался в сибиряке рядом со скрытностью и индивидуализмом: одно — для связей с миром понятным и привычным, другое — для всего, что представлялось посторонним и подозрительным и чего в Сибири хватало с избытком. Уходя из таежного зимовья, охотник обязательно оставлял сухую растопку, спички, соль, еду — мало ли в каких обстоятельствах может оказаться человек, который придет сюда вслед за

ним. Этот закон неукоснительно соблюдался веками и стал исчезать только в самое последнее время. Для тех же бродяг, от которых сибирский старожил много страдал, он, запираясь на ночь, не забывал вынести на специально вырубленное для этой надобности в глухом заплоте окно кринку молока и буханку хлеба: поешь, путник, и следуй дальше. Выносил прежде всего из сострадания, а уж потом — чтобы отвести от своей усадьбы злую руку. И принято было отдавать последнюю копейку, когда по городам и селам, от дома к дому и от избы к избе незнакомые люди, пряча глаза, собирали «на побег товарищу».

Но больше всего на характер сибиряка повлияла сама Сибирь — как земля, как мир, в котором он жил и воздухом которого он дышал, как рождающая и несущая его родина. Подобно тому, как «в народах отражается их отечество» (А. П. Щапов), в человеке отражается его отчий край.

Нас могут подавить лишь то величие, та мощь, которые неестественно и резко выделяются среди всего остального, делая сравнение грубым и печальным. Когда же все в природе вокруг соразмерно, выдержано в одном крупном масштабе, это возвышает, в свою очередь, и человека. Генетика земли — вещь столь же изначальная и определенная, как и генетика крови. Ввиду великой природы и ее неослабевающего торжества человек невольно чувствовал себя значительным и сильным. Малолюдность увеличивала в нем это настроение. Огромные труды, затраченные, чтобы закрепиться и выжить на этой нелегкой земле, способствовали относиться к себе с уважением — как к величине того же порядка, что и все вокруг, и даже выше. Весь мир рядом дышал суровым достоинством и свободой, затаенной глубиной и крепостью, и во внешнем покое ощущалось пружинистое напряжение — сибиряк, естественно, перенял этот дух, и, наложившись в нем на стихию прадедовской вольности, он затвердел,

пожалуй, чуть больше, чем надо. Неверно, что сибиряк не общителен, но общительность его с равным носит характер соревнования и соперничества, с неравным — покровительства. И то и другое проявляется без нарочитости и принятой на себя роли, проявляется само собой, но всегда сибиряк помнит, что он сибиряк, и дает понять это другим. Гордость от своего природного происхождения доходит в нем порой до гордыни. Сейчас это качество, разумеется, сильно ослабло, но не утратилось совсем.

Важно еще, что здесь никогда не существовало крепостного права, давившего на человека и физически, и морально, лишавшего его самостоятельности и гнетуще влиявшего на его отношение к труду и вообще к жизни. Сибиряк привык полагаться на себя. Земли было вдоволь; сколько хочешь, сколько можешь — бери и обрабатывай. Административный гнет, тяжкий в городах, до деревни доходил слабыми и обессиленными распоряжениями, которые опытный мужик не торопился исполнять. Русская пословица: «На бога надейся, да сам не плошай» — имела тут прямой и практический смысл. И действительно, сибиряк не отличался глубокой созерцательностью и набожностью (кроме, разумеется, раскольников); расчетливый ум преобладал в нем над чувством, но преобладал не из корысти, а из самого состава здешнего старожилы. Странно было бы искать в этом рожденном из постоянно-го сопротивления, закаленном в лишениях, «огнеупорном» духе расслабленность и размягченность, свойственные жителю степной России. Но это говорится уже не в достоинство сибиряку, а для того, чтобы показать, что в нем есть и чего в нем нет. Он и голову задирает, глядя в небо, как на могущественного соседа, мечтая верой приспособить его для себя и своего хозяйства.

Можно сказать, что во всех своих качествах, удачных и неудачных, плохих и хороших, сибиряк есть то, что

могло произойти с человеком, за которым долго не поспевали ограничительные законы.

Но, размышляя о сибиряке как о выделившейся благодаря отбору и местным условиям русской ветви, не следует забывать, что он расселился на огромных территориях, происходил из различных социальных групп и только поэтому уже не мог быть одного лада и одного покроя. Алтаец, выходец из сурового раскола, и забайкалец, предок которого сослан был в рудники, или прямой потомок вольного казака на берегах Енисея — все они мало походят друг на друга. И потому всякие попытки вывести из сибиряка нечто единое и общее имеют весьма приблизительные очертания.

Впрочем, на то он и сибиряк, на то она и Сибирь, чтобы не поддаваться полному извлечению из себя и остаться вещью в себе.

Мы любим иной раз сказать не без гордости: «Сибирь — Россия больше, чем Россия».

В этих словах, появившихся не сегодня и ставших поговоркой, нет и намека на противопоставление или на спор. Сибирь и Россия — одно целое. Сибирь без России не существует, и пускаться по этому поводу в доказательства нет необходимости. Речь о другом. Быть может, из ложного патриотизма, а быть может, из сдвинутых в свою сторону наблюдений, но хочется верить, что некоторые качества русского человека сохранились в сибиряке полнее и лучше. Заслуги в этом мы себе не берем, так сложилось, и не может быть, чтобы чувства наши совсем не имели под собой никаких оснований. Еще в прошлом веке отмечалось: «Сибиряк-крестьянин представляется тем русским человеком, каким он был в России древле, до появления кабалы, холопства, крепостного права; природные свойства русского земледельца получили здесь свободное развитие» (С. Я. Капустин).

Можно припомнить в этой связи, что всякое иностранное влияние, будь оно немецким или французским, которым, как пожаром, загорались прежде время от времени российские столицы, добравшись за тысячи верст на лошадаках до Томска или Иркутска, неминуемо покрывалось сибирским куржаком и переходило на крепкий сибирский «диалект». Можно сослаться на традиционную недоверчивость сибиряка, который не вдруг бросится исполнять погоняющие друг друга указания, дотошливо примериваясь, будет ему от них польза или нет. И можно, внимательно присматриваясь к сибиряку, заметить, что при всех потерях, случившихся в его характере в последние десятилетия, он остается все же в границах более или менее здоровой морали и искренних отношений, что по нынешним временам ой как не худо. Но самое важное: русский человек (как и всякий другой в своем изначальном национальном замесе), чувствующий себя вполне русским и вполне человеком лишь среди создавшей его материнской природы и растерявшийся там, где связь с нею нарушена, в Сибири все-таки имеет пока возможность жить среди родных степей и родных лесов. Хотя и приходится огорчаться, что возможность эта с каждым годом стесняется и уменьшается, а если и действительно удастся совершить поворот сибирских рек, она, бесспорно, исчезнет совсем.

Конечно, сибиряк ныне уже не то, чем он был даже и сто лет назад. Его «сибирская порода» сильно разбавлена, и, кажется, совсем немного остается, чтобы она превратилась в одно лишь географическое понятие. Бесследно ничто не проходило — ни каторга и ссылка, ни массовое переселение крестьян после освободительной реформы и до начала первой мировой войны, когда в Сибирь перебралось четыре миллиона человек — почти столько же, сколько в ней было своего населения. Лишь крепкие, устоявшиеся нравы, не без помощи матушки-природы, в течение десятилетий смогли воспитать из них сибиряков.

При этом важно еще, что переселенец приходил сюда на постоянное жительство и волей-неволей вынужден был считаться с местными писаными и неписаными законами. Когда же тридцать и двадцать лет назад началось новое «покорение» Сибири и хлынули на стройки могучие призывные волны, для них этого препятствия уже не существовало. Молодежь ехала сюда прежде всего как на строительную площадку, откуда, сделав свое дело, научившись ремеслу и заработав на семью, в любой момент могла уехать — как оно чаще всего происходило и происходит. Быть может, у возвращающихся из Сибири и остается к ней теплое чувство, которое они увозят с собой, но на месте они оставляют легкое и стороннее отношение к земле, на которой им временно довелось работать и которая так и не стала для них родной.

Со всеми вытекающими отсюда последствиями.

И перед числом временных и сезонных людей коренной сибиряк вынужден был посторониться. Он и пашет, и строит, и рубит, и добывает, доля трудов его в происходящих в Сибири переменах гораздо больше, чем это может показаться по газетам и журналам, но все он делает как бы вослед, увлекаемый мощными хозяйственными и индустриальными потоками. Он словно бы инстинктивно, по чувству и долгу сибиряка, выбирает место, откуда способней и легче будет порадеть о родной для него земле.

И в городе, и в деревне он сильно изменился, теперешний сибиряк. Но он все еще сибиряк, и тем сильнее он тоскует о потерянных своих качествах (для примера можно сослаться на героев книг и фильмов Василия Шукшина), чем больше они были необходимы ему для крепости и надежности в жизни. Но именно это и дает надежду, что за оставшееся в нем «нутро» он станет держаться со свойственными ему упорством и упрямством.

А создать Сибирь не так легко, как
создать что-нибудь под благословен-
ным небом.

И. А. Гончаров

Холодные и дикие просторы!..

Как давно были сказаны впервые эти слова и были ли они сказаны кем-то, или они всегда беззвучно и властно, как дух, стояли над Сибирью, ниспуская на человека путешественного тоску и тревогу? Ибо если и были они сказаны, то человеком путешествующим, заранее робевшим перед теми огромными расстояниями и тяжелыми испытаниями, которые ему предстояло преодолеть. Он переезжал Урал, останавливался перед пограничным столбом, исписанным прощальными, раздирающими душу надписями каторжников и просто людей, не ждавших впереди ничего хорошего, потом трогал дальше, но впечатление, оставленное надписями и усиленное собственной печалью, овладевало им надолго. Медленно и томительно стягивались назад версты, одна и та же стояла перед глазами картина, как казалось ему, унылая и безжизненная, сквозь которую донимавшая его разбитая дорога напоминала дорогу в ад. А тут еще по ней, по этой дороге, колонны несчастных — то арестантов, то переселенцев, ищущих доли, оборванных и напуганных, а тут еще встречный краснорожий лихач понужнет без причины злым словом — все как на обороте нормальной человеческой жизни, все как в чужбине, которой никогда не обогреться и не обласкаться и которую нельзя представить для кого-нибудь желанной родиной.

С этим настроением и ехал путешественник и день, и два, и три, сквозь тяжелое раздумье заметив однажды, что небогатый лес по сторонам дороги сменился степью. Но и она надолго застыла в своем однообразии, и она казалась бесконечной, не способной вызвать теплое чувство. Ее приходилось лишь терпеть и ждать, что будет

дальше, и в худшей, но новой картине надеясь найти облегчение для изнуренного взгляда.

И оно, облегчение, действительно наступало. Очнувшись, как от глубокого сна, путник вдруг отмечал с удивлением и отрадой, что и утомившие его колки, и все чаще и смелей выступающие из непроезжих краев леса с сосной и лиственницей, и сама земля, постепенно теряющая ровную стать, начинают волновать его все сильнее и сильнее, все ощутимей рождая в нем отзыв как бы на изначально заказанную встречу. И он уже не понимал, отказывался понимать, почему мог он равнодушно смотреть по сторонам, что случилось с ним, если отворачивался он от этой редкостной красоты.

Антон Павлович Чехов, пересекавший еще на лошадях в конце прошлого века Сибирь в поездке на Сахалин, проскучал до самого Енисея. «Холодная равнина, кривые березки, лужицы, кое-где озера, снег в мае да пустынные, унылые берега притоков Оби — вот и все, что удастся памяти сохранить от первых двух тысяч верст». И даже женщина — «женщина здесь так же скучна, как сибирская природа». А подъехав к Енисею, ахнул: «...в своей жизни я не видел реки великолепнее Енисея». И следовал дальше в восторге и от сумрачной бесконечной тайги, и от рассказов бывалых людей об охоте и жизни.

Другой русский писатель И. А. Гончаров, за сорок лет до Чехова проезжавший Сибирь в своем кругосветном путешествии с противоположной стороны — от Охотского моря, после богатых и тучных тропических красот, после Китая и Японии, поначалу едва выносил стылые и раскрытые просторы Северо-Восточной Азии. Но неподалеку от Лены восторженул и он. И даже от зимней, укрытой снегами и льдом, даже от безжизненной в эту пору великой реки отыскалось в уставшем путешественнике свежее чувство восторга и проникновения, с которым он, называя себя романтиком, и продолжал путь.

В обоих случаях так оно и должно было случиться.

С какого края к ней ни подъезжай, Сибирь не торопится раскрываться, и лучшие свои творения с любовью и вкусом она расположила в глубине. Впрочем, это еще и вопрос: что считать лучшим? И два человека не сойдутся здесь в одном мнении. Мне, как жителю срединной Сибири, представляется, что лучшее — подле Байкала, Саян и Енисея; алтаец станет уверять — что у него, на Алтае; чукча — что оно по берегам холодных северных морей. Каждому из нас мила своя родина, вот еще качество сибиряка: горячий патриотизм. Но сейчас речь идет не о местных мнениях, а об общем и, по возможности, беспристрастном взгляде на Сибирь, как на страну, которую творила Природа.

Уверен: те же самые картины, которые при въезде в Сибирь показались нашему путешественнику унылыми и безрадостными, на обратном пути преобразятся до такой степени, до того станут и уместными, и притягательными, и способными сильно подействовать на эстетическое чувство, что он возьмется оглядываться в недоумении: полно, да это, наверное, другая дорога. Нет, дорога та же самая и те же самые картины, измененные, быть может, лишь следующим временем года, но путешественник уже не тот. Он уже побывал в Сибири, он многое повидал, поразившее его воображение, сибирские впечатления и в нем самом открыли какие-то новые и славные просторы, о которых он прежде не подозревал.

Сибирь имеет свойство не поражать, не удивлять сразу, а втягивать в себя медленно и словно бы нехотя, с выверенной расчетливостью, но, втянув, связывать накрепко. И все — человек заболевает Сибирью. После сибирской язвы, теперь, кажется, не существующей, это самая известная болезнь: всюду после этого края и долго человеку тесно, грустно и скорбно, всюду он истязивается мучительной и неопределенной недостаточностью самого себя, точно часть себя он навсегда оставил в Сибири.

В нашей природе все мощно и вольно, все отстоит от

себе подобного в других местах. В Западной Сибири равнина — так это равнина, самая большая и самая ровная на планете, болота — так болота, которым и с самолета нет, кажется, ни конца и ни края. Восточносибирская тайга — это целый материк, терпящий, к слову сказать, и самые страшные бедствия в своей жизни от вырубок и пожаров. Реки — Обь, Енисей, Лена — могут соперничать лишь между собой. В озере Байкал пятая часть пресной воды на земном шаре. Нет, все здесь задумывалось и осуществлялось мерою щедрой и полной, точно с этой стороны, от Тихого океана, и начал всевышний сотворение Земли и повел его широко, броско, не жалея материала, и только уж после, спохватившись, что его может не хватить, принялся выкраивать и мельчить.

Но это о размерах, об объемах, а что сказать о сибирской красоте? И разве возможно, к примеру, выразить словом хоть приблизительно что-нибудь, достойное его, о Байкале? Любые сравнения, любые слова будут лишь слабой и блеклой тенью. Если бы не могучие, под стать ему, Саяны рядом, не Лена, берущая неподалеку свое начало, не Ангара, несущая байкальскую воду к Енисею, можно было бы решить, стоя на берегу этого чудо-озера и глядя на его ближние контуры и воду, на его краски и озаренность сверху, от которых даже и не тает, а обмирает в глубоком обмороке душа, — можно было бы решить, что Байкал случайно обронен с какой-то другой планеты, более радостной и богатой, где с тамошним жителем он был в полном согласии. С тем же чувством смотришь на Телецкое озеро на Алтае. Эталон красоты европейской — Швейцарию — к горному Алтаю подставляют особенно часто, природа здесь не просто живет, а царствует безбрежно и всевластно и, словно устыдившись своих высот — высот не над уровнем моря, а над уровнем человеческого восприятия, начинает от великодушия спускаться вниз, с державной легкостью снося свои богатства, чтобы, как зримые божественные звуки, прозвучали они зазывно

и ободряюще. Не случайно именно здесь, на Алтае, два столетия подряд искали русские люди таинственное Беловодье, легендарную страну, устроенную, как рай земной, где они могут зажить в полном счастье. Искали и, по их представлениям, находили, приводили сюда из Европейской России, с Урала и из Сибири равнинной своих земляков, начинали строиться и пахать — было же, значит, в этих местах что-то особенное, не рядовое, что заставляло смотреть на них с благословенной надеждой. И все здесь могло быть как в раю — да подводил человек, добравшийся со своими привычками, законами и установлениями в любую глухомань.

Сибирской Швейцарией называют и Минусинский район на южной границе Западной и Восточной Сибири в Красноярском крае. Если есть в Швейцарии или где-то в теплой Европе невесть как попавший туда уголок Сибири, тогда объяснимо: их перепутали, и то, что предназначалось Европе, очутилось здесь по счастливой случайности. Везде вокруг Сибирь как Сибирь, а в минусинской котловине на удивление созревают арбузы, дыни; помидоры вырастают настолько крупными, что с ними едва ли могут соперничать и южные плоды.

Впрочем, у нас немало таких вкраплений несибирского, казалось бы, характера. На Байкале есть уголок по реке Снежной, где рядом с лиственницей и кедром соседствуют неохватные реликтовые тополя и голубые ели. О Байкале лучше не заводить разговора. Здесь слишком много всего, от простейших растений до крупных животных, существует в единственном, нигде более не повторяющемся виде, а если и повторяющемся — в этом краю по природным законам быть не должном. Откуда, как — непонятно. Ученые, продолжая открывать их, продолжают и недоумевать. Не все знают, что в некоторых благодатных байкальских местах солнечных дней в году больше, чем на южных курортах (недавно я прочитал в одном солидном издании, что Иркутск по количеству получаемого

солнца после Давоса занимает второе место в мире), а вода, в самом Байкале постоянно холодная, ледяная даже и летом, в заливах нагревается выше двадцати градусов. И как не предположить тут, что все эти объяснимо и необъяснимо удачные исключения для того и представлены, с той заведомой целью и созданы, чтобы подсказать человеку, что ему делать, в какую сторону преобразовывать Сибирь, если она покажется скупой и неудобной.

Как и все в Сибири — как человек, земля, климат, — сибирская природа не может быть всюду на одно лицо. Представьте только расстояния, о которых пришлось бы говорить, чтобы выразить их общим понятием. И лишь зимой все в ней из конца в конец оцепеневает в одной тяжелой недоступной думе. Оголенно и стыло лежат белые равнины, успокоенно, как оставленные пограничные преграды, выступают из снегов и склоняются под снегами горы, дремлет в набрякшем морозном узоре тайга, закрываются льдом озера и реки. Все обращено внутрь себя, все заморожено одной исполинской охранной силой. В эту пору хорошо понимаешь, откуда в прошлом могли возникнуть легенды не только о засыпающих на зиму людях, но и о замерзающих в воздухе, не долетевших до слуха словах, которые с весенним теплом способны оттаивать и звучать сами по себе, вдали от сказавшего их человека.

В Сибири легко поддаться такому настроению.

Весна у нас — это еще не весна, как ее принято всюду понимать, а добрых два месяца только раскачивание зимы: тепло — мороз, тепло — мороз, пока не свернет наконец на устойчивое тепло. И тогда торопится оттаять и расцвести, распусться и зазеленеть все вокруг наперегонки. В северных широтах это похоже на выстреливание лета: еще вчера было разорно и голо, еще только готовилось к переменам, а сегодня уже завылгядывало отовсюду дружной всхожестью, завтра — загорится полным летним заревом. И заполыхает красотой яркой и от-

чаянной, не способной на оглядку: как медлительна зима, так торопливо лето. Только-только начало августа, а уж оно на свороте и заходит в него по-свойски, как домой к себе, осень. С тем и живет лето: с одной стороны поджигает холодная весна, с другой — осень.

Зато осени стоят долгие и тихие. Конечно, год на год не приходится, и бывает по-всякому, бывает, что и этой поре не удастся задержаться, но чаще всего, рано наступив, она поздно и отступает, давая возможность всему живому в природе, отстрадавав, отдохнуть и понежиться под солнцем. И не редкость: обманутые неурочным теплом, во второй раз за сезон набухают почки, и расцветает по склонам гор багульник, любимый сибиряками кустарник, по виду неказистый, корявый, но так радостно, так самозабвенно цветущий фиолетовым или розовым роспуском. И подолгу горят-догорают леса, пламенея широким разбросом осенних красок, здесь особенно чистых и сияющих, высоко и радужно наполняющих собой воздух.

«Горят», «полыхают», «заревом», «пламя» — это не из страсти к пожарной лексике. Так оно в Сибири и есть. Сибирской природе не свойственна ленивая и сытая красота южных мест, ей приходится, повторяюсь, торопиться, чтобы успеть расцвести и отцвести, принеся плоды, и делает она это с выверенной стремительностью и скоротечным, но ярким торжеством. Есть у нас цветы, которые за Уралом не растут, они так и пазываются: жарки, огоньки. В июле, когда они распускаются, сочным, праздничным заревом озаряются таежные поляны, и ничем нельзя поколебать впечатления, будто от них ощутимо доносит тепло.

Итак, стремительность в одно время года и медлительность — в другое, с неровными и непрочными в своих границах переходами — это и есть Сибирь. Порывистость и оцепенелость, откровенность и затаенность, яркость и сдержанность, щедрость и сокрытость — уже в понятиях, имеющих отношение не только к природе, — это и есть

Сибирь. И, размышляя об этих двух едва ли не противоположных началах, вспоминая, как велика, разнообразна и не проста Сибирь, с той же порывистостью кидаешься вслед беспокойному зову и с той же сдержанностью приостанавливаешься: Сибирь!..

Слишком многое сходится нынче в этом слове.

И так хочется из этого огромного и сложного клубка связанных с Сибирью противоречивых надежд и устремлений, так хочется добыть из него, как волшебное жемчужное зерно, одну простую и очевидную уверенность: и через сто, и через двести лет человек, подойдя к Байкалу, замрет от его первозданной красоты и чистых глубин; и через сто, и через двести лет Сибирь останется Сибирью — краем обжитым, благоустремленным и заповедным, а не развороченным лунным пейзажем с остатками закаменевших деревьев.

В каждом развитом духовно человеке повторяются и живут очертания его Родины. Мы невольно несем в себе и древность Киева, и величие Новгорода, и боль Рязани, и святость Оптиной Пустыни, и бессмертие Ясной Поляны и Старой Руссы. В нас купиной неопалимой мерцают даты наших побед и потерь. И в этом смысле мы давно ощущаем в себе Сибирь как реальность будущего, как надежную и близкую ступень предстоящего возвышения. Чем станет это возвышение, мы представляем смутно, но грезится нам сквозь контуры случайных картин, что это будет нечто иное и новое, когда человек оставит ненужные и вредные для своего существования труды и, наученный горьким опытом недалеких времен, возьмется наконец не на словах, а на деле радовать о счастливо доставшейся ему земле.

Это и будет исполнением Сибири. Таким и должен быть сибиряк, житель молодого и славного края, — края, имеющего право на свое будущее.



ИРКУТСК С НАМИ

Удивительно и невыразимо чувство родины... Какую светлую радость и какую сладчайшую тоску дарит оно, навещаая нас то ли в часы разлуки, то ли в счастливый час проникновенности и отзвука! И человек, который в обычной жизни слышит мало и видит недалеко, волшебным образом получает в этот час предельные слух и зрение, позволяющие ему опускаться в самые заповедные дали, в глухие глубины истории родной земли.

И не стоять человеку твердо, не жить ему уверенно без этого чувства, без близости к деяниям и судьбам предков, без внутреннего постижения своей ответственности за дарованное ему место в огромном общем ряду быть тем, что он есть. Былинный источник силы от матери — родной земли представляется ныне не для избранных, не для богатырей только, но для всех нас источником исключительно важным и целебным, с той самой волшебной живой водой, при возвращении человека в образ, дух и смысл свой, в свое неизменное назначение. И, посещая чужие земли, как бы ни восхищались мы их рукотворной и нерукотворной красотой, какое бы изумление ни вызывала в нас их устроенность и памятьливость, душой мы постоянно на родине, все мы соизмеряем только с нею и примеряем только к ней, всему ведем свой отсчет от нее. И тот, кто потерял это чувство земного притяжения на земле, кто ведает одну лишь жизнь свою без неразрывной связи прошлого, настоящего и будущего — вечного значит, огромную потерял тот радость и муку, счастье и боль глубинного своего существования.

«...Абсентеизм! Какое это ужасное слово! — восклицал

в прошлом веке один из лучших умов Сибири и верный ее патриот, писатель и этнограф Н. М. Ядринцев.— Разлука с родиной! (Абсентеизм и есть разлука с родиной— В. Р.). Какое это противоестественное чувство, недаром этот абсентеизм вызывает досаду, причиняет боль души, недаром мы, отданные интересам нашего края, давно чувствовали его вредные последствия. Сколько лучших, образованных сил нашей земли исчезли благодаря ему, сколько цветов мысли и чувства дали плод на других полях, когда собственная нива была пуста и земля ее не давала желанного ростка».

«Сколько лучших, образованных сил нашей земли исчезли благодаря ему...» — любая земля, любой край вправе сделать это горькое признание по поводу сыновей и дочерей своих, покинувших родину и канувших бесследно, не оставив заметного следа ни на какой другой земле.

...Есть города, которые насчитывают многие сотни и даже тысячу лет. Стоят они сановито и важно, изо всех сил сберегая с помощью лучших граждан своих старину и доблесть. И есть громкие современной славой города, которым только десятки лет, но которые в праздничных перечнях норовят выступить вперед за счет своей индустриальной мощи и молодеческих, через каждые пять годов, юбилеев. Иркутск, мой родной город, по этим мерам в среднем возрасте: три и четверть века прошло, как в 1661 году енисейским сыном боярским Яковом Похабовым был срублен на Ангаре «против Иркут-реки на Верхоленской стороне государев новый острог». И, как я представляю себе: немало пострадавший в новейшие времена от скорых и неумелых пластических операций, от горячей бездумной силы по части сносов и перестроек, Иркутск, однако же, сумел покуда сохранить свое лицо, не в пример другому сибирскому городу Омску, который его полностью потерял, или Новосибирску, который его никогда не имел. Больше того — Иркутску повезло остаться даже с именем своим, а были, говорят, и к тому

намерения, чтоб сменить, назвать не по реке, имеющей обыкновение устраивать потопаы для нижней части города, а каким-нибудь самовыражающимся или самогорящим именем. Отнесло, и стоит теперь Иркутск, умудренный историей и жизнью, спокойно и мудро, зная силу себе и цену; в меру знаменитый и прежней славой и новой, в меру скромный, в меру культурный, умудряющийся сохранять свою культуру и в наши дни; традиционно гостеприимный, немало опустившийся в пригляде за собой, но прекрасно сознающий, что верно, опустился — стоит Иркутск, наделенный долгой и взыскательной памятью камня своего и дерева, с любовью и немалым удивлением взирающий на дела нынешних своих граждан, которые составляют 600-тысячное население, по-родительски оберегающий их от зноя и холода, дающий им жизнь, приют, воспитание, работу, родину и вечность.

Есть особенный час, в который легко отзывается Иркутск на чувство к нему. Приходится этот час на раннюю пору летнего рассвета, когда еще не взошло солнце и не растопило, не смыло горячей волной настоявшиеся за ночь, взятые из недр своих, запахи, пока не разнесли их торопливые прохожие, а редкую и недолгую тишину не погубил машинный гуд. Лучше всего очутиться в такую пору в старом Иркутске, в одном из тех его уголков, где не столько в ветхости и разоре, сколько в службе пока и красоте сохранились одной общиной деревянные дома. И стоит лишь вступить в их порядок, стоит сделать первые шаги по низкой и теплой теплом собственной жизни улице, как очень скоро теряешь ощущение времени и оказываешься в удивительном и сказочном мире, из той знаменитой сказки, когда волшебная сила на сто лет заговорила и усыпила, оставив в неприкосновенности, все вокруг. И уже не слышишь полусонного и размеренного женского голоса, объявляющего из-за Ангары о прибытии и отправлении поездов, не видишь возникающих иногда перед глазами, как огромные неряшливые за-

платы новых каменных зданий, не замечаешь сегодняшних примет — ты там, в этом мире столетней давности.

Именно столетней. Летом 1879 года пробушевал здесь самый, пожалуй, жестокий из всех иркутских пожаров, уничтоживший большую часть города. «К утру 25 июня 75 кварталов лучшей и благоустроенной части города представляли собой выжженную пустыню с обгоревшими и задымленными остовами каменных домов, труб, печей, над которой носился едкий, удушливый дым» (Свидетельство летописца Н. С. Романова). Но если на центральных улицах разрешено было после того только каменное строительство, здесь на месте дерева снова легло в стены дерево. Иркутскому жителю было не привыкать — Иркутск горел многожды, и всякий раз снова и снова поднимался из пепла еще богаче, красивей и просторней, снова и снова горожанин клал стены, чаще всего по своим собственным наметкам и чертежам, подводил крышу, стеклил окна, въезжал в новый дом и принимался его украшать.

Нет, не просто построить, чтобы тепло и удобно было жить, но построить на удивление и загляденье, точно картинку, точно терем волшебный, в котором, быть может, настанет и волшебное житье, — вот что считалось важным и, как теперь говорят, престижным. Дух соперничества в новшествах и красоте никогда не оставлял сибиряка и подвигал его прежде на многие замечательные дела. В этом искусстве если и был кто равен сибиряку по всей огромной России, так разве лишь мужик с его прародины — с Архангельщины, Вологодчины, Великого Устюга и Новгородчины, откуда и вынесли первые насельники Сибири свое ремесло. Вынесли и развили до удивительного совершенства и бесконечно причудливой, наваянной поной жизнью и новыми просторами, фантазии, привили везде и всюду — в городе и деревне, среди богатых и бедных, у охотников, пахарей и мастеровых. Только полностью нищий карманом или духом человек, поставив

жилье, не украшал, не узорил, не расписывал его, не колдовал над ним, и уж одно это оставалось печатью его нищеты и безысходности на всю жизнь. Такая избушка, как теперь хорошо заметно, прежде и старилась, заваливалась, уткнувшись окошком в землю; горестно и неловко смотреть на нее, бедолагу, состоящими рядом еще крепко, бодро и форсисто, разукрашенными резьбой домами. Созданные на радость людям, до сих пор, несмотря на полный свой век, они эту радость и приносят. Даже самый невеликий из них, с самой незатейливой отделкой, и ту уже немало потерявший, сохраняет все же привлекательность, достоинство и навеки оставшуюся в нем благородную душу мастера,

Ныне мы довольно легко и безжалостно обращаемся с душой мастера, то окуная ее в огнедышащий ковш с расплавленной сталью, то замуровывая в тело огромной плиты — путая ее нередко с элементарной человеческой добросовестностью. Душа, даже в самом примитивном ее понимании и рабочем приложении, это то, что выходит все-таки из обыденности и общности ремесла, что воспаряет над ними особенной вышней любовью к человеку и всему прекрасному, живущему в нем и могущему в нем быть, что заполняет великие пустоты между реальностью и мечтой и делает реальность осмысленной добром и красотой. Душа не служит, она царит; она берет порою тяжелые подати, выводя человека из ряда обыкновенных, живущих хлебом единым и не желающих знать иных, но она же затем выводит его из ряда обыкновенных смертных, без вести погребенных под тяжелыми пластами времени.

И что, как не душа мастера, колдовавшего над домом, возле которого ты в удивлении остановился, коснулась в гордости тебя и растревожила, укорила слабую твою душу, не знавшую праздничных взлетов, или нашла отзыв и восхищение в родственной и чуткой твоей душе, запывшей и затосковавшей по столь же славному делу?

Долгими неделями и месяцами выпиливал, вытачивал, вырезал, подгонял мастер свою кружевную затею. По трафаретам стали работать позже, когда ставили богатые доходные дома и трудились артелью, признанный же и уважающий себя художник по дереву творил, не ведая ограничительных рамок. Фантазия иной раз увлекала его в такие дебри и выси, что из них нет, казалось, выхода, чтобы не нарушить пропорции и чувство и не испортить начин, но он чудом находил его и из неведомых, порою языческих далей доставлял желанную жар-птицу, которая волшебным опереньем вспыхивала на фронтонах, карнизах и наличниках дверей и окон, на кронштейнах и пилястрах — на каждой малости: смотрите, люди, и радуйтесь.

«Я был во многих городах и столицах разных стран и могу сказать, что такой деревянной архитектуры, такой изумительной резьбы, как в Иркутске, нет ни в одном уголке мира», — отозвался о нашем городе художник Илья Глазунов, известный знаток и защитник русской старины, имея ввиду в первую очередь барочную резьбу, которой выделяется Иркутск из всех без исключения городов.

Барочной, или «гладкой» резьбы нет даже в Томске, хотя Томск благодаря относительной приближенности своей к первопрестольной издавна оспаривал у Иркутска славу лучшего и просвещенного из всех сибирских городов и не без успеха до революции претендовали на сибирскую столичность. И хотя А. П. Чехов по пути на Сахалин отозвался о Томске, что это «скучнейший город», а об Иркутске: «Иркутск превосходный город. Совсем интеллигентный», — надо полагать, по отношению к Томску это и тогда не совсем было верно. Что же до интересующей нас сейчас старины и, главное, заботе о ней — сравнение будет явно не в пользу Иркутска, особенно по части деревянных памятников. Иркутск свою старину лишь донашивает и славен ею лишь постольку, поскольку она

не успела еще везде потерять свою ценность и вид, Томск же свою хранит и в последнее время прямо-таки лелеет, восстанавливая силами производственной реставрационной мастерской каждый достойный внимания дом, не говоря уж о неоправданном сносе.

Дерево недолговечно, и самые древние постройки в Иркутске, конечно, не из дерева. Не сохранились, к сожалению, и деревянные усадьбы XVIII века. У иркутян на памяти еще борьба за «горбатый дом», образец постройки XVIII века, стоявший на ул. 5-й Армии, борьба, окончившаяся не в пользу общественности, когда среди ночи дом воровски снесли. Такая же участь постигла и многие другие памятники деревянной архитектуры наших предков. Восстановленные дома декабристов Трубецкого и Волконского — ничтожная часть того, что могло быть сделано и что не в состоянии восполнить потерь.

«Архитектура — тоже летопись мира: она говорит тогда, когда уже молчат и песни, и предания и когда уже ничто не говорит о погибшем народе. Пусть же она, хоть отрывками, является среди наших городов в таком виде, в каком она была при отжившем уже народе. Чтобы при взгляде на нее осенила нас мысль о минувшей его жизни и погрузила бы нас в его быт, в его привычки и степень понимания и вызвала бы у нас благодарность за его существование, бывшего ступенью нашего собственного возвышения» (Н. Гоголь).

Дерево имеет редкую способность продлевать нашу память до таких глубин и событий, свидетелями которых мы не могли быть. Лучше сказать — это способность передавать нам память наших предков. Камень более недвижим и холоден; дерево податливо и ответно чувству. В деревянных кварталах, где-нибудь среди бывших Красноармейских, а до того — Солдатских улиц не так уж и трудно представить себе старый Иркутск, предположим, 30—40-х годов XVIII века, когда город разросся и вышел за стены острога.

Через Иркутск шла оживленная торговля с Китаем, он стал к тому времени крупным административным центром огромной провинции, главным перевалочным и товаро-распределительным пунктом всей восточной и северной Сибири. В остроге, замкнутом крепостными стенами, творилась лишь административная власть, вся же основная жизнь давно перешла в посад, где располагались и купеческие лавки, и базары, и кабаки, пышным цветом расцветшие к той поре в Иркутске, и различные службы, и мастерские ремесленников, и где «гуляло» около тысячи (в тридцатых годах) обывательских домишек, которые ставились без всякого плана застройки, кто где хотел и кто во что был горазд, так что улицы представляли собой извилистое и диковинное кружение, и вправду напоминающее гуляние. Город, вышедший из крепости, в свою очередь, обнесен был палисадом, деревянной стеной, протянутой от Ангары до Ушаковки на месте нынешней улицы К. Маркса. За палисадом, как и положено в древности, рядом с вырытым рвом стояли рогатки, а уж за ним третьим городским поясом выросла Солдатская слобода. Отсюда и Солдатские улицы, переименованные впоследствии, чтоб не оставить бывших охранников города без революционного внимания, в Красноармейские.

Разумеется, другие стояли тогда здесь домишки, другая была планировка — все другое, но и глаз закрывать не надо, чтобы представить себе Иркутск того времени в такой яви и близости, что видишь, кажется, изломанную и кривую грязную улочку, величавую поступь по ней бордатоного красноглазого купца, направляющегося куда-то в сторону царствующих над городом куполов Спасской церкви и Богоявленского собора и по дороге недовольно хрюкнувшего на возящихся в грязи ребятишек, слышишь голоса лениво переругивающихся из-за высоких заборов от скуки баб, ржание лошадей и скрип телег проходящего через Заморские ворота к Байкалу обоза. Добрых тридцать лет еще до Московской столбовой дороги, вдохнув-

шей в Иркутск новую жизнь, и больше века до третьего и главного кита, который вслед за торговлей и пушпиной стал основанием расцвета города, — до золотой лихорадки. Иркутск еще сонеп, темен и грязен, его главную жизнь составляет борьба духовенства и купечества с чиновничеством, с его разбойничьими даже по тем временам поборами и несправедливостью. Да ведь и то сказать: окраина — самая глухая, откуда «до бога высоко, до царя далеко». По этой поговорке действовали и воеводы, и вице-губернаторы, а затем и генерал-губернаторы вместе со всем своим многочисленным окружением, которые, кроме скорого собственного обогащения, не знали здесь другой заботы. Не зря же первый сибирский губернатор князь Гагарин был казнен в Петербурге «за неслыханное воровство», почти одновременно с ним взошел на плаху при Петре по той же самой причине иркутский воевода Ракитин, не брезговавший разбоем, чуть позднее такая же участь постигла и первого иркутского вице-губернатора Жолобова, который «пытал безвинно и при пытках жег огнем». Строгости, однако, помогали мало.

Инструкцией, которая давалась в первое время воеводам и которая гласила: «Делать по тамошнему делу и по своему высмотру, как пригоже и как бог вразумит», пользовались затем все, за малым исключением, власти, как бы они ни назывались. Одному, вице-губернатору Плещееву, «пригоже» было приказать всякий раз при своем выезде палить из пушек, чтобы досадить архиерею, которому звонили; другого, губернатора Немцова, «бог вразумил» пригласить за город гостей и натравить на них знаменитого разбойника Гондюхина, не постеснявшегося донага раздеть благородное общество, к величайшей потехе губернатора; третий, следователь Крылов, приехавший в Иркутск пресекать беззакония, «по своему высмотру» обобрал местных купцов более чем на 150 тысяч рублей, посадил под арест чем-то не приглянувшегося ему самого вице-губернатора Вульфа и разъезжал по городу, наводя

жуткий страх на жителей и опять-таки «по своему же высмотру» указывая на понравившихся ему купеческих дочек и мещанок, которых следовало незамедлительно доставлять Крылову на дом. Это были «гибельные», по слову летописца, времена. Неудивительно, что иркутяне, вспомнив о благополучном, казавшемся им счастливым, правлении в конце XVII века малолетнего сына Полтева (Полтев назначен был воеводой, но, не доехав до Иркутска, скончался, и тогда казаки определили в воеводы его сына), попытались сорок лет спустя, устав от поборов и самодурства Жолобова, снова применить ту же практику, когда Сытин, приехавший заменить ненавистного им вице-губернатора, тут же умер «от огорчений», причиненных ему Жолобовым. Сыну Сытина было пять лет; в этом возрасте даже и в роли правителя нельзя еще творить беззакония, хотя невозможно с ними и бороться, но для города и то казалось великим благом. Дело, однако, сорвалось, и оставшийся до поры, до времени на своем месте Жолобов с новой силой принялся за расправу, ежедневно ставя «на правей» (кнуты, палки, пытки) тех, кто замыслил его замену.

«Все, что о здешних делах говорили в Петербурге, не только есть истина, но — и это бывает редко — истина неувеличенная», — доносил позднее в столицу приехавший в Иркутск с огромными полномочиями граф М. М. Сперанский.

Иркутская история знает и трагические, и смешные, забавные истории, которые заманчиво и полезно листать как в летописях, так и в памяти, бродя по старым деревянным улицам, легко воскрешающим пытливому уму былую суровую жизнь.

Выправлением вольной городской планировки, кстати вспомнить, ретиво занялся в начале XIX века при генерал-губернаторе Пестеле, который умудрялся править нашим обширным краем из Петербурга, его наместник вице-губернатор Трескин, прославившийся отчаянной борьбой

с богатым иркутским купечеством. Трескин, не боясь жалоб, которые перехватывал в столице Пестель, мало в чем ведал сомнения, а в деле выпрямления улиц в особенности. По его указанию набрана была из арестантов местной тюрьмы бригада во главе с Гущей, оставшаяся в летописях нашего города под названием «гущинской команды». Вот как свидетельствует об этом в «Записках иркутского жителя» писатель И. Т. Калашников:

«Спору нет, что благоприличие — вещь хорошая, но только уж слишком нецеремонно поступали с домами, стоящими не по плану. Согласие домовладельцев тут было дело излишнее. Бывало, явится гущинская команда — и дом поминай как звали. Если же не весь дом стоял не по плану, а только какая-нибудь особенно смелая часть его вылезала вперед, то без церемонии отпилят от него сколько нужно по линии улицы, а там и поправляй его как умеешь».

Поднаторев на уличном переустройстве и войдя во вкус, Трескин взялся затем выправлять и устье Иркут, заявив, что река имеет «неправильное течение», но Иркут, в отличие от Иркутска, не поддался Трескину и, несмотря на все усилия губернатора, остался при собственном течении.

Что и говорить! — правители случались разные; как никакому другому городу в Сибири и закрепленному за ним краю пришлось настрадаться Иркутску от власти всевозможных временщиков, от их лихоимства и самоуправства, и все же он продолжал расти, хорошеть и богатеть, существуя как бы по своим собственным законам, умея и охранять, и возвышать себя, и с достоинством переносить потери на протяжении всей своей истории.

* * *

Первое городское каменное строение, к сожалению, не дожило до наших дней. Это была поставленная в

1704 году на территории острога по берегу Ангары воеводская канцелярия, или приказная изба, где творилась власть. В прошлом веке, когда стали укреплять берег, чтобы сохранить место колыбели Иркутска, канцелярию пришлось снести. Зато на диво и на счастье, самым загадочным и чудесным образом выстояв жестокие времена ломки и сносов, сохранились Спасская церковь и Богоявленский собор — самые древние и наиболее интересные по архитектуре здания во всей Восточной Сибири.

Потому, впрочем, и интересные, что древние. Потому и дороги они так сердцу иркутян, что вѣщей и нетленной, доступной каждому памятью доносят нам время, дух и искусство наших предков, которые имеют в этих стенах живое и конкретное выражение и которые вернее всяких философий говорят об устремленности и вере человека в свою вечность. До тех пор жив человек, покуда держится дело рук и духа его. Не худо бы это помнить тем, кто, собираясь накоротко отбыть свою земную долю, неразумно оставляет тем не менее после себя из весьма прочного материала, из камня и слова, памятники своей скудости, неразборчивости и общинной суетности — время, как известно, из неумения лжесвидетельствовать, может быть не только благодарной, но и мстительной памятью.

Спасская церковь дорога нам изначально прежде всего тем, что это единственное оставшееся от Иркутского острога строение, поставленное всего пятьдесят лет спустя после рождения Иркутска. По ней мы определяем теперь границы острога (она была встроена в крепостную стену, обращенную к нынешней площади им. Кирова), можем представить себе соборную площадь (на месте Вечного огня), где оглашались царские и воеводские указы, творились расправы, собирались горожане как на праздники, так и во дни великих и трагических российских событий. Церковь была заложена в 1706 году и через четыре года закончена. Не нужно быть специалистом, чтобы увидеть в ней допетровскую еще, древнерусскую

архитектуру как в основных формах, так и в оформлении. В новом, во многом заемном архитектурном стиле возводится в это время Петербург, сменила свой градостроительский почерк Москва, но Иркутск далеко, Иркутск свои первые каменные творения ставит еще по старинке, в родном, так чудно воспарившем после татар национальном духе. Однако в заложенном всего через восемь лет после Спасской церкви Богоявленском соборе есть уже изменения в пользу нового стиля и хорошо заметны черты раннего барокко в декоре фасадов, которые, в отличие от Спасской церкви, расписаны пышно и полностью. Изменения видны, но весь храм, как ансамбль, как единое целое, представляет собою причудливое сочетание старого и нового стилей, когда мастер-установщик, можно предположить, и зная прекрасно, как принято строить, с удовольствием сбивался на то, как было ему строить и что больше отвечало его вкусу. Богоявленский собор, опять-таки в отличие от Спасской церкви, ставился сразу с колокольной и приделом, и шатровое навершие над колокольной — элемент, конечно, древнерусского, деревянного еще зодчества, который в каменных постройках, особенно за Уралом, встречается очень редко. И уж совсем в дальние дали уходят своими корнями и фантазией фигурки на неожиданных само по себе, счастливо обнаруженных при реставрации собора, керамических вставках, «изразцах», которыми был украшен храм, — все эти круги, лепестки, ведомые и неведомые нам звери и птицы, застывшие на стенах из старинных легенд и сказок.

Вообще же, говоря о смене архитектурных стилей, нужно иметь в виду, что в наших краях из-за отдаленности своей и влияния местных мотивов это в особенности не имело определенных границ и твердых законов, и взаимопроникновение, взаимосвязь и взаимосогласие разных направлений будут наблюдаться еще долго и в деревянном и в каменном зодчестве. Возведенная значитель-

но позднее Богоявленского собора Знаменская церковь (1762) также совмещает в себе элементы барокко и древнерусского декора. Крестовоздвиженскую церковь по дивному своему, совершенно исключительному «узорочью» и причудливому использованию экзотики восточного орнамента, взятого, очевидно, от буддийских храмов, можно отнести к сибирскому барокко. Законы принятого в центрах градостроительства, добравшись за тысячи верст до Иркутска и подышав местным воздухом, сплошь и рядом соскальзывали со своих уставных колодок на грешную сибирскую землю — поэтому зданий, построенных в чистом том или ином стиле, здесь очень немного.

«Древность Иркутска достопочтенна, — писал побывавший в нашем городе в 1824 году Алексей Мартос, один из образованнейших людей своего времени, сын скульптора, поставившего на Красной площади в Москве памятник Минину и Пожарскому. — Ее можно унудобить той эпохе человеческой жизни, которая, упрочив счастье потомков, может требовать уважение и внимание чад своих».

Удивительно верно и надолго умели высказываться люди прошлого, даже и путешествующие, по смотревшие на лик преображаемой земли и на дела рук человеческих не с точки зрения утилитарной и сиюминутной, а с позиций думающей о своем благоденствии нации.

И, перечисляя поразившие его в Иркутске памятники старины, Мартос в первую очередь называет Богоявленский собор и Спасскую церковь.

Со времени постройки эти первые наши храмы претерпели немалые изменения, вполне естественные в их долгой и трудной судьбе, но не всегда, однако, удачные. Во второй половине XVIII века к Спасской церкви пристраивают колокольню (1762) и придел (1778) и расписывают фасады, но если собственно церковь как должное и необходимое и лишь заноздавшее приняла в свой ансамбль колокольню, то двухэтажный каменный придел с

северной стороны утяжелил ее и присадил на один край, нарушив тем самым симметрию и исказив легкий, как бы висящий, парящий над Ангарой вид благословляющего и взыскающего храма.

Особенно не повезло Богоявленскому собору. Знаменитое шатровое навершие над его колокольной продержалось лишь до 1742 года, когда в Иркутске случилось сильное землетрясение, после которого упавший шатер уже не подняли. В 1861 году новое землетрясение, и снова вместо того чтобы восстановить здание в его первоначальном виде, пострадавшую трапезную разобрали до основания, возведя примитивные, не имеющие ничего общего с архитектурой здания, стены, а заодно, не посчитавшись с их древностью, замуровали и изразцы. Наступили другие времена, предвестники еще более смутных, другое восходило и отношение к старине, оставившее за спиною чуткость и благоговейное внимание к ней, до того всегда присутствовавшие в русском народе.

Сейчас Иркутск может гордиться тем, что из запустения и едва ли не из небытия Спасская церковь и Богоявленский собор полностью восстановлены — вот почему и можно говорить о их возрождении как о чуде, сравнимом лишь с чудом восстания из пепла. И когда приходишь сегодня на берег Ангары к месту, «откуда есть пошел» Иркутск, и видишь сияющий золотом купол Спасской церкви и роспись на северном и восточном ее фасадах, когда видишь поднявшееся, как два с половиной века назад, в прежнем виде шатровое возглавие над колокольной Богоявленского собора и радостно, празднично играющие, словно отсвечивающие загадочную жизнь ангарской воды, вставки изразцов, — просторно и светло поднимается в душе чувство конечной справедливости всего сущего вместе с чувством долгими скитаниями добытой усыновленности.

На строительство первых каменных зданий, особен-

но культовых, поначалу приглашались артели со стороны — с Урала и даже из России (Россией, «Расеей» до самого последнего времени сибиряки называли зауральскую к западу сторону). Но это продолжалось недолго. Уже к середине XVIII века Иркутск на добрую треть стал городом ремесленников, работающих по дереву, по камню и драгоценным металлам. Слава о его мастерах к концу века разошлась по всей Сибири, теперь уже другие города шли на поклон к иркутским каменщикам, живописцам при оформлении храмов и литейщикам, которые выплавляли высокого звучания и высоких художественных качеств колокола. Летопись сохранила имя Алексея Унжанова (не из бурят ли?), отлившего 24 сентября 1797 года знаменитый в памяти старых иркутян «Большой колокол в 761 пуд», который на специально сделанных из толстых брусьев саях при колокольном звоне всех церквей тянул на веревках к собору едва ли не весь город. Любопытно, что спустя менее ста лет, когда понадобился колокол для кафедрального собора (теперь можно указать лишь место, где он стоял, — на нынешней площади им. Кирова), снова пришлось приглашать для отливки его мастера со стороны, аж из Ярославля. Зато для устройства иконостаса в новом соборе перед преосвященными встала другая проблема: кого из многочисленных иркутских мастеров выбрать, чтоб не обидеть других. После долгих размышлений и совещаний позван был молодой еще человек Н. Поцов, который, по общему мнению, прекрасно справился со своей работой.

В вышедшей несколько лет назад книге академика А. П. Окладникова и Р. С. Василевского «По Аляске и Алеутским островам», рассказывающей о совместной советско-американской археологической экспедиции в этих районах, приятно было встретить лестное упоминание о старых иркутских мастерах. В русской церкви села Никольского на Аляске внимание авторов книги

привлекла икона Николая Чудотворца, «одетая в серебряную ризу, превосходный образец стиля барокко. И, что наиболее важно, риза была датирована 1794 годом — временем расцвета деятельности Российско-Американской компании, главная роль в которой принадлежала иркутским купцам, в том числе самому Григорию Шелихову. Точь-в-точь такие ризы ковали в старом Иркутске тамошние искусные мастера серебряного дела. Их ювелирной работы изделия были известны далеко за пределами города».

Разумеется, не одни только церковные художества и ремесла были развиты в Иркутске.

Особо хочется сказать о кафедральном соборе, не дожившем до наших дней. Сличая теперь его снимки с фотографиями храма Христа Спасителя в Москве, легко увидеть, что иркутский собор возводился по образу и подобию московского, архитектором которого был знаменитый К. А. Тон. Строительство храма Христа Спасителя продолжалось с 30-х по 80-е годы — это было время возрождения и расцвета русского национального духа как в искусстве, так и в общественной мысли, время жестоких разочарований в существующем образе жизни и глубоких надежд на особую роль и «мессианство» России, время реформ и обнадеживающей свободы, особенно в последний период. В архитектуре оно также вызвало «русский» стиль, одним из родоначальников которого и стал К. А. Тон, возвратившийся на новой основе и новом опыте к истокам допетровской архитектуры.

Старый иркутянин, патриот своего города профессор С. В. Шостакович в конце 60-х годов писал в местной газете:

«Кое-кто и сейчас еще полагает, что этот «новый собор», не представлявший-де особой художественной ценности, и не следовало сохранять. Но это глубокое заблуждение. Вместе со Спасской церковью, старым собором Богоявления, польским костелом, домовою церковью

и рядом старинных зданий он великолепно вписывался в замечательный архитектурный ансамбль, составляя неотъемлемую его часть. Здесь, на крутом берегу Ангары, откуда изумительно просматривалась широкая речная долина, сохранился, несмотря на иркутские пожары, удивительный уголок старой сибирской столицы — своего рода иркутский кремль».

Народ наш (и это не досужая выдумка автора) с обостренным вниманием следит за судьбами тех, кто в свое время, хоть и в качестве исполнителей, повинен был в уничтожении и забвении памятников старины, и всякое неблагополучие в их жизни готов принимать за законное возмездие. Даже при понятном преувеличении и желании выдать за действительное то, чего нет, стоит тем не менее помнить об этом стихийно и невольно живущем требовательном ожидании; люди хотят верить, что безнаказанности не существует.

* * *

Иркутск издавна считался купеческим городом. Мы привыкли видеть в этом понятии один лишь смысл, означающий тяжелое и малоподвижное общественное и нравственное существование, и забываем или не знаем о деятельности купечества в культурном и научном строительстве родного края. Деятельность эта сводилась в основном к денежным пожертвованиям, но и то куда как не худо: с каждого свое; нельзя требовать от господ Сибиряковых и Кузнецовых, чтобы они были Потаниными и Ядринцевыми (А. М. Сибиряков был, кстати, и писателем, и ученым), а то, что они помогали Потаниным и Ядринцевым, заслуживает и от нас непредвзятой памяти. Сибирское купечество вообще достойно серьезного исследования, в котором должно бы отдать ему справедливость как в делах собственного обогащения, так и в делах, служивших пользе своей далекой и огромной, во

всех отношениях забытой богом окраины. Разумеется, и здесь сплошь и рядом встречались типы, подобные персонажам из пьес Островского; разумеется, сказочные богатства невозможны были без грубой и печистой практики своего ремесла — идеализировать и выделять, подыскивать для сибирского купца особый пьедестал никто не собирается. «Господствуя и в думе, и в магистрате, богатое и сильное иркутское купечество в конце XVIII и в начале XIX столетия заправляло всеми общественными и городскими делами, и заправляло исключительно в своих интересах,— пишет в очерке «Иркутск» долголетний его городской голова В. П. Сукачев, который и сам принадлежал к этому сословию.— Дело дошло до того,— возмущается он,— что право торговать мясом в Иркутске в 1810 году предоставлено было только трем купцам: Ланину, Попову и Кузнецову».

Но как сибиряк по психологии своей отличался от жителя коренной России, так и сибирский купец разнился от тамошнего — в силу хотя бы местных условий. Иркутские купцы Шелихов, которого Державин назвал «Колумбом русским», и Баранов были в конце XVIII века первооткрывателями и основателями Русской Америки, осуществлявшими над Аляской и Алеутскими островами не только торговое, но и политическое господство. Управление Российско-Американской компании от начала и до конца находилось в Иркутске. Экспедиции иркутского генерал-губернатора графа Муравьева в пятидесятых годах XIX века, результатом которых было присоединение к России Амура, финансировались в основном местными золотопромышленниками. Многочисленные в прошлом научные экспедиции на Крайний Север и Восток, в Монголию, Китай и Японию также не обходились без помощи иркутских богачей — отсюда, из Иркутска, где с 1851 года деятельно работал Сибирский (затем Восточно-Сибирский) отдел Географического об-

щества, в сущности, направлялось все исследование обширных и малоизученных восточных областей.

Можно припомнить еще, что иркутские купцы, находясь в постоянной почти вражде к правительственному чиновному аппарату, знали и с декабристами, и со ссыльными поляками, открыто водили с ними дружбу и отдавали им своих детей в обучение, почитая это честью не для опальных, а для себя. Многие из тех, кого мы называем толстосумами, были людьми широко и разносторонне образованными, они выписывали из Москвы и Петербурга лучшие журналы и книги не только для себя, но и для устройства публичных библиотек. Сибиряковы из поколения в поколение вели летопись Иркутска; В. Н. Баснин знаменит был в городе, кроме богатства своего, собраниями книг, гравюр, музыкальными вечерами, на которые приглашались столичные артисты, и оранжереей диковинных цветов и плодов; в картинную галерею В. П. Сукачева, ставшую позднее основанием Иркутского художественного музея, вход для школьников был бесплатным, а сборы со взрослых шли в пользу городских общедоступных курсов. Можно бы назвать все это блажью с жиру бесящихся и выставляющихся друг перед другом богачей, когда бы не было от нее столько пользы и когда бы не создавала она той особой и не заштатной обстановки, которая и выделяла Иркутск из всех без исключения сибирских городов. Культурность его и интеллигентность были общепризнанны, средние и слабые театральные труппы не решались ехать на гастроли в Иркутск, боясь местного зрителя; вольнодумность горожан поражала и пугала высоких инспектирующих чиновников и удивляла проезжих знаменитостей, оставивших об этом многочисленные свідетельства. Конечно, прежде всего в этом сказывалось то, что Иркутск был местом ссылки, а ссыльные и здесь отнюдь не отсиживались по углам, работая в училищах и школах, научных и технических обществах, в канце-

лярии генерал-губернатора и в газетах, имея тем самым возможность влиять на общественные вкусы и общественное мнение. В свое время декабрист Завалишин объявил настоящую войну Муравьеву-Амурскому, обличая того в творимых на Амуре и Забайкалье несправедливостях, так что прославленному генерал-губернатору пришлось переправлять декабриста из одной ссылки в другую, из Забайкалья в Казань. В первых печатных изданиях — в газетах «Иркутские ведомости» и «Амур» заправляли знаменитый Петрашевский и его единомышленники Львов, Загоскин и Шашков. Политический ссыльный И. И. Попов долгие годы редактировал выходившие в Иркутске газету «Восточное обозрение» и журнал «Сибирский сборник», которые основал и до того выпускал в Петербурге Н. М. Ядринцев. В своей книге «Минувшее и пережитое» Попов вспоминает:

«Я уже говорил, что ген.-губернатор А. Д. Горемыкин пенял Громову, что у него работают только государственные преступники, а Громов (из известных сибирских купцов.— *В. Р.*) ответил, что ему нет дела до убеждений политиков: ссыльные великоленные работники и честные люди, с которыми он не может расстаться, потому что пострадает дело. А дело было огромное: на всю Россию и за границу поставка мехов и торговля в Якутской области. Контора Громовых, как и редакция «Вост. Обозрения» или Иркутский музей Географического общества, были своего рода явочной квартирой, где можно было навести всевозможные справки о «политиках».

Что до купечества — служение и богу и мамоне неплохо совмещалось здесь, как нигде: ворочая нередко огромными капиталами, сибирский промышленник мог позволить себе без особого ущерба для кармана отвалить круглую сумму и во благо родному краю и родному городу. Большинство — и это не преувеличение, именно большинство — действовавших в прежнее время в Иркутске церквей, больниц, приютов, ремесленных и

общеобразовательных училищ, в том числе для сирот, арестантских детей и переселенцев, большинство гимназий и библиотек построено было и содержалось на частные пожертвования. «Если все эти учреждения и капиталы сопоставить с числом жителей в Иркутске, придется признать, что в отношении благотворительных средств Иркутск стоит среди русских городов чуть ли не на первом месте», — писал Сукачев, имея в виду 80—90-е годы прошлого столетия. Если в Петербурге в это время один учащийся в начальных школах приходился на 80 жителей, в Москве — на 75, то в Иркутске только на 29 жителей. Разница, как видите, немалая.

Нам вольно теперь думать о подобной филантропии все что угодно. И все-таки не одной, очевидно, заботой о спасении своей грешной души, что само по себе тоже неплохо, и не только духом соперничества между собой, надо полагать, вызвана была столь широкая благотворительность, плодами которой мы невольно продолжаем пользоваться до сих пор, — я имею в виду не эксплуатацию зданий, построенных в благотворительных целях и продолжающих оставаться самыми заметными в Иркутске, а прежде всего плоды культурные и духовные, позволяющие славой и трудами старших поколений считаться и посейчас нашему городу в ряду самых образованных и интеллигентных.

Долгое время бывший самой далекой окраиной из всех губернских центров, Иркутск, однако же, с самого начала встал так выгодно и удобно, что его не могли миновать ни водные, ни сухопутные, ни воздушные пути, ни торговые и промышленные лихорадки, ни политическая и реформаторская деятельность, ни дворцовые перевороты и революционные бури. Где бы ни происходило что — аukaлось в Иркутске, в который или через который слали на каторгу и в ссылку потерпевших. Воистину это была подневольная Мекка; кого только не выдывал на своем веку Иркутск, чьи имена навсегда ос-

тались в нашей истории,— и несчастных стрельцов в начале царствования Петра, и его любимца Ганнибала, гонимого другим любимцем — Меншиковым, который вскоре и сам последовал в Сибирь, и малолетнюю дочь казенного при Анне Иоанновне Волюнского, по имени тоже Анна, втайне содержащуюся в Знаменском монастыре, но при Елизавете Петровне высоко вознесенную при дворе, и многочисленных авантюристов разного толка, испытывавших прочность власти и казны. Иркутск не миновали в своей громкой судьбе ни знаменитый анархист Бакунин, приходившийся, кстати, родственником Муравьеву-Амурскому, ни Радищев, ни Чернышевский, освобождать которого из вилуйской ссылки в Иркутск наведывались Герман Лопатин, один из переводчиков на русский язык «Капитала», и пародник И. Н. Мышкин, ни петрашевцы во главе с самим руководителем этого тайного общества, ни революционные демократы М. И. Михайлов и Н. А. Серно-Соловьевич. Декабристы и ссыльные поляки оказали огромное влияние на наш город в его общественном и нравственном развитии, словно не они, считавшиеся преступниками, а местное общество отдано было им на исправление и воспитание, вплоть до того, что декабристы преподавали в доме самого генерал-губернатора. Черский, Чекановский и Дыбовский из ссыльных поляков придали, как прежде выражались, блеск научной деятельности Географического общества, их имена навсегда остались на карте Байкала и Присаянья, изучению которых они отдали немало лет.

С. В. Максимов, автор знаменитого исследования «Сибирь и каторга», отмечал по этому поводу:

«При помощи и участии чужих людей среди сибиряков, именно прежде всего здесь, в Иркутске, появилась, стала возрастать и крепнуть та могущественная сила, которая называется общественным мнением, до той поры не существовавшим и не имевшим места в Сибири,

как в стране изумительного произвола ее начальников».

О силе общественного мнения в Иркутске в конце прошлого века говорит такой факт. Произошла эта история в 1883 году. К заключенному в местную тюрьму учителю К. Г. Неустроеву, обвиняемому в революционной пропаганде, зашел в камеру генерал-губернатор Анучин и, чем-то задетый, припался оскорблять учителя. Тот, не стерпев, дал генерал-губернатору пощечину, за что, в дополнение к прежним обвинениям, приговорен был к смертной казни. Несмотря на протесты, казнь состоялась, но столь жестокой и несправедливой расправы город Анучину не захотел простить. Генерал-губернатору, первому в крае лицу и всемогущему саповнику, буквально не давали ни пройти, ни проехать, в глаза называя убийцей, выписывая его фамилию рядом с этим словом на заборах и на домах, так что пришлось Анучину в конце концов подавать в отставку и отбывать из Иркутска.

Это был уже далеко не тот город и не те иркутяне, которые за сто лет до того, во времена прибывшего в Иркутск следователя Крылова, могли сносить от него любые поборы, издевательства и самодурство,— этот город обрел уже достоинство и честь, не позволявшие ему делать с собой что угодно.

В период последней перед революцией, самой массовой ссылки, когда ссыльные составляли в нашем краю треть (правда, весьма неустойчивую, наполовину находящуюся постоянно в бегах) населения, в Иркутске бывали и жили такие деятели революционного движения, как Красин, Бабушкин, Фрунзе, Свердлов, Киров, Орджоникидзе, Постышев, Сталин и другие. Стоит, пожалуй, привести еще одно свидетельство в пользу Иркутска — воспоминание о нашем городе известного украинского поэта-революционера П. А. Грабовского, который, побывав здесь все в том же качестве ссыльного, вздыхал в 1899 году из Тобольска:

«Прожил лето, как в раю, среди интеллигентных интересов и благосклонных людей... Ах, как хотелось бы мне еще хоть раз побывать в Иркутске, там я совершенно ожил душой... да вот беда — не пускают туда».

Генерал-губернаторами в Иркутске, нелишние напомнить, были столь прогрессивные деятели своего времени, как М. М. Сперанский и Н. Н. Муравьев-Амурский, оставившие по себе добрую славу и память в русской истории именно сибирской жизнью.

По своей доброй воле, что случалось прежде не так уж и часто, наш город навещали и оставили о нем теплые воспоминания писатели А. П. Чехов и И. А. Гончаров.

В 1920 году в Политотделе 5-й Армии тут работал Ярослав Гашек.

В Иркутске остались могилы Григория Шелихова, декабристов Муханова, Панова и Поджио, Екатерины Трубецкой с детьми, местных уроженцев и знаменитых деятелей русской дореволюционной мысли — А. П. Щапова, историка, писателя и этнографа, и публициста М. В. Загоскина.

Иркутску есть что помнить и достанет что передать потомкам из истории своей и старины, если мы, пришедшие теперь на смену многим поколениям, создававшим ему благородную славу, разумно и твердо, во имя памяти о себе, отнесемся к минувшему и сохраним то, что еще осталось. Как бы ни читали и ни прославляли мы наше время и общество, нельзя забывать, что они невозможны были без прошлого, без тех, кто трудами и подвижничеством, мученичеством и борьбой установил нас в жизни и дал родину, которой мы вправе гордиться. Пережитое не может быть темным — темно будущее, когда сдвинуто со своего места прошлое и когда настоящее, не имея твердого основания, требует подпорок.

Как в городе нашем достаточно места, чтобы, строя новое, не уничтожать старого, имеющего культурную и

нравственную ценности, так и в душах и сердцах наших хватит чувства на то и другое.

«Уважение к минувшему — вот черта, отличающая образованность от дикости», — сказал когда-то Пушкин. Подле этой черты мы, похоже, теперь и остановились, сознавая, что нельзя отступать назад, и не смея, но все приготавливаясь и приготавливаясь двинуться вперед, к подлинному уважению. И перед столь решительным и замедлившимся шагом не сказать ли нам в утешение и поддержку вместо привычной молитвы — Иркутск с нами.



БАЙКАЛ

Один из первых восхищенных отзывов о Байкале из русских людей оставил протопоп Аввакум. При возвращении из даурской ссылки «неистовому» протопопу пришлось летом 1662 года переправляться с восточного берега моря-озера на западный, и он пишет о Байкале:

«...Около ево горы высокие, утесы каменные и зело высоки,— двадцеть тысяч верст и больши волочился, а не видал таких нигде. Наверху их полатки и повалуши, врата и столпы, ограда каменная и дворы,— все богоделанно. Лук на них растет и чеснок,— больши романовского луковицы, и сладок зело. Там же растут и конопли богорасленные, а во дворах травы красныя и цветны и благовонны гораздо. Птиц зело много, гусей и лебедей по морю, яко снег, плавают. Рыба в нем — осетры, и таймени, стерледи, и омули, и сиги, и прочих родов много. Вода пресная, а нерпы и зайцы великия в нем: во окиане море большем, живучи на Мезени, таких не видал. А рыбы густо в нем: осетры и таймени жирни гораздо,— нельзя жарить на сковороде: жир все будет. А все то у Христа тово-света наделано для человека, чтоб, успокояся, хвалу богу воздавал».

«Святое море», «святое озеро», «святая вода» — так называли Байкал с незапамятных времен и коренные жители, и русские, пришедшие на его берега уже в XVII веке, и путешествующие иноземцы, преклоняясь пред его величественной, неземной тайной и красотой. Это поклонение Байкалу и диких людей, и людей для своего времени просвещенных было одинаково полным, захватывающим, несмотря на то, что у одних прежде всего затрагивало мистические чувства, а у других — эстетиче-

ские и научные. Человека всякий раз брала оторопь при виде Байкала, потому что он не вмещался ни в духовные, ни в материалистические представления человека: Байкал лежал не там, где что-то подобное могло бы находиться, был не тем, что могло бы в этом и любом другом месте быть, и действовал на душу не так, как действует обычно «равнодушная» природа. Это было нечто особое, необыкновенное и «богоделанное».

Со временем Байкал обмерили и изучили, применив для этого в последние годы даже и глубоководные аппараты. Он обрел определенные размеры и по ним стал сравним: его сравнивают то с Каспием, то с Танганьикой. Вычислили, что он вмещает в себя пятую часть всей пресной воды на нашей планете, объяснили его происхождение, предположили, как могли зародиться в нем нигде больше не существующие виды животных, рыб и растений и как сумели попасть в него виды, существующие за многие тысячи километров в других частях света. Не все эти объяснения и предположения согласуются даже и между собой, Байкал не столь прост, чтобы так легко можно было лишить его таинственности и загадочности, но тем не менее, как это и должно быть, по своим физическим данным он поставлен на соответствующее ему место в ряду величин описанных и открытых. И он стоит в этом ряду... потому лишь, что сам-то он, живой, величественный и нерукотворный, ни с чем не сравнимый и ни в чем нигде не повторимый, знает свое собственное извечное место и свою собственную жизнь.

Как и с чем, действительно, можно сравнить его красоту? Не станем уверять, что прекраснее Байкала нет ничего на свете: каждому из нас любя и мила своя сторона, и для эскимоса или алеута, как известно, его тундра и ледяная пустыня есть венец природного совершенства и богатства. Мы с рождения впитываем в себя воздух, соль и картины своей родины, они влияют на наш характер и в немалой степени организуют наш жизненный состав.

Поэтому недостаточно сказать, что опи дороги нам, мы — часть их, та часть, которая составлена естественной средой; в нас обязан говорить и говорит ее древний и вечный голос. Бессмысленно сравнивать, отдавая чему-либо предпочтение, льды Гренландии с песками Сахары, сибирскую тайгу со среднерусской степью, даже Каспий с Байкалом, можно лишь передать о них свои впечатления. Все это прекрасно своей красотой и удивительно своей жизнью. Чаще всего попытки сравнения в таких случаях происходят от нашего нежелания или неумения увидеть и почувствовать единственность и неслучайность картины, трепетного и тревожного ее существования.

И все-таки у Природы как целого, как единого творца есть свои любимцы, в которые она при строительстве вкладывает особенное старание, отделяет с особенным тщанием и наделяет особенной властью. Таков, вне всякого сомнения, и Байкал. Не зря его называют жемчужиной Сибири. Не будем сейчас говорить о его богатствах, это отдельный разговор. Байкал славен и свят другим — своей чудесной животворной силой, духом не былого, не прошедшего, как многое ныне, а настоящего, не подвластного времени и преобразованиям, исконного величия и заповедного могущества, духом самородной воли и притягательных испытаний.

Вспоминаю, как мы с товарищем моим, приехавшим ко мне в гости, долго шли и далеко ушли по берегу нашего моря по старой Кругобайкальской дороге, одной из самых красивых и ярких мест южного Байкала. Был август, лучшее, благодатное время на Байкале, когда нагревается вода и бушуют разноцветьем сопки, когда, кажется, даже камень цветет, полыхая красками; когда солнце до блеска высвечивает внове выпавший снег на дальних гольцах в Саянах, которые представляются глазу во много раз ближе, чем они есть в действительности; когда уже и впрок запаса Байкал водой из тающих ледников и лежит сыто, часто спокойно, набираясь сил для

осенних штормов; когда щедро играет подле берега под крики чаек рыба и когда на каждом шагу по дороге встречается то одна ягода, то другая — то малина, то смородина, красная и черная, то жимолость... А тут еще и день выдался редкостный: солнце, безветрие, тепло, воздух звенит, Байкал чист и застывшие тих, далеко в воде взблескивают и переливаются красками камни, на дорожку то пахнет нагретым и горчащим от поспевающего разнотравья воздухом с горы, то неосторожно донесет прохладным и резким дыханием с моря.

Товарищ мой уже часа через два был подавлен обрушившейся на него со всех сторон дикой и буйной, творящей пиршественное летнее торжество красотой, дотоле им не только не виданной, но даже и не представляемой. Повторю, что она была в самом расцвете и самом разгаре. Прибавьте к нарисованной картине еще горные речки, с шумом сбегające в Байкал, к которым мы раз за разом спускались испробовать водицы и посмотреть, с каким таинством и с какой самоотверженностью вливаются они в общую материнскую воду и затихают в вечности; прибавьте сюда еще частые топили, аккуратные и со вкусом отделанные, кажущиеся естественными, которых здесь ненамного меньше, чем километров по этой дороге, и над которыми то торжественно и строго, то причудливо, словно с только что окончившей игру вольностью, высятся скалы.

Все, что отпущено человеку для впечатлений, в товарище моем было очень скоро переполнено, и он, не в состоянии уже больше удивляться и восхищаться, замолчал. Я продолжал говорить. Я рассказывал, как, впервые попав в студенческие годы на Байкал, был обманут прозрачностью воды и пытался рукой достать с лодки камешек, до которого затем при замере оказалось больше четырех метров. Товарищ принял этот случай безучастно. Несколько уязвленный, я сообщил, что в Байкале удастся видеть и за сорок метров — и, кажется, прибавил, но он

и этого не заметил, точно в Москве-реке, мимо которой он ездит в машине, такое возможно сплошь и рядом. Только тогда я догадался, что с ним: скажи ему, что мы за двести—триста метров в глубину на двухкопеечной монете читаем в Байкале год чеканки,—больше, чем удивлен, он уже не удивится. Он был полон, как говорит-ся, с крышкой.

Помню, его доконала в тот день нерпа. Она редко подплывает близко к берегу, а тут, как по заказу, нежилась на воде совсем недалеко, и, когда я, заметив, показал на нее, у товарища вырвался громкий и дикий вскрик, и он вдруг принялся подсвистывать и подманивать, словно собачонку, нерпу руками. Она, разумеется, тотчас ушла под воду, а товарищ мой в последнем изумлении от нерпы и от себя опять умолк, и на этот раз надолго.

Я даю это ничего не значащее само по себе воспоминание для того лишь, чтобы иметь возможность процитировать несколько слов из большого и восторженного письма моего товарища, которое он послал мне вскоре после возвращения домой с Байкала. «Силы прибавились — это ладно, это бывало,—писал он.— Но я теперь духом поднялся, который оттуда, с Байкала. Я теперь чувствую, что могу немало сделать, и, кажется, различаю, что нужно делать и чего не нужно. Как хорошо, что у нас есть Байкал! Я поднимаюсь утром и, поклонясь в вашу сторону, где батюшка-Байкал, начинаю горы ворочать...»

Я понимаю его...

А ведь он, товарищ мой, видел только маленький краешек Байкала и видел его в чудесный летний день, когда все вокруг благодарствует покою и солнцу. Он не знает, как в такой же точно день, когда светит солнце и недвижим почти воздух, Байкал может бушевать, казалось бы, ни с чего — словно взбученный изнутри. Смотришь и не веришь своим глазам: тишь, безветрие и грохот воды — это за многие и многие километры дошел сюда из района шторма вал.

Он, товарищ мой, не попадал ни под сарму, ни под култук, ни под баргузин. Так называются ветры, которые мгновенно, с сумасшедшей силой налетают из речных долин и способны натворить на Байкале немалые беды, поднимая порой волну до четырех и шести метров. Байкальский рыбак не станет, как поется в песне, просить: «Эй, баргузин, пошевеливай вал...»

Он не видел северного Байкала во всей его суровой и первозданной красоте, среди которой теряешь и ощущение времени, и меру дел человеческих,— так щедро и царственно властвует здесь над чистой водой древности сияющая вечность. В последние годы, впрочем, человек и тут торопится наверстать свое, укорачивая на привычный ему манер и царственность, и вечность, и покой, и красоту.

Он не бывал в бухте Песчаной, где солнечных дней в году гораздо больше, чем на прославленных южных курортах, и не купался в Чивыркуйском заливе, где вода летом нагревается ничуть не меньше, чем в Черном море.

Он не знает зимнего Байкала, когда вычищенный ветрами прозрачный лед представляется настолько тонким, что под ним, как под увеличительным стеклом, живет и шевелится вода, на него боязно ступить, а между тем под ногами может быть и метр, и больше толщины; не слышал он, товарищ мой, с каким гулом и треском разрывает Байкал, пошевеливаясь, под весну этот лед широкими бездонными трещинами, через которые не пройти, не проехать, а затем, снова сойдясь, возводит над ним великолепные громады голубых торосов.

Он не попадал в волшебную сказку: то мчится навстречу тебе с распушенным белоснежным полотнищем парусник; то повиснет в воздухе, плавно снижаясь и как бы приноравливаясь, где лучше сесть, средневековый красавец замок, то широкой полосой плывут с высоко и гордо поднятыми головами и совсем близко наплывают на тебя лебеди... Это миражи на Байкале, обычное здесь яв-

ление, с которыми связано немало прекрасных легенд и поверий.

Он, товарищ мой, много чего не видел, не слышал, не испытал, а лучше сказать, не увидел, не услышал, и не испытал почти ничего. И мы, живущие подле Байкала, не можем похвалиться, что знаем его хорошо, потому что узнать и понять его до конца невозможно — на то он и Байкал. Он постоянно разный и никогда не повторяет себя, каждое мгновение он меняется в красках и оттенках, в погоде, движениях и духе. О, дух Байкала — это нечто особенное, существующее, заставляющее верить в старые легенды и с мистической опаской задумываться, насколько волен человек в иных местах делать все, что ему заблагорассудится.

И все-таки, побывав очень недолго и увидев ничтожно мало, товарищ мой имел возможность если не понять, то почувствовать Байкал. Чувство в таких случаях зависит от нас, от нашей способности или неспособности принять в себя духовное зерно. И когда он, товарищ мой, говорит, что мог за одну ту прогулку дать ему Байкал, я его понимаю.

Байкал, казалось бы, должен подавлять человека своим величием и размерами — в нем все крупно, все широко, привольно и загадочно — он же, напротив, возвышает его. Редкое чувство приподнятости и одухотворенности испытываешь на Байкале — словно в виду вечности и совершенства и тебя коснулась тайная печать этих волшебных понятий, и тебя обдало близким дыханием всесильного присутствия, и в тебя вошла доля магического секрета всего сущего. Ты уже тем, кажется, отмечен и выделен, что стоишь на этом берегу, дышишь этим воздухом и пьешь эту воду. Нигде больше не будет у тебя ощущения столь полной и столь желанной слитности с природой и проникновения в нее: тебя одурманил этим воздухом, закружит и унесет над этой водой так скоро, что ты не успеешь и опомниться; ты побываешь в таких запо-

ведных угодьях, которые и не снились нам; и вернешься ты с удесятеренной надеждой: там, впереди, обетованная жизнь...

А очищающее, а вдохновляющее, а взбадривающее и душу нашу, и помыслы действие Байкала!.. Ни учесть, ни пометить его нельзя, его опять-таки можно только почувствовать в себе, но с нас достаточно и того, что оно существует.

Вернувшись однажды с прогулки, Л. Н. Толстой записал:

«Неужели может среди этой обаятельной природы удержаться в человеке чувство злобы, мщения или страсти истребления себе подобных? Все недоброе в сердце человека должно бы, кажется, исчезнуть в прикосновении с природой — этим непосредственным выражением красоты и добра».

Старое, извечное несоответствие наше той земле, на которой мы живем, и ее благодати — старая наша беда.

Природа сама по себе всегда правственна, безправственной ее может сделать лишь человек. И как знать, не она, не природа ли, и удерживает в немалой степени нас в тех более или менее разумных пока еще рамках, которыми определяется наше моральное состояние, не ею ли и крепится наше благоразумие и благодеяние?! Это она с мольбой, надеждой и предостережением денно и ночью глядит в наши глаза душами умерших и неродившихся, тех, кто был до нас и будет после нас. И разве все мы не слышим этот зов? Когда-то эвенк на берегу Байкала перед тем как срубить для надобности березку, долго каляся и просил прощения у березки за то, что вынужден ее погубить. Теперь мы стали иными. И все-таки не оттого ли и в состоянии мы удержать занесенную уже не над березкой, как двести и триста лет назад, а над самим батюшкой Байкалом равнодушную руку, что возвращаем ему сторицей вложенное в нас природой, в том числе и

им?! За добро добром, за милость милостью — по извечному кругу нравственного бытия...

Байкал создан как венец и тайна природы не для производственных потребностей, а для того, чтобы мы могли пить из него вволю воду, главное и бесценное его богатство, любоваться его державной красотой и дышать его заповедным воздухом. Он никогда не отказывался помогать человеку, но только в той мере, чтобы вода оставалась чистой, красота непогубленной, воздух незасоренным, а жизнь в нем и вокруг него — неиспорченной.

Это, прежде всего, необходимо нам.

Байкал, Байкал...

Он давно уже стал символом наших отношений с природой, и оттого, быть или не быть в чистоте и сохранности Байкалу, зависит ныне слишком многое. Это явилось бы не еще одним пройденным и покоренным человеком рубежом, а рубежом последним: за Байкалом нет ничего, что могло бы зарвавшегося в своей преобразовательской деятельности человека остановить.

Трудно удержаться, чтобы не повторить вслед за моим товарищем: как хорошо, что у нас есть Байкал! Могучий, богатый, величественный, красивый многими и многими красотами, царственный и не открытый, не покоренный — как хорошо, что он у нас есть!



КЯХТА

Мы приехали в Кяхту поздно вечером, а утром, поднявшись на гору, откуда вся Кяхта открывалась как на ладони, я вспомнил свою бабушку Марью Герасимовну, безграмотную и мудрую деревенскую старуху, которая никуда с Ангары не отлучалась, с сомнением относилась к существованию в мире англичан и французов, но в Кяхту верила неукоснительно. С детства слышал я ее вздохи: «Это же ж такое деется, это пошто Кяхта-то простаивает?» — когда трудно стало с чаем, без которого бабушка обходиться не могла. Много без чего могла, а без чая никак. Она страдала без него так сильно, раз за разом поминая и заклиная Кяхту, что в неокрепшем моем умишке надолго отложилось, будто Кяхта — это второй после Москвы по важности город, влияющий на судьбу всякого и каждого.

И вот теперь передо мной лежал маленький городишко, какие прежде называли заштатными, почти сплошь в старой части деревянный, со склонов трех сопок стекающий вниз и открыто, но несмело выходящий в четвертую сторону — к монгольской границе. И лежал он как-то немускулисто и расслабленно, казалось, даже удрученно, словно до сих пор не пришел в себя от последнего решительного поворота судьбы. Позднее это впечатление если и не изменится, то отмякнет, сделается точней и справедливей, но поначалу оно таким именно и было: неужели это Кяхта? Неужели это Кяхта, которая сто лет назад гремела на всю Россию, к которой с почтением относились в Париже, Лондоне и Нью-Йорке, которую называли «песчаной Венецией», заказы которой исполнялись в первую очередь, зная, что

Кяхта не скупится, которая из всех сибирских городов спустя полтора века после Мангазеи приняла на себя ее славу «златокипящего города»?! Неужели все это здесь и происходило? Днем и ночью вон оттуда, от границы, где теперь монгольский город Алтан-Булак, шли верблужьи караваны с чаем и холстами, выгружались вон за теми стенами Гостиного двора, где ныне прядильно-трикотажная фабрика, и купцы, прибывшие из глубин Китая, шли отдыхать вон в тот двухэтажный каменный Посольский дом на территории пограничного контрольно-пропускного пункта. Неужели и верно, что с Воскресенским собором, стоящим сейчас сиротливо и сутуло, только два-три храма в России и могли соперничать по богатству, что в нем были хрустальные колонны, а строился и расписывался он итальянскими мастерами, что росписи их подновлял в нем позднее декабрист Николай Бестужев? Что темные и полуразрушенные три двухэтажных дома возле речки Кяхты — это остатки поселка миллионеров, единственного, должно быть, в мире, где их, один другого богаче, ворочавших огромными оборотами, собралось в слободе за двадцать громких величин? И это только в Кяхте, а ведь жили-были они еще и в городе.

Даже из местных жителей далеко не каждый сегодня знает, что нынешняя Кяхта вобрала в себя небольшую слободу под этим именем и город Троицкосавск. Теперь они сошлись в одно целое. Линия между ними почти неразличима. Пожалуй, провести ее можно вон там, где справа от дороги на насыпи-кургане стоит памятник А. В. Потаниной, жене и помощнику в тяжелых трудах прославленного сибирского писателя и ученого Г. Н. Потанина, и где на месте кладбища, на котором была похоронена Александра Викторовна, разбит стадион. Город оставался по эту сторону от кладбища, слобода располагалась по ту, поближе к границе. Буквально в ста метрах от Кяхты начинался китайский город Маймачен, от которого теперь ничего не осталось. Здесь, в Кяхте, осо-

бенно хорошо заметно, какие изменения произошли в этой части света в наше столетие.

Зря моя бабушка в военное и послевоенное время надеялась и грешила на Кяхту. Кяхта отлучена была от чайных дел и потеряла торговое значение намного раньше. Упадок ее начался еще в прошлом веке, но Кяхта и прежде знавала кризисы, умела сопротивляться им и оставалась в силе вплоть до революции, даже до монгольской революции 21-го года.

Если история всегда права, то судьба нередко жестоко обходится со своими любимцами. Когда я был в Кяхте, город этот, поивший чаем всю Россию, давно забыл, как пахнет настоящий чай, и ничего, кроме испорченного грузинского, воняющего при заварке банными венчиками, не видел в глаза.

* * *

Кяхта — дитя торгового брака России с Китаем. До этого, говоря народным словом, были шашни. И при Алексее Михайловиче и при Петре Великом все попытки завести серьезные связи с самолюбивым и осторожным сибирским соседом кончались ничем: китайцы не держали условий, русские купцы из пределов Монголии и Китая высылались обратно. То, чего удалось добиться специальной миссии графа Саввы Рагузинского, в сущности, подготовлено было Петром, но осуществлено уже после его смерти. Много месяцев провела миссия в Китае, обговаривая пункты соглашения, натерпелась и унижений и волокиты, переезжала с места на место, и наконец в августе 1727 года соглашение было заключено и вошло в историю под именем Буринского договора: стороны подписали его на реке Буре в восьми верстах от Кяхты. По нему определялась южная граница России и позволялся проезд русских купцов внутрь соседней территории, а для меновой торговли решено было поставить

в двух местах пункты, по одному с каждой стороны, которые могли бы поддерживать меж собой постоянные связи.

Выбор с нашей стороны такого пункта на реке Кяхте — особое условие Саввы Рагузинского. Позднее много обсуждалось, отчего город заложен был не на полноводных Селенге или Чикое, а на маленькой речушке, которая и в те времена своими размерами вызывала лишь милую улыбку. Надо сказать, что Кяхта и ныне, имея водопровод от Чикоя, страдает тем не менее от недостатка воды. Но осторожный, учитывающий каждую мелочь московский посол выбрал речку, текущую не из Китая, а в Китай. Недолго она туда течет, но в этом месте течет именно туда, что и сыграло свою роль. Почему? Потому, вероятно, что граф Рагузинский боялся коварства соседей, которые при неладах могли отравить воду. Не забывайте, что происходило это два с половиной века от нас, а тогда это имело не последнее значение.

Таким жребием и избрана была Кяхта и так на этой речушке появилась крепость, ставшая затем городом Троицкосавском. «Савск» — в честь Саввы Рагузинского. А рядом возникла торговая слобода. Сибирского купца в старые времена не приходилось подталкивать к освоению новых земель, он готов был хоть к черту на кулички, если они сулили ему выгоду и деятельность. Кяхта — уголок не из самых райских на земле. Пески, летом изнуряющая жара, зимой бешеные ветры; правы, не отличавшиеся в то время мягкостью и благородством ни в Петербурге, ни в Москве, ни в Иркутске, здесь и вовсе должны были представлять смесь плохого с худшим. На что, кроме барыша, рассчитывал купец, направлявший свои семейные повозки на нижний край России, можно только предполагать. Барышом довольствовались те, кто из знатных городов для ведения дела направлял сюда своих представителей, комиссионеров, осевшим же фамилиям этого было мало. Пески не втоптать, ветры не унять, зной

не заговорить — значит, в песках, под ветром и зноем следовало создать приличествующую карману и благородию жизнь, за которую не было бы совсем стыдно ни перед заезжим гостем, ни перед собственной дочерью, обучающейся манерам и французскому языку. Начиналось, вероятно, с этого, затем пошло дальше.

Не вдруг, не сразу, но и без долгой приглядки, примеривая дом к дому, разрасталась слобода. Застройщиком и архитектором ее прежде всего было дело, выгодная торговля. К 20-м годам прошлого века роли поменялись: не город правил слободой, а слобода городом. Она давала ему и окрестным селам работу, меценатствовала над ним, открывала училища, строила храмы, была законодательницей вкусов. Рядом со слободой богател и город, но, богатея, терял власть и все чаще оглядывался на слободу: что скажут в Кяхте? Постепенно даже и в названии Троицкосавск стал подменяться Кяхтой.

Позднее Кяхта добилась почти невозможного. Единственная на всю Россию, она вытребовала себе право быть самоуправляемым городом. Формальное подчинение генерал-губернатору мало что значило, это прекрасно понимали и в Иркутске и в Кяхте. Граф Муравьев-Амурский, бывший в середине прошлого века восточносибирским генерал-губернатором, для отвода глаз назначил пограничным губернатором в Кяхту своего родственника Деспот-Зеновича, попавшего в Сибирь за вольнодумство. Странная водилась у прославленного графа родня: другой его родственник, не кто иной, как Михаил Бакунин, опасный государственный преступник, в 1861 году в роли доверенного лица кяхтинского купца Сабашникова бежал из Сибири на американском барке.

В обязанности пограничного губернатора входило первое разрешение могущих возникнуть между двумя государствами недоразумений, а также борьба с контрабандой. Вообще же городом управлял «Совет старшин торгового на Кяхте купечества», который руководил тор-

говлей, взимал налоги за чайное место, что давало хорошие деньги, и распределял их на торговые и городские нужды.

Нигде, кроме как в Кяхте... Эти слова объяснением, недоумением и удивлением не однажды возникают, когда познакомишься с историей города.

Начать с того, что ни в каком другом месте во всем свете Кяхта и не могла появиться, тут, в этом углу, где сходились разные религии, культуры и судьбы народов, и была ее точка, тут и велено было ей родиться. Возникнув из недр экзотики, она сама от начала и до конца была экзотикой, быть может, не совсем представляя, что это такое. Но она была российской территорией и обязана была подчиняться российским законам, не всегда удобно ложившимся на особенности ее занятий и быта.

Нигде, кроме как в Кяхте...

Между слободой и китайским городом Маймаченом, например, никаких ограничений и никакого контроля в движении туда и обратно не существовало: «ходы куда хоты». Но по дороге из Троицкосавска в слободу, из одного российского пункта в другой, едва разделенных между собой полутора верстами, стояла таможня, обыскивающая пешего и конного, его величество и его низайшество. Искать логику в российских законах и всегда-то представляло немалые затруднения, а в середине прошлого века законами по отношению к Кяхте управляло одно упрямство. Торговлю обязывали быть только меновой: вы нам чай и «китайку» (бумажное полотно), мы вам меха, мануфактуру и кожи. Однако китайцев товарный обмен не устраивал, они требовали за чай серебро и золото. Китайцы требовали золото, а русское правительство решительно, под страхом каторги, запретило пользоваться им в торговых операциях: или сбывай топоры и кожи, или закрывай дело. Вопрос стоял так: быть или не быть Кяхте, потому что ни китайцы, ни московские власти на уступки не шли, а таможне даны были строгие предписа-

ния. Чтобы вести торговлю, требовалось до мелочей, до сантиметра, грамма и копейки указывать в расчетных книгах, что на что меняется, дабы стоимость отданного товара точно соответствовала стоимости принятого.

Что оставалось кяхтинцам делать? От мала до велика они объединились в контрабанде. Это было великое надувательство не расположенных к ним установлений, о котором все знали, все участвовали и все закрывали глаза, делая вид, что ничего противозаконного не происходит. Торговля могла продолжаться на металл, она на него и продолжалась. «Экипажи делались с двумя днами, с потайными ящиками в оглоблях, осях, колесах, хомутах, дугах — словом, везде, где только была возможность устроить помещение для золота и серебра», — свидетельствовал Д. И. Стахеев, журналист и писатель, в то время торговавший в Кяхте и хорошо знакомый с ее нравами. Присланный для борьбы с контрабандой губернатор Деспот-Зенович очень скоро разобрался, что к чему, махнул на свою миссию рукой и счел за лучшее заняться изданием «Кяхтинского листка», в качестве цензора защищая его от цензуры. Торговля шла на металл, а товар, указывающийся в документах как меновой, оставался у купца и, путешествуя из Кяхты в Троицкосавск и обратно, в едином лице заносился в платежные книги и во второй, и в пятый, и в восьмой раз.

И так продолжалось десятки лет, в которые Кяхта не только не пострадала, а, напротив, расцвела — пусть и преступной, недозволенной, но от этого не менее привлекательной красотой. Построены были Гостиный двор в слободе и Гостиный двор в городе, к двум деревянным церквушкам прибавились три больших каменных собора, один из которых в слободе являл собой роскошь, недоступную, пожалуй, и столицам. Разбили бульвар, для орошения его провели водопровод, открывались именные училища, выписывались для них библиотеки. На путешественников этих лет, оставивших свои впечатления о Кях-

те, производят сильное действие две вещи — яркая бутафория Маймачена, где по китайским законам близ границы не разрешалось жить женщинам, и вызывающее богатство слободы.

Ограничения на торговлю сняты были в 1861 году. К этому же году относится письмо декабриста Михаила Бестужева к своей сестре в Петербург, опубликованное позднее в «Кяхтинском листке». В письме младший из братьев Бестужевых, отбывавших ссылку в Селенгинске, рассказывает, как он со своими маленькими дочерьми приезжал в Кяхту и какой они ее увидели:

«Их все поражало, удивляло своею новизною. Вопросам и восклицаниям конца не было. По обеим сторонам улицы, по которой мы ехали, были устроены деревянные тротуары, окаймленные рядом тумб и фонарных столбов. Вечерело, жар схлынул, мы уже не глотали пыли. Толпы гуляющих, вызванные тихою прохладой вечера, тянулись по тротуарам длинною вереницею. Веселенькие, опрятные дома быстро мелькали мимо нас, но веселенькие глазки моей Лели успевали пробегать крупными золотыми буквами надписи над общественными домами, и она громко вскрикивала: вот детский приют, вот женская гимназия, а это приходское училище, аптека, типография и редакция «Кяхтинского листка», дом общественного собрания... «Ах, папа! посмотри: какая огромная церковь... сад... там музыка. Да и танцуют там!» После мирной, почти келейной нашей селенгинской жизни их поразила эта деятельность торгового города, эти толпы китайцев, снующих по всем направлениям, эти бронзированные монголы на верблюдах...»

Остается добавить, что Михаил Бестужев, намеревавшийся прежде отправить свою дочь на учебу в Петербург к сестре, после этой поездки предпочитает оставить ее в Кяхте в гимназии С. С. Сабашниковой, матери впоследствии известной фамилии издателей.

Прошло более двадцати лет. В 1885 году в Кяхту

впервые приезжает по судьбе политического ссыльного И. И. Попов, оставивший о себе в Сибири память общественной деятельностью и редактированием в Иркутске ядринцевских изданий «Восточное обозрение» и «Сибирский сборник». Попов был зятем самого видного кяхтинского мецената и прогрессивного деятеля из купцов А. М. Лушникова и прожил в Кяхте не один год. В своей книге «Минувшее и пережитое» он посвящает ей, пожалуй, самые полные, живые и интересные воспоминания. Не впечатления путешественника и гостя, а свидетельства очевидца и участника многих событий, читающиеся буквально захлеб. Быть может, временами Попов описывает Кяхту излишне восторженно, но ведь и для восторженности нужно было сохранить настроение и не поддаться привыканию, которое способно сгладить и приуменьшить все что угодно. Чтобы этого не произошло, требовалась, конечно, далеко не обычная обстановка.

«Апартаменты кяхтинцев,— описывает И. И. Попов,— были обширны и располагались в двух этажах. Верхний этаж отводился под парадные комнаты. Комнаты всегда были со вкусом меблированы, и аляповатости меблировки купеческих семей России я не встречал в Кяхте. Картины, библиотека, музыкальные инструменты, бильярд, иногда зимний сад и всегда роскошные комнатные растения, какие я редко встречал даже и в России. Усадьбы кяхтинских купцов занимали относительно обширные площади. С главным домом, флигелями, кухней, баней, службами, каретниками, конюшнями на десятки стойл, коровниками, конским и скотским двором, садом, где часто бил фонтан, и т. д. Дом кяхтинца — полная чаша, с массой челяди и служащих, с погребями редких вин и гастрономии, непосредственно выписанных из столиц, а то и из-за границы, с каретниками, полными разнообразных экипажей, конюшнями с кровными рысаками, выездными, верховыми, беговыми, рабочими лошадьми, каковых только для домашнего обихода содержалось

40—60. Для детей имелись ослики, у которых были также свои экипажи. Скотный двор был полон коров, всякой птицы. Все выписываемое было добротное, высокого качества: «все равно втридорога платить — на бутылку целковый падает: стоит ли после этого дешевую дрянь выписывать» — так рассуждали кяхтинцы. И выписывали обувь, костюмы, обстановку и пр. из столиц, а дамские туалеты нередко от самого Ворта из Парижа. Известный портной в Петербурге Новотня находил выгодным для себя раз в год приезжать в Кяхту и брать заказы. Сняв мерки, он получал заказы и по телефону. Артисты, концертанты не боялись трястись от Иркутска и мерзнуть несколько сот верст — они знали, что гастроль с лихвой окупится».

Давайте переведем дух. Я позволил себе эту длинную выписку не только для того, чтобы показать, в какой роскоши купалась кяхтинская верхушка. Чего и ждать от удачливого прыща, за каковой можно принять Кяхту, где миллионер сидел на миллионере и погонял миллионером! Разумеется, выхвалялись друг перед другом, не без этого, богатство требовало демонстрации и шума. Но бешеное богатство могло являть себя бешеным безобразием и дурным вкусом, нередко так оно и случалось, за примерами и в России и в Сибири далеко ходить не надо. В Кяхте же в продолжение прошлого столетия постепенно выросло в среде купцов независимое, образованное, с передовыми для своего круга взглядами общество, о чем у нас еще будет возможность поговорить. Общество, разумеется, небольшое, но влиятельное, к которому прислушивались и подражали. Соревнуясь во внешней демонстрации богатства, в нем принято было соревноваться и в его благом употреблении. Со всем плохим и хорошим, замечательным, исключительным и непонятным это была все та же Россия, но — протраченная через Сибирь, порастрашенная по ее дорогам часть старых качеств и натертая часть новых, остановившаяся там, откуда по морям

до Европы было ближе, чем до собственной столицы. Так или иначе это сказывалось на взглядах кяхтинского промышленника.

Вести выгодное дело — первая заповедь всякого торговца. От сибирского купца сама эта огромная и невозделанная земля потребовала расторопности, живого ума и образования, без которых еще можно было обходиться в XVIII веке, но не в XIX. В XIX, чтобы соперничать со своим братом-соотечественником и европейцем, приходилось присматриваться, как хозяйничает европеец, что имеет он в своем обзаведенье, какие машины и приемы, угадывать, куда он в торговле метит. Случались среди сибиряка, разумеется, всякие экземпляры, но экземпляры случаются во все времена, и речь не о них. На фигуру кяхтинского купца повлияло, кроме того, пограничное положение города, в котором он жил, его даже и не отдаленность, а заброшенность, обрекшая его на духовное нищенство и па влияние сильной соседней культуры. Одиночными и судорожными усилиями противостоять этому было нельзя, потребовались для поддержания порядка и духа постоянные общественные мероприятия и сборы. Так введены были акциденции — местный налог за чайное место, дававший немалые деньги. В кяхтинце по всей логике вещей должно было разыграть самолюбие, подогреваемое богатством, и оно, разумеется, выиграло. Московское купечество ставит новый собор краше старых, давайте и мы не поскупимся, а Боткину поручим договориться с итальянцами, чтоб ехали и постарались затмить Москву. Петербург одевается у Новотни, а мы чем хуже? Далеко, говорите, от Петербурга, неудобно ездить на примерку? Ничего, Новотня сам к нам приедет, не пожалеет. Княгиня К. заказала в Париж платье Ворту? Ну и мы закажем Клавдии Христофоровне — что за оказия! Если моя дочь показывает способности, отчего бы ей не брать уроки скульптуры у Родена? И верно, дочь А. М. Лушниковы Екатерина у него их и брала, и Роден считал ее

лучшей своей ученицей. В Кяхту приезжали на жительство из Германии и уезжали в Швейцарию, никого это не удивляло.

«Показать товар лицом» имело здесь широкий смысл. Это значило, во-первых, показать себя, свое твердое положение и европейские вкусы одновременно с демократичностью и широкостью натуры. Дочь могли выдать замуж за французского коммерсанта, сына женить на горничной. Американец Кеннан, написавший хорошо известную у нас книгу «Сибирь и ссылка», побывав в Кяхте, заметил, что земля мала, — он встретил там и европейцев, и европейскую культуру, и продающиеся в лавке предметы из Нового Света. С. И. Черепанов, оставивший воспоминания о Кяхте 20—30-х годов прошлого века, уже в то время называет тамошних купцов «высокообразованными людьми, каких среди русского купечества не было». Едва ли верно, что «не было», решительные противопоставления в таких случаях чаще всего несправедливы, но и на кяхтинских весах, составивших это мнение, лежал, стало быть, не случайный груз местной культуры.

«Показать товар лицом» значило также показать свой город, который являлся здесь лицом России. Ясно, что кяхтинцы украшали и благоустраивали его прежде всего для себя, для сносного и даже красивого житья, чтобы меньше чувствовалась отдаленность, однако, имел место и «показ». Рядом стоял китайский Маймачен, невольное соревнование с ним происходило постоянно и во всем. Кяхта не только не должна была ударить в грязь лицом, но и по многим статьям, не зависящим от традиций и правовых разных народов, превзойти. О том, как живут в Кяхте и как работают, судили вообще о русских. Почти на всех путешественников, переступавших границу, в Маймачене производили впечатление чистота и восточная нарядность города, а больше всего — тучные и диковинные обеды из сорока-шестидесяти блюд. Мартос: «Не требуйте, чтобы я со всею подробностью описывал кухню

китайскую, и многосложную до невероятности и совершенно новую для европейца — ибо это есть вещь едва ли возможная». Кеннан: «Если они устраивают ежедневно подобные обеды, то остается только удивляться, как эта раса еще не вымерла. Человек, пообедавший подобным образом поздней осенью, может проспать, как медведь в своем логовище, без всякого питания всю зиму до следующей весны, если предположить, что он еще раньше не умрет вследствие несварения желудка». Кеннан имел решительное право на подобную оговорку: отобедавши в Маймачене раз, он провалялся в постели две недели и был болен три месяца.

В Кяхте тоже любили угощать и нередко утомляли чаями, в которых не было недостатка, а возле ведерных самоваров не пустовали и столы, но не это главным образом оставалось в памяти после Троицкосавска и Кяхты, не меню заставляло вспоминать «песчаную Венецию», а нечто иное, что касалось образа жизни и мыслей, в некотором роде даже образа богатства, который имел здесь заметные отличительные черты.

Но «товар лицом» — это и в прямом смысле товар, умение торговать и отказ от нечистых средств в торговле. Вот это, пожалуй, оказалось труднее всего. В первое столетие торговли обе стороны соревновались в искусстве надувательства друг друга, не стесняясь в самых грубых и безобразных способах и оправдываясь детской логикой: «он первый начал». Отдать предпочтение кому-либо в этом старинном искусстве было невозможно, хороши, что называется, были те и другие. Китайцы прятали в куски материи, которую не позволялось разворачивать, деревянные поленья, наши мастаки зашивали в лапки пушного зверя, продававшегося на вес, свинец. Китайцы серебро подменяли латунью, русские за песцов выдавали мангазейских зайцев. Китайцы чурку заворачивали в свиную шкуру, зашивали и продавали за ветчину, русские укорачивали аршин. Дело докатывалось до прямого разбоя,

что не однажды приводило к длительным перерывам в торговле. Нравы меняются не так скоро, как хотелось бы, и тем не менее при желании они все-таки меняются, и Кяхта тому доказательство. Шли годы, вместо вороватого и тароватого комиссионера со стороны появлялся купец, заинтересованный в долгосрочных прибылях, которые не могли постоянно держаться на обмане. Торговая община вырабатывала свои законы и заставляла соблюдать их всякого, кто рассчитывал быть жалуемым. Во второй половине прошлого века ко всему подозрительные китайцы полностью доверяли кяхтинцам. Сделки на огромные суммы обычно совершались под слово, и так же, как прежде обман, это стало в порядке вещей. Из последних десятилетий до нас дошел только один случай, когда слово кяхтинца чуть было не лопнуло, но купечество, прознав об этом, выложило все свои наличные и спасло себя и своего собрата от позора.

Помню, меня приятно удивило, когда я узнал, что до революции Иркутск по числу учащихся на тысячу жителей был далеко впереди Москвы и Петербурга. Но с Кяхтой Иркутску не сравниться, она по этой части сто очков могла дать любому городу. В 90-х годах в ней насчитывалось 8—9 тысяч жителей, всего ничего, а работали городское училище, реальное училище, женская гимназия, ремесленная школа, четыре приходских училища, сиропитательная школа и т. д. И все они помещались в прекрасных зданиях и содержались, в основном, на общественных средства.

Из Кяхты вышли фамилии Боткиных, Сабашниковых, Белоголового, Прянишникова, послуживших России отнюдь не карманом. Первая издательница сочинений Ленина в России Водовозова — дочь кяхтинского купца Токмакова. В реальном училище преподавал И. В. Щеглов, известный сибирский историк. В войсковой русско-монгольской школе учился будущий знаменитый бурятский ученый Доржи Банзаров. Здесь жил и работал автор пес-

ни «Славное море, священный Байкал» Д. П. Давыдов. Сын декабриста Николая Бестужева А. Д. Старцев (он воспитывался в семье селенгинского купца Старцева и носил его фамилию) собрал лучшую в Европе библиотеку китайских манускриптов. В Кяхте снаряжали свои экспедиции исследователи Азии Г. Н. Потанин и Н. М. Ядринцев, Н. М. Пржевальский и Г. Е. Грум-Гржимайло, П. К. Козлов и В. А. Обручев, тут они долго жили и выступали перед кяхтинцами с лекциями, помогли открыть краеведческий музей и отделение Географического общества.

Размышляя о судьбе этого маленького городка с громкой славой, поневоле задаешься вопросом: а что было бы, не пойдя направление кяхтинского купечества вот так, как оно пошло, когда богатство не впало в чванство и самодурство, не отворотилось от наук и искусств и умело даже и сквозь толстую мошну видеть российское благополучие. Разумеется, взгляд сквозь мошну был несколько смещенный, однако, смелость, самостоятельность, критический прищур отнять у него нельзя. Выручали образованность, знакомство с европейскими порядками, общение со многими передовыми людьми того времени. Кяхтинцы не раз без всякой опаски собирали деньги и высылали их Герцену на издание «Колокола». Через Кяхту переправлялась корреспонденция в Лондон, а из Лондона через Китай доставлялись номера журнала. Здесь не боялись открыто их обсуждать и передавать друг другу. Крепкое положение и отдаленность, независимость от властей и вызывающая самость создали особый общественный климат с откровенно высказываемыми мнениями и взглядами, при котором высокомерие смешивалось с демократичностью, а здравый смысл с упрямством. Все было. Было, что один из самых больших воротил Кяхты Н. Л. Молчанов, отправив ругательную телеграмму издателю «Московских ведомостей» Каткову за помещенную там какую-то глупость, шел после этого на

репетицию самодеятельного театра разучивать роль рядом с учителем и конторским служащим. И было, что другой воротила, поговорив о Герцене, скупал билеты на представление приезжей труппы и раздавал их своей дворне, отнюдь не из образовательных целей, а чтобы досадить «торгующему на Кяхте купечеству». Без всего этого и Кяхта была бы не Кяхта, а только одна вывеска. Но и при этом, при всем своем многоцветье и многотипье, при правилах и сопутствующих им исключениях из правил, она имела определенное лицо, и лицо это при толстых щеках выглядело значительным и культурным.

Но могла или не могла Кяхта при ином направлении и порядке местных вещей стать другим городом — темным, сытым и неповоротливым, каковых по матушке России водилось не так уж и мало? Отчего происходит, что неприметный по всем статьям, далеко отстоящий от больших дорог Минусинск издавна питается культурой, заводит богатые библиотеки и музей, выписывает лучшие издания, организует духовную жизнь, а город неподалеку, более богатый, выгодно стоящий и удачливый, тешится полусонным существованием, заглушая живую мысль тяжелой одышкой? Отчего? Не оттого ли, что в одних случаях единственным делом считается «дело», капитал, любым способом обогащение и материальное утверждение, а в других побеждает разумное мнение, что капитал не может существовать ради капитала, иначе человеку при капитале грозит перерождение в зверя. Логика настолько простая и верная, что на практике чаще всего оказывалась недосыгаемой.

Меняются времена, меняются и нравы. Но даже и при самых больших социальных переменах человеческие нравы обладают способностью держаться основных своих законов и правил. Нынешние молодые города тоже имеют хозяев и обязаны появлением на свет одному или нескольким министерствам, осевшим в них со своим «делом». Между «торгующим на Кяхте купечеством» и «хо-

зайничающим на Ангаре наместничеством» та связь, что от них почти в одинаковой степени зависит судьба вверенных им городов. И тут не лучше, чем в старину: кому как повезет. Оказались в Ангарске среди «купцов» культурные люди, с самого начала радевшие за его духовную доблесть, и не во вред, а лишь в пользу «делу» отмечен, как божьей печатью, Ангарск этой благородной славой. В Братске таких людей не оказалось — и романтическое еще недавно звучание города покрылось окаленной бесчувственного молоха. Во всякое время «дело», не сдерживаемое душой, не умеющее оглянуться на красоту и художественную выразительность мира, какими бы благими намерениями оно ни огораживалось, неизбежно придет к собственному выносу.

О Кяхте написано много, в течение почти двух веков она притягивала к себе запахом экзотики и богатства. Деньги не пахнут, пахнет употребление денег. Если человеку отдается вина первородности, то богатство тем более повинно в том, что оно богатство. Если бы не было бедности, оно, быть может, и не заметило бы себя, а при противоположном знаке нельзя не заметить. Отмаливая грехи, богатый человек обращается к богу и дает деньги на храмы, платит тем самым налог. Явно, однако, недостаточный, чтобы успокоить душу. Требуется что-то еще, что-то земное. Всех бедных не оделить, на это не хватит никаких барышей. И тогда в поисках примирения с действительностью, тщетных, конечно, поисках, богатый человек платит налог за свое мирское благополучие благополучию духовному — как он его понимает. Он строит школу или больницу, назначает стипендии ученикам, покровительствует людям не от мира сего — художникам, поэтам и актерам, видя в них какой-то смутный и не проявившийся, не доведенный до конца знак от всевышнего, находящийся на пути к отчетливому изображению, когда на нем выступают имена благодетелей. Это психология вины за богатство, если она есть, психология откупа.

Тут важно — «если она есть». Ее могло и не быть, чаще всего ее и не бывало. Это зависело как от «спелости» души собственника, так и от принятых в его обществе правил. Но если уж «есть», зачем же подозревать такую вину обязательно в дурных намерениях, коли она сослужила добрую службу?

Из многих и многих отзывов о старой Кяхте, в большей части восторженных или деловых, посвященных торговле, впечатления и статьи уже упоминавшегося здесь Д. И. Стахеева отличаются сдержанностью и сарказмом. Мало что нравится в Кяхте будущему редактору «Нивы» и «Русского вестника», в начале 60-х годов пробовавшему перо в «Кяхтинском листке». Кушцы у него ленивы и бездеятельны, нравы дикие, собрания купечества и выборы старшины достойны комедии, акциденции, взимаемые с каждого чайного места якобы для улучшения торговли, идут неизвестно на что, чиповники покупаются, общественные деньги тратятся на приобретение в Иркутске библиотеки — на что кяхтинцам библиотека? Вот здесь-то и зарыта собака: край земли должен быть краем во всем — в морали, во взглядах, организации дела и быта, всяческих общественных движениях к культуре, достойных лишь того, чтобы приезжему образованному человеку над ними потешаться. Надо же, библиотеку покупают, рвутся в образованность!

В наблюдениях Стахеева, вероятно, немало верного, он в Кяхте жил и судит о ней не понаслышке, но вот с этим и теперь, спустя сто с лишним лет, трудно согласиться: знай сверчок свой шесток. Глушь, выходит, на то и глушь, чтобы оставаться там навсегда, географическая отдаленность означает отдаленность и заброшенность во всем, разница со столичным уровнем есть разница непреодолимая, налагаемая самой природой на развитие человека. Сибиряк, получивший образование в Петербурге, способен, вероятно, достичь в умственных и деловых занятиях не меньшего, чем европеец, если сво-

ей деятельностью он изберет удобренную почву, но у себя дома вся обстановка вокруг действует оцепеневающе и подчиняет себе.

Обстановка действует оцепеневающе, а всякие попытки изменить обстановку вызывают насмешку. И этот взгляд на Сибирь и сибирских просветителей держался долго, Сибири даровалась одна роль — быть проездной территорией для общения с другими землями и содержать в себе богатства для удовлетворения настоящих и будущих высочайших потребностей. И заводить культуру, украшать города, подвигать местных жителей к духовному обзаведению означало примерно то же, что от извлеченного из вечной мерзлоты мамонта ждать соловьиных трелей. Приобретение Сибиряковым для Томского университета библиотеки Жуковского вызвало позднее в определенной элитарной среде ту же реакцию: зачем Томску библиотека Жуковского, национальное российское достояние?

Уж в чем, в чем, а в безынициативности и неповоротливости кяхтинское купечество обвинить невозможно. В конце 60-х — начале 70-х годов, когда чай в Россию пошел через моря по открытому Суэцкому каналу, оно выдержало страшный удар. Перевозка по воде обходилась в десять раз дешевле, чем через всю матушку Сибирь по дождям и морозам. Вот тут, когда грянула беда, и обозначилось, чем была Кяхта для Сибири: извоз по всему пути от китайской границы за Урал, мануфактурные фабрики и кожевенные заводы, работающие только на Кяхту, многочисленные ремесла среди населения, заготовка пушнины от Оби до Камчатки. Кяхтинцы сделали все, чтобы их прошение дошло до царя и было рассмотрено к удовлетворению спасительных предложений: пошлину за фунт чая снизили с сорока копеек до пятнадцати, цветочного — с шестидесяти до сорока, таможеню перенесли в Иркутск, позволив беспошлинную торговлю в ближних районах. Европу как

рынок сбыта Кяхта потеряла, но Сибирь и часть России остались за ней. И тридцать лет после того, до следующего, еще более мощного удара, Кяхта продолжала процветать и благополучно конкурировать с морскими перевозками. Кяхтинский купец пользовался уважением во всей промышленной и торгующей России, кяхтинский купец первой гильдии — это было особое, высшее звание и огромный авторитет. Он проникал в Монголию и Китай и становился компаньоном чайных фирм, открывал фабрики в Пекине, добывал золото на Лене и бил бобров на Камчатке, участвовал в проникновении на Аляску и занимался хлопком в Туркестане. И даже чуть было не погубивший Кяхту Суэцкий канал умудрился использовать в свою выгоду, провозя чаи вокруг Европы через Ледовитый океан в устье Енисея, где не существовало пошлины. Он провел к Байкалу собственный, намного короче почтового, чайный тракт со станциями, ямщиками и рабочими, имел на Байкале и Амуре свои пароходы, приводя их опасными и дальними путями не откуда-нибудь, а с лондонских верфей.

Тут, вероятно, вернее было бы говорить о новом типе русского человека, своей деятельностью сокрушившего сказку о тяжелой русской созерцательности и симпатичной лени. После поразительного по своему упорству и устремленности броска казаков через Сибирь к Тихому океану в первой половине XVII века, после мангазейского торгово-промыслового чуда, вызывающего удивление до сих пор, после шелиховской кампании в Америку — Кяхта была следующим «пружинным» действием на просторах Сибири русского характера, показавшего способности не только накапливать, но и мощно проявлять энергию.

На рубеже двух столетий Кяхту ждал новый удар. И тут Д. И. Стахеев прав, когда он пишет:

«Обстоятельства, вызвавшие упадок кяхтинской торговли, наступили не вдруг и вырастали в продолжение

многих лет, но торговый люд не замечал этого; начальство тоже не отличалось достаточной прозорливостью относительно предстоявшей для Кяхты опасности. Враг, покушавшийся на интересы Кяхты, был сильнее всякого начальства, он роковым, неотразимым образом разрушал все преграды, встречавшиеся на пути его победоносного шествия. Враг этот — пар. Он убил Кяхту».

Пар этот — Транссибирская магистраль, взявшая на себя перевозки. Кяхтинское купечество еще пытается сопротивляться, отыскивая новые дела, готово строить на концессионных началах Трансмонгольскую железную дорогу, участвует в изысканиях, но начинается мировая война, затем революция и гражданская война... Кяхту занимают войска интервентов. Ей предстояло сыграть еще одну важную роль — стать центром по подготовке монгольской революции. Кяхтинские тузы, совсем недавно уверенные в том, что среди местных рабочих не может быть недовольных, с удивлением и страхом наблюдают на уличные процессии с красными флагами, выступившие против иноземцев и старых порядков. И, наконец, проснувшись однажды, Кяхта видит, как догорает Маймачен, партнер ее по торговле с китайской стороны, бок о бок с которым было прожито почти двести лет.

Напрашивается слово, что история рванулась вперед, теряя по пути своих любимцев, однако история к своим любимцам возвращается редко, а так хочется, чтобы Кяхта когда-нибудь снова обрела и величие, и достоинство, и славу.

* * *

Уже и «бабье лето» отгорело, наступил октябрь, а все такая гуляла по Забайкалью благодать с ненамужным теплом и солнцем, что впору было проверять календари. Люди раздевались до рубашек, дали стояли в чистых и отчетливых картинах, в бесточном воздухе ви-

сел горклый запах отстрадавших трав, от деревянных домов доносило нагретостью и стариной. Мы ходили по Кяхте и день, и второй, и третий, расспрашивая, сравнивая и раздумывая, то радуясь, то огорчаясь и недоумевая, поднимались на невысокие горы, одну и другую, вставшие по бокам города, и всматривались в рисунок улиц с таким вниманием, будто в нем могло явиться хоть тенью какое-то скрытое очертание.

Время, двигаясь одним могучим общим течением, для каждого из нас дробно и имеет вид своей родины. Если бы оно не склонялось, задерживаясь, над нашими городами и селениями — откуда взяться в них следам непоправимых остановок для даров и возмездия, как объяснить тогда, почему город то со вкусом и тщанием отстраивается, то разоряет себя, то теряет память, то начинает судорожно искать и восстанавливать материальные и духовные ее знаки, на которые бы сошло и поспелилось рядом неотчаявшееся разумие.

При взгляде на Кяхту невольно являются мысли о властной усталости Времени, оканчивающего свое второе тысячелетие, со случайными установлениями и путаницами, исключаящими одно другое, распоряжениями. На полуразрушенном Троицком соборе в парке крепится доска «Охраняется государством», рядом с отреставрированным и отданным под музей Успенским собором на месте городского кладбища разбит стадион, часть выковырнутых и оттащенных в сторону могильных плит валяется тут же, рядом со скамьями для зрителей, а нынешние юноши гоняют мяч на костях своих бабушек и дедушек. Памятники в честь борцов революции и жертв белогвардейских застенков (в начале 1920 года в Кяхте в течение двух недель продолжалась расправа над свезенными сюда со всей Сибири и Урала 1500 видными революционерами) имеют холодный, безликий, неоконченный, далекий от скульптуры вид, говорящий о недолгом казенном внимании, на последнем из

них, поставленном только что в память 40-летия победы в Отечественной войне, неприличные надписи. Инструктивная, по инструкции память — что может быть безотрадной и печальной, и увеселительное благоустройство на месте погребений — что может быть святотатственной и разрушительней для народной нравственности?!

Нет, гордость темного незнания изжить не так просто, как накопить ее.

Но кто объяснит, отчего нас притягивают развалины былого величия? Дело тут, вероятно, не в тайне, в том, что должно быть ближе тайны, в роковой справедливости обратного действия: за амплитудой могущества амплитуда запустения и небрежения. Или природа мирового порядка, которая властней государств и экономики, не дает никому надежд на постоянство, или что-то еще? Во имя чего творится возмездие, которое здесь, в слободе, служит еще одним подтверждением какого-то всеильного закона, распоряжающегося по всей земле?

«Всего усадеб в Кяхте, считая в том числе Гостиный двор, собор, пожарное депо, ветеринарную станцию, аптеку, дома двух врачей и пограничного комиссара, общественное собрание, два-три дома служащих, — было 35—40. Все они были расположены по широкой улице, посредине которой проходил бульвар, упиравшийся в общественный сад. На площади перед садом на горе возвышался собор, построенный в 20-х годах итальянцами, специально выписанными в Кяхту, а за собором — обширный Гостиный двор. Но в этом Гостином дворе не было ни лавок, ни торговли. Там хранились разные товары, стояли таборы чая, производились разные работы по чистке кирпичного чая, пересынки байхового; чай зашивались (ширились) в кожи и т. д. Рядом с Гостиным двором стояло пожарное депо с пожарной командой, которую содержало кяхтинское купечест-

во, а команда должна была охранять Кяхту от пожаров».

Такой увидел Кяхту в ноябре 1885 года И. И. Попов, воспоминания которого здесь уже приводились. Мы были в Кяхте в октябре 1985-го, без одного месяца спустя ровно сто лет.

В Гостином дворе расположилась прядильно-трикотажная фабрика. Воскресенский собор, когда-то сказочно богатый и красивый, красоту которого подновлял после итальянцев Николай Бестужев, пострадал больше всего — точно по тому же самому закону за степень красоты и богатства. Теперь собор в лесах реставрации, которая затянулась на пятнадцать лет, после чего решено устроить в нем музей географических открытий в Центральной Азии. Дело хорошее, и в Кяхте самое место такому музею, только когда это еще будет! А пока слепо и безучастно, то ли оживленный, да потерявший интерес к жизни, то ли в рост заму-ми-фи-ци-рованный, стоит собор в двадцати шагах от пограничного плагбаума и так и кажется, что жмет к нему, отжимаясь от той стороны, где за папертью проходила улица с бульваром и общественным садом.

Ни сада, ни бульвара, ни, добавим, пруда нет и в помине. И быльем, и травой поросло, давно занялось пустырем, по которому фабрика начинает ставить одноэтажные жилые строения. От улицы миллионеров осталось три дома: один, вблизи границы, принадлежал, вероятно, Швецову, образованному человеку, знавшему языки и европейскую культуру и державшему для детей в этом доме гувернантку, что в Кяхте не было принято; второй дом на противоположном конце и в памяти людской потерял хозяина, третий на середине улицы... вот тут, когда разбирали на дрова или перевозили за границу непролетарские усадьбы, кто-то, чей-то охранительный промысел удержал решительную руку... этот дом принадлежал А. М. Лушникову.

И в смерти не скупилась судьба на широкие жесты кяхтинцам: А. В. Швецов похоронен в Швейцарии, а А. М. Лушников на своей даче в Усть-Киране, в тридцати верстах от Кяхты. Купол Троицкой церкви, главного храма в городе, выстроен был в свое время купцами в форме глобуса — как напоминание о возможном поле деятельности для торговли. Но купол-глобус лет тридцать назад сгорел, а могилы кяхтинцев и действительно рассеяны по всему белу свету.

Лушниковский дом под теперешним номером пятнадцать редко оставался без гостей. Здесь жилали братья Бестужевы, Николай и Михаил, сюда они привозили из Селенгинска своего товарища по каторге и ссылке Ивана Горбачевского. А. М. Лушников сохранил известные ныне всем рисунки и портреты Николая Бестужева, в доме свято относились ко многим декабристским вещам, подаренным и приобретенным, часть их сейчас в кяхтинском краеведческом музее. Приезжая в Кяхту, сюда наверняка заходил Сергей Трубецкой. Здесь, останавливались во время экспедиций Г. Н. и А. В. Потанины, Александру Викторовну привезли сюда из Китая последней дорогой, чтобы предать родной земле. Н. М. Пржевальский считал себя другом Лушникова — и его дух живет в этом доме, проклиная, должно быть, неудобства, которые он вынужден ныне терпеть. Здесь американец Кеннан удивлялся вольным речам хозяина, оглядываясь на окружающую того роскошь, в этих стенах родился Д. И. Прянишников, знаменитый ученый-агрохимик. Ядринцев и Козлов, Обручев и Клеменц, Легра и писатель Максимов — многих и многих принимали, угощали, слушали и поздравляли в просторной гостиной на втором этаже этого дома.

Об Алексее Михайловиче Лушникове, о меценате, покровителе и попечителе учебных и культурных заведений в Кяхте и окрестных селах, о недюжинном его уме и приятных наклонностях к наукам и искусствам,

заставлявшим его наклонять к ним и свой капитал и располагавшим к нему передовых людей того времени, можно было бы рассказывать немало. О нем сохранились теплые воспоминания Михаила Бестужева и отзывы известных его сибирских современников. Это был внешне удачливый и внутренне удачный тип русского человека, который до всего, до знаний и почестей, доходит сам и который в отличие от европейца, оставшегося бы этим счастливым, всю жизнь мучается от неудовлетворенности и взыскательности своей души, не успокаивающейся ни благотворительностью, ни образованием. Интересно, что «попечительство» сына Алексея Михайловича — И. А. Лушников пошло дальше: в 1905—1907 гг. он издавал в Кяхте газеты «Байкал» и «Наш голос» явно революционного содержания.

Через кучи мусора мы подходим к дому и долго стоим возле него. Первый этаж, как обычно и строились богачи, каменный, с небольшими скромными окнами, второй — деревянный, высокий и светлый, глядящий во круг далеко и открыто. Сейчас он никуда не смотрит или смотрит только в себя, в свое запустение и старость. Два окна в верхнем этаже выхлестаны, в них с красивным торжеством раскачиваются лохмотья бумаги и тряпок, резные украшения по карнизу обломаны, деревянная лестница со двора в лоджию с обвисшими перилами едва держится. Величественная каменная кладка ворот, оставшихся без стены, торчит мавзолейным сооружением. Летний дом в китайском стиле во дворе не сохранился, а дом для челяди и хозяйственные постройки в глубине частью уцелели и выглядят теперь значительней и уместней, чем главный дом, являющийся памятником республиканского значения и взятый, стало быть, под государственную охрану. В нем собираются открыть музей замечательных кяхтинцев, хочется верить, что он и будет открыт, если дом до того не сгорит или не развалится: не торопится российская

улита за своей национальной памятью, ой не торопится.

И это, вероятно, в нашем характере: нам надо, чтобы развалился или дошел до последнего края разорения, а уж затем во всю прыть проявить энтузиазм восстановления, мы ни в чем не признаем экзотичной половины.

Высоко в небе над пограничной полосой парит ястреб, высматривая добычу с той и другой стороны, за ним с земли следит парень с карабином, щурясь от солнца и бездонного неба. Сухой воздух, отдающий песком, легонько отдыхивается от переспевших запахов кружным шевелением; дальние сосняки на горах клубятся светлой зеленью; в желтом дыму от догорающих лиственниц плавает город. В такие минуты, заморочив теплом, время как бы оставляет землю, воспаряя в свои небесные высоты, и не остается у нас ни прошлого, ни настоящего, только следы того и другого.

Нет, надо в город, там все на своих местах.

По главной городской улице бредут коровы, как сто, как двести лет назад, греются на лавочках старики. Где-то во дворе восторженно голосит петух. Под арки торговых рядов негусто и неторопливо втягивается народ, три молодые, в меру и со вкусом упакованные в одежды женщины, офицерские жены, со скучающим разговором стоят возле новых красных «Жигулей». От высокого крыльца булочной, в которой в боевые времена жил Нестор Каландаришвили, за офицерскими женами наблюдает местный отрок, ставя в уме плюсы и минусы своей отроковице. На дверях Дома культуры, за амбарную архитектуру которого рядом с Троицким собором раньше пороли бы розгами, висит на прилепленной скромной бумажке объявление:

Кто не робкого десятка,
Кто душой всегда игрив,
Всех задорных приглашаем
В театральный коллектив!

Если слобода за богатство свое была наказана жестоко, то город, живший скромнее, в большей части сохранился и до сего дня донес свой патриархальный вид, тут и там помеченный, правда, новостройками, но по-прежнему крепкий и молодцеватый. Воспоминания по былому, по прожитому и пройденному — это еще не воспоминания, а припоминания, восстановление того, что было, не содержащее открытий. Полное и глубокое воспоминание — отыскивание того, чего не было, но должно было быть, чувствительный и радостный отзыв на запоздавшую картину, встреча с заблудившейся родственностью. Так мы и ходили по Кяхте, бывшему Троицкосавску, почти угадывая, что будет за углом и в следующем дворе, безошибочно выходя туда, где нельзя было не постоять и что нельзя было не увидеть для какого-то оберегающего воспоминания.

Словно тут, в этих улицах, ты и должен был родиться, но отчего-то не получилось, перенеслось в другое место.

Кяхте повезло, ее миновали опустошительные пожары, а в последние десятилетия ей не хватало денег, чтобы устроить повальный снос и явиться в новом обличье. То, что такое могло произойти, видно по некоторым оглушительным попыткам. В этом месте кяхтинские отцы города могут возмутиться: ничего себе «повезло»!, а квартирная проблема, а десятки мелких котельных, а благоустройство, а современность! Неверно понятая современность в виде стандартных многоэтажек стала эпидемической болезнью наших маленьких городов, утвердительной ценностью их благополучия, превратилась в высоту положения. Нет, пока не научимся мы строить вровень с прежней архитектурой, не уничтожая, а развивая и дополняя ее в сложившемся издавна облике, пока не исчезнет дурнострой, лучше не торопиться. Лучше подождать, пока придут люди, способные уважать прошлое и не относиться к городам только как к посе-

лению собственных жизней. Речь тут не об одной лишь Кяхте; Кяхте, повторим, повезло. И не всегда, к несчастью, звание исторического города может служить защитой от разрушительного передела. Иркутск и в ранге исторического города, в облечении охранных прав и законов не уберег свой старинный центр, перечеркнув его чужеродной геометрией самозваного модернизма.

А кто подхватывает, во что превращает благие наши намерения с мемориалами, которые, за малыми исключениями, везде и всюду на сибирских просторах, отведенных под духовные поля, выглядят как памятники памятникам, как захоронения юбилеев. Мемориалы стали способом благоустройства, в котором тяжелый, щедро уложенный бетон замуровывает и замораживает, а не пробуждает чувствительные токи между настоящим и прошлым, между человеком и историей. Только ли вкус отказывает нам или прежде того оказались перекрытыми памятепроводящие каналы? Культура памяти говорит о культуре жизни и культуре поколений; примитивность городской архитектуры мы способны оправдать неотложными нуждами, требующими квартир в каких угодно стенах, богатые, но холодные знаки памяти свидетельствуют о расточительстве бедности.

В Новоселенгинске, на месте захоронения Николая Бестужева, жены и сына Михаила Бестужева и детей Торсона, теперь тоже мемориал, являющийся таким же площадно-бетонным торжеством, из которого неловко, как сорняки в протравленном чистом засеве, выглядывают скромные старые надгробия. На могучем бетонном опоясе агитация наглядная в виде высеченных сцен из жизни декабристов и рядом агитация письменная. Все это щедро, широко, не жалея трудов, денег и метров, кроме необходимого здесь клочка земли, куда ушел и чем стал Николай Бестужев, одна из самых ярких и благородных декабристских фигур, так много сделавший и для блага этого края. Кроме клочка земли, куда бы

могла унасть слеза чувствительного потомка и откуда ответным благодарствованием могло донестись ожидаемое дуновение. Теперь не упадет и не донесется, зато, не опасаясь замочить в непогоду ног на твердом, ходи и рассматривай перелицованные хрестоматийные картинки, читай известные слова о том, что «на обломках самовластья напишут наши имена».

Имена, верно, написали, да разве это все? На могилы к великим гражданам люди идут не для знакомства и восполнения образования, а для просветительства духовного, ради нескольких мгновений чувствительного прикосновения, бывания в мире человеческой вознесенности. Ради ощущения себя в нем и его в себе, угадывания не имеющих знакового выражения пособий, для постижения истинных ценностей бытия.

Было тут прежде просто, скромно и близко к отошедшим. При отъезде Михаила Бестужева из Сибири, после смерти брата и жены, друзья Бестужевых — Б. В. Белозеров из Петровского Завода и А. М. Лушников из Кяхты пообещали, что они не оставят без забот и внимания родные ему могилы. На Петровском Заводе, где декабристы отбыли каторгу, отлиты были памятники и металлическая дверца для ограды, которую решили выложить камнем. Рядом поставили часовенку. Надо сказать, что захоронения эти не в самом Новоселенгинске, а в пяти верстах от него, ныне в безлюдном месте, а тогда неподалеку от бестужевской заимки, где жили декабристы. Сейчас там свалка и заросли лебеды на месте избищ. Из неглубокой пади хорошо видна Селенга, текущая среди голых берегов, на противоположной стороне белеет церковь — единственное, что напоминает о старом Селенгинске, знаменитом граде по дороге в Китай, и хранит его вечный покой.

Да и все вокруг здесь дышит покоем и настраивает на дальние раздумья. При вносе и выносе Селенги высятся сторожами скалы, дремотно лежат под солнцем

безлесые курганные горы, молчаливые свидетели походов чингизидов на запад, сухо пахнет чебрецом и полынью. Это уже восточная картина, существующая в древних очертаниях и как бы надземная, строение иных богов, начальные письма великих азиатских философов. Эту землю Николай Бестужев полюбил и много размышлял о ней в письмах и беседах с друзьями.

Но вернемся в Кяхту, в старую часть города, уцелевшую от переделок. Если природа говорит о вечности, то людские поселения должны говорить не о тщете человека, ненадолго приходящего в мир, а об остающемся после него тепле. Память — это и есть тепло от человеческой жизни, без тепла памяти не бывает. По тому, как и в каких стенах жили люди, можно судить, чем они жили, была ли их жизнь продолжением народной направленности или ее искривлением.

Идешь по Кяхте (по Троицкосавску) и только смотри. То вдруг явится не сказочное, нет, а былинное видение — толстостенное, как крепость, с экономными, словно бойницы, окнами и тяжелой замшелой крышей. Вровень с избой глухой заплот, ворота и калитка с витым чугунным кольцом под навесом, со двора выносятся могучая лиственница, как бы не выросшая, а выстроенная под стать общему плану. То в двадцати шагах от крепости такая выплывает навстречу форсисность, что только ахай: теремная, высокая, многооконная и многотрубная, сияющая, разукрашенная резьбой, с боковой террасой в верхнем этаже, с затейливыми и фигурными, будто наскакивающие по углам на крышу змей-горынычи, водостоками. Так и чудится: растворится сейчас наверху окно и капризный голос, перепутав времена, чего-то потребует или прокричит что-нибудь восторженное. Конечно, в кружеве резьбы там и сям дыры, дерево потемнело и потрескалось, одно из окон, обрывая бодрую музыкальную фразу, за ненадобностью заделано, в другом фальшивым звуком заменена рама, терраса под-

гнила, а все равно — картина да и только, стоишь и не можешь отвести глаз. Рядом дом попроще, но тоже не из рядовых, какой-то весь из себя живой, молодцеватый, задиристый, по виду — из разбогатевших приказчиков. Следуешь дальше — и вдруг торцом выходящая в улицу величественная стена, аккуратно выложенная камнем, раз и навсегда ухоженная, соступами понижающаяся ко двору, сооруженная для защиты от огня и ветров. Дóма, который она защищала, уже нет, а она стоит и все ждет и ждет, когда он появится на прежнем месте. На другой стороне улицы купеческая мелочная лавка, под что-то хозяйственное, как не под дровяник, приспособленная, обратит внимание резным затвором, поверх нее на четырехскатной крыше, выглядывающей из соседнего порядка, на трубах, как диковинные птицы, ажурные дымники, сбоку на высоких оконных навершиях такая карусель из резьбы, что поневоле потянет рассмотреть поближе. И так всюду. А во дворах, едва не в каждом дворе, и вовсе старина: вросшие по окна в землю избушки, почерневшие и подрыхлевшие амбары, завозни, сараи, мастерские — начала и задворки именитых и неименитых троицкосавских родов, до сих пор вместе с подручностью, которой пользовались в работе, хранящие строй миновавшей навсегда жизни.

В 60-х годах пограничники разбирали одно из старых строений и наткнулись на холст. Оказалось, М. В. Нестеров. Теперь картина в местном краеведческом музее. Там же еще одна находка неизвестного автора итальянского письма. В Кяхте надо удивляться не находкам, а тому, что их мало; вероятно, самое ценное, что могло бы стать собственностью музея, погибло вместе со слободой. Сколько здесь должно было сохраниться картин, рисунков и изделий одного лишь Николая Бестужева, которого купцы не однажды приглашали писать портреты и образа; вещи, сделанные руками братьев-декабристов, среди кяхтинцев были в необычайном

ходу именно потому, что они бестужевские, сразу становящиеся реликвией и гордостью от авторства. Одним из их изобретений — сидейкой (так называлась двухколесная рессорная коляска) пользовались повсюду в Сибири, особенно она была незаменима по разбитым и горным дорогам, каковые у нас в большинстве.

Ныне в сидейке, для которой требовалась лошадка, уже не ездят, в качестве экспоната стоит она, возбуждая любопытство, в музее. Из лушниковского дома еще при организации музея сюда перешло бюро-конторка Михаила Бестужева, тогда же, очевидно, собраны были другие декабристские вещи, в том числе пистолет Николая Бестужева и несколько его акварельных работ. Говоря о музее, надо признать, что краеведческий музей по-кяхтински обширен и богат, это единственное, что осталось в сохранности от бывшего величия города. Скоро минет сто лет со дня его открытия — столько прошло времени, как с появлением здесь группы политических ссыльных (И. Попов, супруги Чарушины и др.) началась новая волна общественного и просветительского движения в Кяхте, результатом которого были и музей, и Географическое общество, и публичная библиотека. Зайдя в нынешнюю библиотеку, мы не нашли в ней совсем ничего из собранного среди кяхтинцев в ту пору — куда-то увезли, хорошо, если не на свалку, пренебрегли радением и трудами энтузиастов, и в старые времена бескорыстно работавших в пользу города.

Тогда это было, кажется, последнее культурное возбуждение, в котором главную роль играла уже политическая интеллигенция. Затем, разрастаясь, возбуждение стало революционным, и для Кяхты, как и для всей страны, наступили иные сроки. Кяхта полностью потеряла свое торговое значение, звучание ее, все больше заглушаясь, превратилось с годами в местный звук. Теперь Кяхта — город всего лишь районного подчинения со всем тем неизбежным, что заключено в этом ранге, с

отношением к городу извне и настроениями внутри. Она не попала в список исторических названий, и необходимые реставрационные работы потянулись в ней под ту степную восточную песню, которая не имеет конца.

По Кяхте ходишь с противоречивыми, то с горьким, то с радостным, чувствами. Словно в ней давно поселились два хозяина, беспрерывно, в течение многих лет, воюющие друг с другом. Один хлопочет, чтобы Кяхта с достоинством стояла в полный и славный свой исторический рост, другой склоняет ее к слепому раболепству перед сегодняшним днем. Один открывает филиалы музея, второй, разбросав остатки надгробий, выравнивает на могилах стадион и наслаждается звуками несущихся с него матов. Один караулит, чтоб не сожгли до конца Троицкую церковь, второй с усмешкой ставит впритык к ней общественный туалет и рассчитанным попустительством превращает в оное место весь парк, где находятся, кстати, памятники сынам революции и гражданской войны. Один понимает, что нравственность не может взрасти на одном лишь верхнем слое, второй и его портит примитивными казенными сооружениями.

Эти недоумения нужно адресовать не только Кяхте, это беда многих наших городов. Но Кяхта — город маленький, и потому ее противоречия заметней. Они соседствуют столь явно, заявляя свои права на гражданство с переменным успехом, что невольно начинаешь размышлять: а где большинство наше — на стороне отеческой памяти, от коей в немалой степени зависит народное благоденствие, или на стороне никак не изживаемого воинствующего небрежения к своим святыням? С кем мы, против кого мы, когда наконец наступит очистительное отрезвление?



МОЯ И ТВОЯ СИБИРЬ

Что такое Сибирь?

Давайте не будем сейчас говорить ни о поражающих наше воображение расстояниях и площадях, ни о суровых природных условиях, в которых невозможно якобы долго находиться, ни о богатствах, старых, новых и вечных, — обо всем том, что прежде всего приходит на ум и стало первыми и расхожими представлениями об этом крае. Давайте заглянем внутрь вопроса и попробуем понять место Сибири в своих ощущениях Родины, а быть может, даже всего мира, в ощущениях, так сказать, абстрактного плана, в восприятии части от целого — части своей судьбы и жизни, части пройденного человеком пути и части нашей уверенности в завтрашнем дне. Что такое Сибирь в отношении к человеку, вернее, в их взаимных отношениях? Что несет она в себе как сила влияющая и воздействующая, почему, проведя здесь два-три года, а порой и год, человек всю жизнь затем гордится сибирским периодом? Ну, лестно, предположим, что выдержал испытания, закалил, как принято говорить, свой дух, прошел определенную профессиональную школу... Но разве это все? Гордятся и те, кто не выдержал, не закалил и не прошел, гордятся одним лишь быванием в Сибири, подобно тому, как прежде гордились и обольщались походом на Афон. Дело, значит, не только в материальных, профессиональных и физических приобретениях, а в чем-то еще, что не сразу может быть обозначено, но существует и входит немалой долей в понятие «сибирского притяжения».

Недавно мы отпраздновали 400-летие со времени похода Ермака и начала присоединения Сибири к России.

Как и принято в юбилейных публикациях, много приводилось цифр, отражающих прежнее, нынешнее и будущее состояния Сибири, много делалось сравнений и прогнозов, показывающих сибирские рывки, главным образом экономические, к тому, чем эта земля стала сегодня и намерена стать завтра. Не все, однако, поддается сравнению. Есть вещи несопоставимые, необъяснимо существующие лишь в себе и развивающиеся по каким-то собственным законам. Есть они и в тех понятиях, которые говорят о Сибири, если не смотреть на нее только с хозяйственной точки зрения.

Сибиряк, для кого эта земля родина, и сезонник, для кого она место временного пристанища, промысловая территория или рабочая площадка,— издавна вместе с этими двумя типами населяющего Сибирь человека отмечались и разные взгляды на нее, разные, при всей видимости их соприкосновения, подходы и отношения. Не нужно быть закоренелым мистиком, чтобы поверить, что Сибирь, как и всякая другая живая земля, чувствует, с чем, с какой такой надобностью жалует сюда всякий гость, и тем же встречает-привечает; Сибирь, долгое время бывшая местом массового наказания и ставшая едва ли не проходным двором для разного рода любителей наживы, должна чувствовать это в особенности: за века было откуда взяться опыту, чтобы отличить охотного человека от работника и переселенца.

Пожалуй, именно так: охочий человек, скороспел и скоросмел, самый вредный для Сибири тип, верный ее обирала, выдающий себя за благодетеля, изыскателя и преобразователя; не сибиряк, но работник, сделавший и продолжающий делать немало доброго и полезного для Сибири, созидатель по натуре, в труде не знающий разницы, свой или сторонний это край; и местный житель, коренной или пускающий корни сибиряк, связавший себя с Сибирью всем строем существования не на одно поколение,— пожалуй, в этом разделении не на своего

и чужого, а на способствующего и не способствующего ее благу справедливости больше. И обращаться к подобному разделению и оговаривать его приходится не без боли, однако, по той простой причине, что Сибирь как огромное и мощное хозяйство еще не устоялось и не выправилось, чему в конце концов ей быть, на деле еще не прояснилось, но, нуждаясь в рабочей силе, она невольно привлекает и немало случайного, приискательского люда, рассчитывающего, как и сто, и двести лет назад, на приискание скорой и легкой удачи и смотрящего на Сибирь словно на злонамеренную обманщицу, если вожденная удача почему-либо не дается.

Нуждаясь в рабочей силе, во сто крат нуждается Сибирь в жителе, который мог бы быть ей сыном, радельцем и патриотом, который, и преобразовывая ее, делал бы это не с холодным сердцем для кого-то неизвестного, а для собственных детей и внуков.

...Сибирь в свою пору досталась России на удивление легко. Это был словно небесный дар, больше ее сравнить не с чем. Теперь уже и нельзя представить, что это могло случиться как-то иначе; Сибирь и без того, казалось, слишком долго ждала желанного воссоединения, в то время как Россия, не видя главные свои интересы, занималась войнами то с Турцией, то с Литвой и Польшей и судачила, что за существа обитают за Уралом и на кого они больше похожи — на человека или на зверя. Сюда не пришлось снаряжать огромные армии, ни одному военачальнику, кроме Ермака, да и то отправившемуся за Камень помимо Москвы дорогами казачьей вольницы, не удалось прославиться здесь своим полководческим искусством. Присоединение Сибири потребовало искусства другого рода, нигде более так не проявившегося и ни в ком, кроме русского с его сверхтерпеливым духом и телом, не отыскавшего бы для себя столь талантливому выразителя, — искусства землепроходческого.

Менее чем через шестьдесят лет после Ермака русские казаки вышли на берега Тихого океана. Мы, привыкшие ныне к всевозможным чудесам, принимаем этот факт как историческую реальность, и только, как некую изначальную данность; осознать его в полную меру мы не в состоянии: в те времена, при тех способах передвижения, при том оснащении, в той Сибири... Нет, это что-то сверхъестественное, это были какие-то другие, какие-то особые люди, испытавшие необыкновенный порыв и знавшие чудесную страсть. И если теперь труд строителя новой железной дороги мы называем подвигом и называем, вероятно, не без оснований, как в таком случае назвать пути-дороги, труды и дела Семена Дежнева, Ерофея Хабарова, Василия Пояркова, Петра Бекетова, Владимира Атласова и многих-многих их товарищей, по рекам и волокам, по тайге, тундре и звериным тропам прошедших, как перелетевших по воздуху, великие расстояния, чтобы здесь навсегда запахло Русью. История рассудила с дерзкой справедливостью: тьмы Чингисхана с востока и спустя три с половиной века малочисленные отряды казаков на те же дали обратились на восток.

Русская Сибирь с них и началась, они и дали основание сибирскому характеру, о котором спорят до сих пор: чего в нем больше — человека или природы, благовоспитанного или стихийно приобретенного? Больше всего в нем, пожалуй, взятой в собственность личности.

Личность — это множественность в единстве, увеличение и подчинение своих возможностей заглавной, всеопределяющей цели. Без цели личности не существует. Много бы я дал, чтобы узнать, сколько в своих страшных мытарствах, месяцами и годами шагая бок о бок со смертью — замерзая в легких зимовьях без соли и хлеба, натываясь на голодного зверя, попадая под стрелы инородцев, теряя сознание от пыток воеводских палат, ведущих дознание в подметных преступлениях,—

сколько Ерофей Хабаров и Семен Дежнев думали о наживе и сколько о России и что вкладывалось тогда в мысли о России. Возможно и даже вероятно, что корысть соединялась в них с высокими помыслами, с одной лишь корыстью не позволилось бы, чтобы имена их осветились бессмертием. Для этого в проводники и охранники следовало брать нечто совершенно иное, что, подобно вифлеемской звезде, и было путеводным чувством — Родиной, которую они продолжали на восток. Этому Провидению, умеющему заглянуть далеко вперед, они отдались до конца, оно и помогло им сделать то, что кажется нам невероятным.

Послужить России Сибирью — услуга не из малых, и кому попало она не могла быть поручена.

Таким образом, сибиряк с самого начала был замешен на личностных качествах. Сибирь населяли люди отчаянные — те, у кого были причины искать пристанища в далекой и неуютной земле, кто надеялся жить здесь среди воли и справедливости, которых не доставало ему на прежней родине, кто во имя праведности обновленного коллективного закона сбивался в общины и расчищал деревни, не замусоренные попервости пустолюдем, и кто, полагаясь только на себя, в одиночестве уходил в глухие углы. Во всех случаях это требовало недюжинного духа. Народная, стихийная вольница, осевшая и продолжающая оседать в Сибири, была затем поддержана и частью облагорожена, а частью усугублена и подпорчена массовой ссылкой, так что, говоря о личности сибиряка, не обязательно иметь в виду лучшее ее выражение. Личность может быть и корявой. Для того, чтобы она правильно развивалась, необходим хотя бы мало-мальски сносный общественный климат, необходимо доверие ее к общественному устройству, которым Сибирь похвалиться не могла: вдали от царевых глаз очень скоро здесь развились неслыханные и невиданные доселе бесправие и лихоимство, быстрее, креп-

и дру~~же~~ всего остального привившиеся на молодой почве, мечтавшей совсем о других всходах. Надежды на обетованный край пришлось оставить, сибиряк поневоле удалился в себя и воздвиг там крепость, куда постороннему достучаться было не просто: хозяин на десять раз проверит, что за гость к нему идет и что несет, пока откроет и впустит. Отсюда и случающиеся в сибиряке чаще, чем в другом человеке, скрытность, недоверчивость и приглядчивость, которые так или иначе донесли и до нас и за которые не следует его сурово судить: попробовали бы вы продержаться тут, среди густого людского беззакония, происходящего от положения Сибири как края выправления и высылки и с самого начала отданного в распоряжение произвола,— попробовали бы вы тут продержаться долго с открытой всем и всякому душой! Но отсюда же и другая, не худшая, очевидно, сторона характера — сосредоточенность, выказывающая достоинство и пристальное внимание ко всему, что происходит вокруг. Сибиряк никогда не уходил в себя настолько, чтобы быть лишь в себе; взгляда, живей и острей, чем у него, еще поискать, смекалистый ум постоянно старался добраться до первопричины и сути, выбирая наиболее короткие пути и руководствуясь двумя основными вопросами: как это сделано? и зачем это существует?, пытаясь со свойственной ему практичностью подставлять их даже туда, куда они не подходят. Не слишком склонный к абстрактным размышлениям, он тем не менее сосредоточен был на жизни шире, чем она включала его, и, оглядывая видимый мир, перебирая доступные памяти годы, склонен был судить себя родовым судом, позволявшим видеть и дальше и помнить больше. В этом смысле положение русского сибиряка можно назвать выгодным: за его плечами не стояла тьма веков, он мог еще дотянуться до первопроходца, занесшего сюда его фамилию, и, находясь там же, что и тот, легко представить его начальные тру-

ды и мысли. Без самоуглубленности подобные вещи человеку недоступны.

Нет-нет да и вспоминаю я «философию» одного старика, деда Егора из моей родной деревни, стоявшей тогда еще на берегу Ангары, но уже собиравшейся съезжать: ниже по реке строилась Братская ГЭС, которая и сколупнула одним махом все старые поселения. Готовящимся переездом и была вызвана не то чтобы тоскливая, но и без бодрости, с заглядом в смерть, «философия» деда Егора. Наведываясь к отцу-матери из города только по летам, я перешел на положение лишь наполовину своего для деревни и уже одним этим располагал к отвлеченным откровениям, потому что среди своих не очень принято вести подобные разговоры. Озаренные закатом, под которым ласкалась Ангара, мы сидели на бревешках на берегу, и дед Егор сказал:

— Кому-то ведь надо было, чтоб это было.— Он неопределенно кивнул перед собой — перед нами расстилалась редкостная по красоте картина: кто помнит прежнюю Ангару, тот подтвердит.— Кому-то надо было, чтоб был я... А? Ладно, я скоро помру, придут другие. И здесь все делается по-другому. А все ж таки я захватил, на что мой родитель любовался.— И добавил — эти слова врезались в мою память отчетливо: — Я, хошь знать, никогда свою землю не забижал.

Святая простота: как он мог ее обидеть, — он, истинный труженик и радетель, ставший теперь уже частью этой земли и добавивший ей немалую долю человеческого тепла. Однако, по его представлениям, мог. Хотя бы дурным чувством мог, но не позволял себе чувства, оскорбившего бы труды и могилы отцов, когда-то сделанный ими выбор из огромной череды широких просторов и далее расчать новую родину именно в этом месте. Подобно тому, как центр жизни перемещается в «я» каждого из нас, центр вселенной перемещается в нашу «малую» родину, и ничего плохого в таком эго-

центризме, или как вы там его не обзовите, — ничего плохого в нем нет. Чувство сибиряка к отцовскому краю не могу сказать острее, чем в жителе коренной России, но, бесспорно, свежей, более наполнено собой, как бы более материально и участливо, в нем, помимо ощущений, есть сила определенности и заинтересованности. Этому способствовали и малолюдность, заставлявшая вдвойне и втройне ценить в себе работника, и сам величавый и гордый дух этой размашистой земли, которая, казалось, и приготовлена была, чтобы принять в себя человека не случайного, а каким-то образом отборного, в чем-то должного ей соответствовать.

Соответствие сибиряка Сибири — вопрос отдельный, оно, похоже, только еще подготавливалось, человеческая природа неосознанно искала пути стать вровень со спокойным могуществом приютившей ее страны, а у Сибири, надо полагать, не хватило времени, чтобы устроить на свой манер своего жителя, когда появилась новая сила — техника, стремительно возвысившая человека и тем самым невольно нарушившая их естественные связи.

К чему, спросите вы, этот экскурс в прошлое Сибири и сибиряка? Не к тому, чтобы показать, что и мы, сибиряки, не лыком шиты, что нас голыми руками не возьмешь. И не к тому, чтобы сделать попытку доказать, что сибирская порода — нечто особенное, самое надежное и крепкое. Как бы ни хотелось обольститься подобным взглядом, он был бы неверен. Сибиряк нынче перестает существовать в своих прежних устойчивых чертах, доживая отличия, словно донашивая старую одежду; все, что формировали природа, отдаленность, самообеспечение, даже некоторый консерватизм, — все мало-помалу приобретает общее выражение и перерождается на один лад. Хорошо это или плохо — другое дело, но такова реальность, с которой, хочешь не хочешь, приходится считаться. Сибирь перестала быть от-

даленной неизвестной землей, сибиряк не без удовольствия натянул на себя все доспехи человека нынешнего века.

И все-таки...

Наше ощущение того или иного края имеет свою логику и не всегда подчиняется фактам. Чем бы ни стала Сибирь, во что бы она сегодня ни превратилась, в глазах многих и многих, сведущих и не сведущих в ее делах, она продолжает оставаться спящим великаном, материком огромных неиспользованных сил, земель про запас. В старые времена царское правительство позволяло себе кидаться в авантюры, обезденежев, торговать Аляской: у России была Сибирь. Если об этом не писали, не говорили открыто, это подразумевалось само собой. Сибирь стояла крепостью, в которой можно укрыться; кладовой, которую при нужде всегда можно раскрыть; силой, которую можно призвать; твердью, которую можно подставить под любой удар, не боясь поражения; славой, которой предстоит прогреметь. Одним словом, в сознании человека Сибирь долго и прочно оставалась плацдармом для будущего, в которое человек смотрел с уверенностью: то, что истратит, выработает, не пожалеет в своем хозяйстве он сегодня, завтра добудет в Сибири. Там всего вдоволь, там в сущности целина, которую только еще предстоит разрабатывать. Как будет осуществляться эта разработка, каким путем пойдет дальнейшее освоение Сибири, еще сто лет назад россиянин представлял слабо, и даже с прокладкой Транссибирской магистрали, завершившей подлинное приращение Сибири к России, его взгляд, обращенный за Урал, оставался туманным: Сибирь по-прежнему громоздилась там неподъемной и непосильной тяжестью.

Так оно, надо полагать, и было. Присоединить Сибирь оказалось намного проще, чем освоить эти огромные пространства. Первая волна «освоения» после Ермака была самой хищнической: выбили песца и соболя, вы-

брали мамонтову кость, кинулись за драгоценными металлами, наскоро беря то, что поближе лежит и полегче дается. Вели себя, словом, так, будто через самое короткое время край этот навсегда отойдет к врагу, и необходимо до того выбрать отсюда все, чем он может воспользоваться. Затем опамятавались: огромная, больше любого материка, Сибирь становится, оказывается, не столь уж большой и бездонной, если из нее только черпать и черпать. Вообще надо признать, что в освоении Сибири периоды отрезвления и попыток хоть как-то изучить, облагородить и прихорошить ее постоянно сменялись новыми приступами опьянения и лихорадочного выбора после новых открытий. Будучи давно родной землей, землей своей, она тем не менее продолжала оставаться землей как бы приданной, взятой внаем — чтобы обеспечивать первоочередные прихоти и нужды. Сибирь,— стало быть, дающая, а еще больше — могущая дать, но дающая, такая-сякая, нелегко, требующая жертв и усилий. Одно слово — Сибирь: богатая бедность, широкая узость, ликующая неприютность; край, то ли весь из прошлого, то ли из будущего, но не из настоящего. Или отживший, или не начинавший жить, только-только подготовивший для начал жизни первые сносные условия.

Как это и должно быть, самые важные и прочные шаги в освоении Сибири сделал человек, пришедший сюда на постоянное жительство. То был пахарь, не нживающийся, а живущий Сибирью, в прямом смысле добывающий хлеб тяжким трудом. В нашем представлении этот тяжкий труд, прежде всего, заключался в борьбе с окружающим природным миром, у которого первому поселенцу невероятными стараниями приходилось отвоевывать каждый клочок пашни. Так-то оно так, и дело тут не в сомненьях в мере работы, а в сомненьях в мере противоборства человека и природы, их преувеличенного ныне антагонизма. Не

следует забывать, что исход борьбы в таких случаях всегда предрешен в пользу человека, и потому предок наш старался не брать у тайги больше того, чем ему было нужно. Конечно, топор, которым он тогда орудовал,— это не бульдозер и не ЛП-19, которым теперешние заготовители валят лесину в считанные секунды, но без головы и с топором можно было, фигурально выражаясь, паломать дров. Кое-где на просторах Сибири такое, разумеется, случалось, свет не без дурных людей, но и тогда земля не прощала издевательства над собой, и тогда по прошествии тридцати, сорока, пятидесяти лет, пусть даже по прошествии ста или ста пятидесяти лет, но приходилось деревне сниматься со своего насиженного места и перекочевывать в незагубленную сторону. Или влечить жалкое существование, когда из года в год посевы страдали от засухи, от наводнений, а то и от неведь откуда берущейся букашки. Как правило же, сибиряк вживался в тайгу с осторожностью и мерой, без этакого залихватского, свойственного нам, «Посторонись, тайга!», ясно сознавая, что она кормит его не меньше, чем поле.

Хорошо помню, как в молодые мои лета дед проводил со мной воспитательную «беседу», когда однажды, желая показать, до чего рясная уродилась на островах смородина, ввалился я в дом с охапкой паломанного ягодника. А ее, смородины этой, по нынешним меркам, было видимо-невидимо. И помню, какое бессилие и отупение охватили меня недавно, когда увидел я по осени идущие одна за другой по Тункинской долине за Байкалом машины с возами парезанного облепихового кустарника, дабы где-нибудь в затишке и заглушке обобрать с него ягоду. И это,— невзирая на запреты, на милицейские посты и общественные предостережения. Что греха таить: теперь и сибиряк, особенно горожанин, полегчал в своем отношении к родной земле, и он набрасывается на осеннюю тайгу с такой жадностью, буд-

то завтра ему, как в военном походе, куда-то отступать или наступать, а не оставаться здесь до конца своих дней.

Как бы ни припято было смотреть на Сибирь, невозможно, однако, не заметить, что из края устойчивого, ожидающего нас впереди будущего, она все больше и больше превращается в край настоящего. И слышно порой, как, доставая богатства, скребут о дно. Сибирь остановилась сейчас на том неизбежном перевесе, когда взятое медленно, но верно начинает клонить в свою сторону. Это не значит, разумеется, что освоение Сибири состоялось и теперь необходимо оставить ее в покое. Одно то, что здесь на великих просторах от Урала до океана едва ли живет постоянной жизнью десятая часть населения страны, говорит если не о пустынности, то, по крайней мере, о малозаселенности. Вахтовый метод работы, сколько бы ни давал он людей, не в счет: он годится, быть может, для Луны, но не для Сибири. Сибирь готова и принять, и приютить, и обеспечить полезными для отчизны занятиями, и накормить не один еще раз по столько и по полстолько народу, сколько в ней есть на сегодня. Но будь у Сибири свой голос, которым она могла бы высказать собственное отношение к своей судьбе, она бы сказала: «Да, готова, однако не надо меня больше покорять, я давно покорена и принадлежу вам, не надо по старинке смотреть на меня как на не пригодную для жизни сторону, а пора принять меня как родину, без коей вся остальная родина не существует, и как к родине, относиться ко мне с любовью и заботой. С тем и приходите ко мне — с верой, с любовью и оберегом».

Рациональное использование, комплексное освоение, хозяйское отношение к сибирским кладам в большом и малом... — самое время, чтобы из понятий сослагательной экономики они окончательно перешли в закон жизни и действия. Буря и натиск в освоении больше не-

приемлемы, иначе из невесты на выданье, как продолжают смотреть на Сибирь, она легко превратится в бесильную старуху. Самозащитные свойства ее, на которые мы вольно или невольно уповаем в надежде, что все мало-помалу восстановится само собой, рассосется и разбавится в больших объемах, залечится и зарастет в свежих почвах,— эти внутренние оздоровительные силы в местах мощного производственного вмешательства уже не справляются с тяжелой поступью человека, и рассчитывать на них следует лишь в той степени, в какой они могут быть сопутствующим, вспомогательным движением нашим предохранительным мерам.

Велика Сибирь, но нет в ней ни одного метра земли, к которому позволено отнестись с небрежением, и нет в ее лесах ни одного лишнего дерева, которое разрешается свалить без крайней нужды. Велика Сибирь, но в ее великости нашей заслуги быть не может: наша заслуга будет в сохранении наряду с величием дел человеческих первозданного величия ее природы.

...Так что же такое Сибирь и почему неодолимой и тревожной тягой влечет сюда человека? Тягой зачастую смутной, не различимой до конца, но нескончаемой до тех пор, пока, то ли выполняя давний забытый обет, то ли заполняя в себе ноющую пустоту, требующую «чего-то такого», не отправится человек за Урал и не окунется с головой в Сибирь — словно в открывшуюся, ставшую явью мечту. И если эта мечта в действительности не совсем сходится с его грезами о ней, винить в том, кроме нас, некого. А если сходится — тем лучше. В обоих случаях человеку, какое бы время ни провел он в Сибири, становится легче: происходит ощутимое наполнение его тем особым составом, который только здесь и есть и который помогает затем разбираться в себе и людях. Быть может, это одни лишь досужие домыслы и ничего такого в Сибири не водится, но как объяснить тогда столь часто встречающиеся в людях после Сиби-

ри уверенность и успокоенность, словно бы самообремененность и выразительность, которых до того не было; как объяснить нечаянную и бесхитростную вспышку радости на лице у человека, когда слышит он, что ты из Сибири, и вскидывается навстречу: «А я, знаете, тоже там был!..» Возможно, ничего хорошего, кроме случайных воспоминаний в ком-то, он здесь не оставил, но был, был и горд уже этим, а значит, Сибирь оставила нешуточный след в его душе, какой бы шелапутной и нетвердой она ни была. И отчего при одном лишь слове «Сибирь» самый далекий от нее человек, живущий где-нибудь на западных окраинах страны и никогда до нее не добиравшийся, невольно вздрагивает и прислушивается: как там, в Сибири? Что отзывается в нем на это слово? Что — радость или скорбь, надежда или разочарование, ожидание или сострадание? Что вложила в него Сибирь всепроникающим дыханием? Не кажется ли ему в неясных своих представлениях и ощущениях, что где угодно мы могли делать ошибки в преобразованиях, но только не в Сибири, что, наученные опытом других времен и материков, обязаны мы в доказательство своего здравомыслия и благожелательства отнестись с радением и заботой к этой огромной земле, которая надолго в состоянии продлить надежды человека на чистые воздух, воду и пашню.

Сибирь у нас одна. Каждая земля у нас в единственном числе и виде, и Сибирь здесь ни в чем не составит для нас с вами исключения. Исключение ее в том, что это молодой и заповедный до недавнего времени край, испытывающий сейчас огромное, небывалое до сих пор влияние хозяйственной деятельности человека. Здесь проверяется теперь, чем стал человек в настоящем и что следует ждать от него в будущем.

Не потому ли еще и тянет сюда человека: чтобы почувствовать в себе меру сезонного и вечного, истинного и случайного, разрушенного и заповедного.

Время и бремя тревог





ЧТО В СЛОВЕ, ЧТО ЗА СЛОВОМ?

Много лет назад меня поразило открытие, которое, казалось мне, сделано едва ли не только мною и о котором другие не подозревают или подозревают смутно. «Открытие» со временем оказалось никаким не открытием, а элементарной эволюцией, что ли, некоторых вещей, но то, что оно предстало передо мной как открытие, как откровение, то, что оно поразило меня сущностью заключенного в нем смыслового удара, и помогло, быть может, в свою пору стать мне писателем.

Речь идет о подмене, а если не о полной подмене, то о расширительном и безмерном толковании понятий, которые, казалось бы, должны существовать в твердых границах, потому что от того, насколько прочны или не прочны эти границы, зависит в нашей жизни слишком многое.

Больше ста лет назад Достоевский в «Записных тетрадях» к «Бесам» по поводу своего героя Кириллова заметил: «В Кириллове народная идея — сейчас жертвовать собою для правды... Жертвовать собою для правды — вот национальная черта поколения. Благослови его Бог и пошли ему понимание правды. Ибо весь вопрос в том и состоит, что считать за правду. Для того и написан роман».

Еще раньше у него же, у Достоевского, в объявлении о подписке на журнал «Эпоха» есть такие слова:

«Все более нарушается в заболевшем обществе нашем понятие о зле и добре. Кто из нас, по совести, знает теперь, что зло и что добро. Все обратилось в спорный пункт и всякий толкует и учит по-своему».

Это у нас, у русских, мы и всегда-то, похоже, чересчур подвержены были нравственным страданиям и сомнениям, всегда-то в этом смысле из мухи делали слона.

А вот у американцев. Я позволю себе большую цитату из Фолкнера.

«...Мы отказались от смысла, который наши отцы вкладывали в слова «свобода» и «независимость», смысла, положенного ими в основу нас как нации, завещанного ими нам как народу и превращенного нами в наше время в пустой звук. Свободу мы подменили патентом — патентом на любое действие, осуществляемое в рамках законов, сформулированных творцами патентов и жнецами материальных выгод. Свободу мы подменили безразличием ко всякому протесту и объявили, что может быть совершенно любое действие, лишь бы оно освящалось выхолащенным словом «свобода».

В этот самый момент исчезла также истина. Мы не упразднили истины; даже мы не способны были сделать этого. Просто она отказалась от нас, повернулась к нам спиной — не с насмешкой или даже презрением, или даже (будем надеяться) отчаянием. Она просто отказалась от нас, с тем чтобы, может быть, вернуться, когда с нами что-нибудь случится — несчастье, национальная катастрофа, может быть, даже военное поражение; вернуться и научить нас уважать истину и заставить заплатить любую цену, принести любую жертву, чтобы вновь обрести истину и хранить ее так, чтобы она никогда уже не покидала нас, хранить на ее собственных и бескомпромиссных условиях вкуса и ответственности. Истина — это длинная, чистая, четкая, неоспоримая, прямая и сверкающая полоса, по одну сторону которой черное — это черное, а по другую белое — это белое, — в наше время стала углом, точкой зрения, чем-то таким, что не имеет ничего общего не только с истиной, но даже и с простым фактом и целиком зависит от того, насколько тебе удастся заставить того, кого ты хочешь об-

мануть или сбить с толку, занять определенную позицию при взгляде на нее».

Таким образом, подмена самых высоких оснований, поддерживающих наши дух и совесть, произошла и продолжает происходить в глобальном масштабе. Мы отказались от них или они отказались от нас, тут уж большой роли не играет. В конечном итоге это одно и то же.

Можно, конечно, и усомниться: не так уж все страшно и не так уж все в нашем нравственном и духовном миропорядке сдвинулось со своих мест. И даже хочется усомниться. Хочется усомниться, прежде всего, во имя надежды, без которой мы не можем жить и тем более творить. Но именно жизнь и творения наши приводят опять к обратному результату. Получается самый жестокий из всех существующих парадоксов: жизнь опирается на надежду и мечту, а мечта и надежда не выдерживают жизни.

Когда начинаешь размышлять о том, что вызывает бесполезные, а то и просто вредные книги, и нередко у способных авторов, из многих и многих причин на первое место выставляются неуверенность, необразованность и покинутость души, или, переводя эти понятия в иную плоскость,—нетвердость и малозначительность духовных позиций. Художнику в таких случаях все равно, что несет в себе его книга и чему она служит, для него важна не учительность и не соборность книги в том смысле, как она воспитывает единомышленников, а факт ее существования. Есть книги, которые служат одному лишь автору. Чтобы работать, мы должны не только представлять, во имя чего работаем, но и ощущать это кожей, выверять каждым ударом сердца. Творчество как самовыражение — это, разумеется, личностный акт, никто у нас этого не отнимает, но для того чтобы он состоялся, чтобы он не носил случайный характер, должна быть общественная направленность творчества. Говорить ради себя художнику не пристало, это

все равно что говорить в себя; в своей работе мы исходим из воспитательных и духовных целей, которые могли бы иметь более или менее обширное воздействие. Художника можно сравнить с проводником, указывающим не приблизительные, а правильные пути. Это уж дело публики — следовать или не следовать им, но художнику неплохо бы знать их безошибочно.

Больше сорока лет назад Экзюпери писал:

«Человек в мою эпоху умирает от жажды. Есть только одна проблема, одна-единственная во всем мире: вернуть людям их духовное значение, их духовные заботы... Нельзя, понимаете ли, нельзя больше жить холодильниками, политикой, балансами и кроссвордами. Больше нельзя! Перед нами стоит теперь одна проблема: снова открыть, что есть жизнь духа, более высокая, чем разума, единственно способная удовлетворить человека».

Даже самая лучшая, сама правильная идеология страдает тем недостатком, что она разучилась говорить живым языком и что она говорит слишком громко. Эта доверительность разговора и этот живой язык есть у нас. Мы можем говорить о том же самом, придавая слову духовное значение и духовный смысл. Никто не подскажет нам, каким образом это лучше делать, — для этого в наших индивидуальностях существуют наши таланты. И только одно я осмеливаюсь заметить: художнику не годится быть сезонным работником, нанятым за определенную плату, чтобы, сделав запрашиваемое дело, с легким сердцем отправиться за следующим заработком. Наверное, он должен ощущать в себе весь прежний исторический и духовный опыт своего народа, его историческую направленность в будущее, он и в настоящем должен различать черты временного и вечного. Будучи в плену принятых представлений, четко отличить одно от другого не всем нам дано, но ощущение своей далекости и неслучайности, ощущение того, что

хорошо и что плохо в нынешней работе над человеком; в нас обязано быть. Это нетрудно иметь в себе, в нас самой природой отведено для этого место, которое требует заполнения. И если мы по-прежнему ленивы и нелюбопытны, пенять, кроме как на себя, не на кого.

В последнее время все чаще можно услышать мнение, что от неумеренного и неверного употребления такие огромные и важные понятия, как нравственность и духовность, потеряли последний смысл и превратились в пустой звук. Согласимся мы с этим или нет, много или мало станем оговаривать, насколько правы пессимисты, уровень содержащегося в них живого вещества ничуть не изменится. Она, эта собственно действующая в них и их составляющая жизнь, там есть, и уровень ее в последние годы, я думаю, значительно поднялся. Но мы действительно редко дотягиваемся до него, нам мешает наша выпрямленность, не дающая нагнуться, чтобы рассмотреть и расслышать, что происходит внутри. Зачастую мы и сами не знаем, что ищем в этих огромных и чувствительно-сложных сообщающихся сосудах, а потому отделиваемся тем, что ставим их рядом в деревянной целостности, как истуканов, не слишком вникая, чем они состояются, что их питает и чем они содержатся сегодня.

Никакое общество, сколь бы могучим и молодым оно ни представлялось себе, не сможет долго продержаться в силе и здравии, если оно откажется от вековых традиций и уставов своего народа. Это все равно что, подрубив корни, уповать на ветви. Народ на протяжении всей своей истории — единый и непрерывный организм, в котором каждое поколение, быть может, и оставляет меты, подобно годовым кольцам, но ничего не замыкает и ничего не оканчивает. Болен народ или здоров, един или растерян — все в одной непрерывающейся связи и жизни, где ничто не проходит бесследно, все вслед за при-

чинами имеет следствия и за началами продолжения, не всегда, к сожалению, предусмотренные и потому представляющиеся непонятными. Там, внутри организма, оно понятно и закономерно, если туда со вниманием заглядывать.

Вольно или невольно, однако, искусство довольно легко согласилось с переоценкой жизненно важных для нас понятий и заговорило о них, вернее, о том, что они в себе содержат, бесстрастным и отчужденным языком. Для него, для искусства, все более абстрагировалось и уходило в недоступные выси то, что было живой плотью человека: честь, совесть, долг, чувство личности и гражданина, верность идеалам и т. д., и т. д. Мы даже из любви умудрились сделать статую, которая непонятно каким образом продолжала рожать детей. Но вся штука в том, что живое не терпит окаменелости и, чтобы остаться живым, нередко поворачивается изнаночной и неприглядной стороной. Искусство, разумеется, не могло этого не заметить, но то ли от растерянности, то ли в спешке принялось на манер кино вести документальную запись происходящего, не вникая глубоко в его причины и не пытаясь их предупредить, и тем самым сыграло роковую роль пропаганды этих нездоровых явлений. Оно и сейчас в большой своей части занимается протоколированием — конечно, своими средствами и своим языком, но не выправлением и не излечиванием. И это при том, что у человеческой души остался один патентованный врачеватель — исходящее от нас с вами искусство. И если согласиться с Фолкнером, что от нас отвернулась истина, так она отвернулась не только потому, что человек стал хуже — и хороших, и плохих людей всегда хватало с избытком, — но прежде всего потому, что человек стал кривей и при прежних физических данных потерял духовную фигуру.

Задача искусства, и это трудная и долгая задача, вернуть подлинное и единственное значение тем вещам и

понятиям, без которых ни человек, ни общность людей не могут стоять на твердых ногах.

Мы много говорим о гуманизме; это, бесспорно, одно из первых понятий, составляющих человеческую жизнь. Оно заложено в человеке изначально — как способ существования среди себе подобных. Без любви к ближнему никто из нас обходиться не может. Это у человека в крови. Но любовь любви, как известно, рознь, тем более что речь идет не о любви плотской и не о любви сердца, а о любви души и духа, т. е. о добровольно принимаемом на себя, всей своей жизнью, всем своим житием служении другим людям, которые в этом нуждаются. О служении не столько общему делу, сколько общей жизни. Когда говорится об общем деле, о служении общечеловеческим идеалам — это гуманизм абстрактный, гуманизм лозунгов и призывов. Все мы живем под его высокими понятиями, и никто никогда еще, даже самый последний человеконенавистник и тиран, этими лозунгами не пренебрегал. Они годятся для всех, у всех в чести. И нет ничего проще, как быть в таких случаях гуманистом.

Другое дело — гуманизм, так сказать, бытовой, повседневный, требующий души и жития. Вот в чем разница между жизнью и житием: житие подразумевало самое существование в постоянной и стoической любви к людям. Сейчас жития в том строгом и аскетическом смысле, которого требовало это понятие, не нужно, и, употребляя это слово, мы имеем в виду лишь жизнь, не разбросанную на что попало и к чему угодно применимую, а направленную всем строем души своей на подвижничество в добре, жизнь, основанную не на дежурном, а постоянно справляемом долге перед другими. Это гуманизм не призыва, а отзыва, по природе своей лишенный показного дела и громкогоговoreния.

Добиваться, чтобы гуманизм из понятия общего стал понятием частным и конкретным, стал практическим и

широким деянием,— вот что от нас сегодня требуется.

Совесть... Сейчас считается едва ли не дурным тоном, если наши герои в книгах принимаются рассуждать о совести. И в этом, как ни парадоксально, есть своя правда: хватит переливать из пустого в порожнее. Совесть должна быть качеством воплощенным, живым, иметь определенный облик, а не общее выражение, перелицованное на тысячу раз. Из общего и пустынного своего состояния и неясного далека ее необходимо переводить в людей, жизненные правила которых составлялись ею от начала и до конца,— с теми неизбежными мучениями, которые только она одна и способна доставлять. Идеальных людей не бывает, все мы сотканы из множеств и противоречий; корень слова «совесть» — «весть», та весть, тот голос, который подается в нас правым человеком, имеющим слабое выражение, но его-то и необходимо искать.

Гражданственность... Это великое и бесценное понятие мы мало-помалу низвели до демагогической приставки, произносимой тренированным голосом. Не тот гражданин, кто требовательно и громко заявляет об обязанностях члена общества, иной раз по присловию: прокукарекал, а там хоть не рассветай, а тот гражданин, кто исполнение этих обязанностей соотносит с родовым путем человека и его назначением на земле. Гражданин рождает и воспитывает правое дело и уверенность в нем.

Патриотизм... Вот слово, которое представляется мне всеобъемлющим, и если не спасительным, то в огромном клубке наших нравственных и духовных проблем тем узлом, который легче всего поддается распутыванию. С него и надо бы начинать. За ним стоит все: и совесть, и долг, и истина, и добро, и вера, и личность, и гражданин, и многое другое. Считаю нужным оговориться: патриотизм — это не любовь к идее, а любовь к отчизне, к родной земле, верность ее заветам, почита-

ние праха и слова ее, страдание за все ее страдания и вера в ее очистительный исход. Будет в нас все это — тверже будет и идея, с которой согласится душа. В определенном смысле художник в своих исканиях и метаниях может позволить себе все что угодно, кроме одного: равнодушия к родине и небрежения к ее святыням. Без чувства неизбывной и кровной связи со своей землей и ее историей художника не существует, просто как житель в определенном географическом месте и просто как прохожий во времени он ничто. Нет, не ничто, а то как раз, что при таланте создает дурное направление, а без таланта скатывается к творческой мстительности. И если Бунин более тридцати лет прожил на чужбине, продолжая работать, то и Россию продолжал он любить за многие тысячи тех, кто не любил и пытался разрушить ее здесь.

Мировоззрение художника — это, прежде всего, Родина, ее судьба, ее правосостояние и благосостояние. И пусть не покажется вам, что этот взор уперт в ноги, а этот мир узок и замкнут. За ними скрывается слишком многое, и в том числе подлинное уважение к другим народам и странам, овладение их культурой и житейским опытом. Не познав себя, другого не познаешь. Как много всяких разных напастей незваными и непрошеными явилось к нам тут же, как только сочли мы, что плодородный слой России — это нажитое лишь нами. Нет, без тысячелетней толщи нам не обойтись, и не по-хозяйски было бы обходиться, если она у нас есть. Кверху корнем только сажа в трубе растет.

Это и должны ясно представлять все мы, рассчитывающие не просто на успех, а на благотворное действие своей работы.



ВОПРОСЫ, ВОПРОСЫ...

Что такое вообще совесть? Вопрос не праздный; часто употребляя это слово и часто пользуясь этим понятием, мы настолько свыклись, с одной стороны, с его недостигаемостью и настолько, с другой стороны, приспособили его для своих нужд, что и в том и другом случаях оно оказалось далеко от своей истинной сути. Совесть в отношении к обществу — это основная духовная задача и основная нравственная норма, которые созданы опытом всех предыдущих поколений и вверены нам для выполнения и возможного совершенствования. Иными словами говоря, совесть — это живое предчувствие и предсказание совершенного человека и совершенного общества, к которым человечество и держит путь, и неразрывная связь всех без исключения поколений — прошлых и будущих. В отношении к каждому из нас — это контрольное дыхание, или, лучше сказать, контрольное движение в нас общечеловеческой идеи. Мы способны из каких-то своих практических целей объявить, что совесть ныне не то, что всегда было, и общим мнением сместить ее вправо или влево, но истинное ее положение и истинная ее сущность от этого не изменятся и наши поправки пойдут только во вред нам. Кто-то из нас способен и вовсе отказаться жить по законам совести, соблазненный не считаться с тем, что не имеет конкретной грубой силы, однако, он должен знать, что, как заложенная в нем обязательная для исполнения норма, она не простит небрежения собой и непременно взыщет за это. Рано или поздно, но взыщет. Это абстрактное, на наш взгляд, понятие обладает настолько очевид-

ной реальной силой, что странно, почему человек до сих пор упрямо старается не замечать ее.

Под совестью народной слодует, очевидно, понимать выражение совести неискривленной, здоровой, какой она и должна быть.

Писателю в наше время ни к чему говорить, что хорошо и что плохо, это знают и без него. Это все равно, что человеку с высшим образованием показывать, где лево и где право. Конец XX века для человечества — само по себе уже всеобщее высшее образование, когда основы гуманности должны существовать у нас в плоти и крови. Они, надо полагать, и существуют, но... Споткнувшись об это «но», о нем можно рассуждать много, и все-таки не дело писателю стоять регулировщиком на перекрестке, где люди сознательно нарушают правила движения.

Писатель вправе ставить перед собой более сложные вопросы и говорить об истинном и ложном, о вечном и преходящем, о подлинном и подменном в жизни общества, он обязан знать и указывать на ценности, которые ни при каких условиях не должны быть пересматриваемы как непеременимое и выверенное условие правильного общественного развития. На то он и писатель, чтобы видеть сегодняшний день в ряду полного времени и понимать сегодняшнюю жизнь в ряду национального и общечеловеческого движения к своим идеалам.

* * *

Думаю, что мудрствовать особо над способами соотнесения локального и глобального в литературе не стоит, оно должно происходить само собой — от чувства человека и мира в писателе, оттого, насколько верно представляет он место мира в человеке и место и возможности человека в мире. Да, мир стал теснее и человек стал опасней, и не только в большом, политическом

смысле, но и в смысле житейском, обыденном, и с этими изменениями, хочешь не хочешь, приходится считаться, когда садишься за книгу и намечаешь тот круг обстоятельств и доказательств, в котором станут действовать твои герои. И все-таки, считаясь с ними, принимая и передавая тревоги мира, не следует, мне кажется, искать новые, более высокие точки наблюдения, откуда был бы виден весь мир, а лучше по-прежнему двигаться вслед за человеком — за человеком не как гражданином вселенной, а как жителем твоей родной земли. В литературе мир сходится в человеке. Все лучшие произведения и последних десятилетий, и последних лет, не говоря уже о старых временах, строились не по законам центробежной, а по законам центростремительной силы. В наше время атрофированных слов и чувств тем более важно отыскать такие слова и такие чувства, которые были бы услышаны душой и сердцем. Нынче человек тем и отличается, что он не хочет слышать ничего громкого, не хочет понимать ничего всеобщего, а отзывается лишь искренности, истине и точному названию, он все больше и больше уходит в себя, и достучаться до него можно, лишь вызывая сочувствие и сострадание.

Внешний мир за последние сто лет изменился, пожалуй, больше, чем за предыдущие пятьсот, но, высказанный сто лет назад в «Братьях Карамазовых» словом художественный центр духовной и нравственной тяжести человека не только ныне не устарел в своих основных понятиях, но стал еще актуальнее. А ведь действие в этом романе происходит, как мы помним, всего лишь в маленьком провинциальном городке.

После Достоевского открытие человеческой души приостановилось. И не потому, что оно состоялось полностью и больше сказать о ней нечего. Глубины ее до сих пор остаются темными и неизвестными, и даже то, что сказал о ней Достоевский, в немалой степени теперь забыто. Мол, не тот человек, не та душа. Но именно это

обстоятельство, что человек изменился, и должно бы заставить нас вслед за причинами внешнего мира (которым причина опять-таки человек) искать причины в нем самом. Чем меньше остается человеку пространства во внешнем мире, тем больше он будет стараться раздвинуть мир собственный, заключенный внутри.

В литературе всякая широта — в глубине, в познании человека во всех его мирах и связях, но в познании человека как цели всего сущего, а не как вспомогательного средства.

* * *

Вернуться к тому, что уже утеряно, нельзя. Это не самолет в воздухе развернуть, чтобы воротиться за забытым багажом, а мы и на это при нашей практичности и занятости не способны. Представьте себе такую ситуацию: лечу я из Иркутска в Москву и вдруг на половине пути выясняется, что все мы, пассажиры авиалайнера, оставили в Иркутске нечто, без чего поезда каждого из нас окажется не только бесполезной, но и принесет нам немалый вред. Вернемся мы за этим «нечто»? Нет, не вернемся. Мы и психологию свою подчинили тому, что для нас важна устремленность вперед и только вперед, а во имя чего — дело десятое.

Не стоит обольщаться — нам уже не вернуть многие добрые старые традиции, которыми жили наши деды и прадеды. Они безвозвратно канули вместе с неторопливыми и основательными временами предков. Теперь речь о том, чтобы сохранить оставшиеся, не отказываться от них с той же легкостью и беспшибашностью, как это было до недавних пор. Искать, или, выражаясь языком эпохи, выковывать в противовес старой какую-то новую мораль — значит оправдывать свое отступление от веками проверенных и освященных нравственных требований к живущим. Это в сути своей неизбежные законы, и не резон нам, если мы не собираемся со-

знательно нарушать собою связь времен, отрешиваться от них.

Разумеется, задачи и выводы так называемой «деревенской» литературы во всей совокупности своей гораздо сложнее, и в нескольких словах их не объяснить. Уверен, что «деревенская проза» как она есть сейчас, в такой литературе, как российская с ее традиционной человечностью, болью и совестливостью, не могла в 70-х годах не появиться и не выйти вперед. Пожалуй, не писатели создавали эту прозу, а литература, как процесс живой и чуткий, волей своей создавала писателей для этой прозы, необходимость и важность которой было предопределено течением, а в данном случае даже и не течением, а ускорением жизни. То, что вековой уклад деревни оказался полностью нарушенным и вместе с ним оказался нарушенным и ее моральный климат (а деревня издавна была хранительницей моральных устоев народа), не могло, разумеется, не отразиться в литературе, которая всегда очень верно улавливает подобные изменения. Это не противопоставление города деревне и не попытки сохранить старую, отжившую свою деревню, как слишком грубо и упрощенно толковала иной раз «деревенскую прозу» критика, — суть в другом: когда у города был столь надежный нравственный тыл, как деревня, легче было существовать и ему, городу. Писатели этого направления решали не сторонние и не какие-то узкие, областнические, а общечеловеческие проблемы, важные как для города, так и для деревни, как для пожилых людей, так и для молодых, — проблемы не надуманные, а способные давать объяснение многим социальным явлениям. Другими словами — «деревенская» литература оказалась способной точно находить нервные окончания на том огромном теле, который мы называем «народ».

Родину, как и родителей, не выбирают, она дается нам вместе с рождением и впитывается с детством. Для каждого из нас это центр Земли, независимо от того, большой ли это город или маленький поселок где-нибудь в тундре. С годами, становясь взрослей и обживая свою судьбу, мы присоединяем к этому центру все новые и новые края, можем сменить место жительства и переехать в провинцию; как ни парадоксально, «провинцией» в этом случае способен оказаться и большой город, но центр по-прежнему там, на нашей «малой» родине. Ее сменить нельзя.

«Малая» родина дает нам гораздо больше, чем мы в состоянии осознать. Человеческие наши качества, вынесенные из детства и юности, надо делить пополам: половина от родителей и половина от взрастившей нас земли. Она способна исправить ошибки родительского воспитания. Первые и самые прочные представления о добре и зле, о красоте и уродстве мы выносим из нее и всю жизнь затем соотносим с этими изначальными образами и понятиями. Природа родного края отчеканивается в наших душах навеки. Я, например, когда я испытываю нечто вроде молитвы, то вижу себя на берегу старой Ангары, которой теперь нет, возле моей родной Аталанки, острова напротив и заходящее за другой берег солнце. Немало в жизни повидал я всяких красот, рукотворных и нерукотворных, но и умирать буду с этой картиной, дороже и ближе которой для меня ничего нет. Я верю, что и в моем писательском деле она сыграла не последнюю роль: когда-то в неотмеченную минуту вышел я к Ангаре и обомлел — и от вошедшей в меня красоты обомлел, а также от явившегося из нее сознательного и материального чувства родины. Художником человек становится лишь тогда, когда свои собственные чувства он соединяет с общим народным и природным

чувствовали, в которые я верю не меньше, чем в совесть и истину, и в которых они, быть может, и проживают.

Я это еще и к тому говорю, что разрушенная отнюдь не сыновьим хозяйничанием родина приводит и к духовному и к физическому разрушению человека. Это вещи одного порядка.

Конечно, «малой» родиной может быть и большой город, вернее какой-то милый сердцу район города. У Булата Окуджавы это старый Арбат, у Юрия Нагибина Армянский переулок. А вспомним Мандельштама:

В Петербурге мы сойдемся снова,
Будто солнце мы похоронили в нем.

Черты «малой» родины и дух ее, хоть в городе она, хоть в деревне, в творчестве писателя заметны всегда. Потому что «малая» родина — это не только природа в деревне и история в городе, но еще и человеческие взаимоотношения, уклад жизни и традиции живущих. Это и язык, и вера, и определенные склонности, вынесенные из самой земли вместе с ее солью. Это «родимые» пятна каждого человека, а в писателе они видны в особенности.

И все же в чем отличия писателя, вышедшего из деревни, от городского писателя? Думаю, в более чувственном и менее рационалистическом восприятии жизни. В статье о Чехове Юрий Нагибин, сравнивая Чехова с Буниным, говорит, что почти все нынешние «деревенщики» вышли из Бунина. Я с удовольствием соглашусь, что они одного поля ягода, но не потому, что истоком «деревенщиков» был Бунин, а потому, что истоком всех их вместе, в том числе и Бунина, была деревня с ее сильным природным и традиционным влиянием.

* * *

Сейчас пришло время, скажем так: давно пришло и как бы не прошло с окончательно необратимым резуль-

татом, когда не обойтись без массовой работы по экологическому воспитанию вообще человека, где бы, в каком краю он ни жил и чем бы ни занимался. Эта работа должна охватывать все сферы деятельности человека от школьного образования, от привития начальной любви к животным, деревьям и травам до министерского рукоположения, когда лицо, вступающее в высокую хозяйственную должность, давало бы клятву ни на минуту не забывать об убережении родной природы. Безнравственный министр, безнравственный ученый, безнравственный писатель — зло не меньшее, а может быть, и большее, чем землетрясение или наводнение, поскольку оно отличается не разовым, а долговременным и нарастающим действием.

Человек незаметно сдвинулся со многих нравственных оснований, и одно из них — подмена ценностей. Нас уверяют: строительство природовредных предприятий вызвано необходимостью, и мы со вздохом соглашаемся: что ж делать, коли так... Считается, что другого выхода нет, что это высокая, крайняя необходимость, от которой зависит, быть нам или не быть. Но в том-то и штука, однако, что самая высокая и крайняя необходимость, от которой именно зависит, быть нам или не быть, — это сохранение жизнедающих воды, воздуха и земли. Числитель, первополагающая величина, перешел у нас в знаменатель, стал второстепенной, и мы приняли это как должное. Фактор обеспечения жизни сделался зависимым от фактора повреждения жизни. Очевидно, эта перестановка совершена была не сознательно, но она тем не менее произошла, и наша психология, наш взгляд на вещи с нею смирились.

Говоря о Сибири, начинать надо с того, что она нуждается в сибиряке. Это проблема проблем дальнейшего освоения нашего края. Сибирь нуждается в человеке, который бы ее любил и оставил здесь свой род. Требуется, во-первых, чтобы коренной сибиряк не уезжал из

Сибири, и, во-вторых, чтобы Сибирь прибавлялась не случайным приискательским людом, озабоченным приисканием удачи и денег или движимый короткими и неспелыми романтическими побуждениями. Свои уезжают не от трудностей, а оттого, что качество жизни здесь ниже, чем в национальных республиках и некоторых других областях России. До тех пор, пока мы станем закрывать на это глаза, продолжаться будет отток коренного сибиряка, предпочитающего обживать новую, но надежную, не поврежденную поспешным переделом землю. Из всех понятий, составляющих качество жизни, быть может, самое важное — уверенность в завтрашнем дне. Парадокс: в Сибири, которую постоянно называют краем будущего, утвердилось практика устраивать жизнь наспех и как бы ненадолго, без обременительной вечности. Взять тот же Братск, где не промышленность привязывалась к городу, а город к промышленности, не станок к человеку, а человек к станку и конвейеру.

И там, где прежде станок, а потом человек, духовно развитая личность не согласится со своей подчиненностью.

Вот видите: на исходе XX века приходится рассуждать о смысле оседлости в Сибири не малых народностей, а равновеликого народа.

С 60-х годов прошлого столетия, после освободительной крестьянской реформы и до начала первой мировой войны, в Сибирь переехали из западных областей многие сотни тысяч людей. Сейчас их не отличить от более ранних насельников, те и другие сибиряки. Им помогло стать сибиряками то, что они ехали сюда на постоянную жизнь. Временные в последние десятилетия вместе с результатом видимого полезного труда, оставшегося в плотинах гидроэлектростанций и заводских корпусах, в линиях железных дорог и нефтепроводов, оставили и другие, невидимые, но ощутимые плоды: дух временности и экспедиционности. Он растекся по Сибири так

широко, что теперь и не понять, где искать его концы и где начала. Он ведет линии на ватманских листах в проситных институтах, расписывает капиталовложения — сколько на промышленность и сколько на детские сады и библиотеки, отдает сибирскую тайгу в руки самозаготовителей, которые хозяйничают в ней как варвары, отнимает у полей землю, а у рек извечные пути.

Это почти заколдованный круг: качество жизни не поднимется, пока над Сибирью будет витать этот дух, а он будет витать, пока не изменится к ней отношение. И все-таки, надо полагать, это не окончательно замкнутый круг, и выход из него искать придется.

* * *

Я решительно отказываюсь соглашаться с этим понятием: «неперспективная» деревня. Что такое «неперспективная»? Если там живут люди — там должен быть магазин для обеспечения их всем необходимым; если есть дети — должна быть школа. Вокруг земля, пашни — они будут трудиться на этой земле, выращивать хлеб, содержать скот. Если даже в деревне осталось десять-пятнадцать семей, и в этом случае перспективу ее пужно видеть в увеличении населения, в возрождении жизни, а не в ее уничтожении.

«Неперспективная» появилось из неверного подхода: как сподручней, легче хозяйничать, а не как лучше обихаживать землю и проявлять заботу о людях. Люди оказались средством экономики, а не наоборот. Вот и сдвинули человека, как предмет, с насиженного места, откуда он, не останавливаясь на промежуточной станции, справедливо сочтя ее ненадежной, сразу ушел на асфальт — попробуйте вернуть его обратно на осиротевшую землю. Теперь выясняется, что и с экономической точки зрения убирать «неперспективную» было невы-

годно, что и здесь наломали дров. Спихватились: надо было осторожней! О чем же вы, умные головы, думали раньше, почему из ваших сердец, как неперспективное, оказалось изъято чувство отчизны, складывающееся в том числе и из таких вот маленьких деревень?!

* * *

В самих наших разногласиях по экологическим вопросам, равно как и по вопросам культурно-исторического наследия, ничего особенного нет. Их можно бы считать естественными — разные взгляды на эти вещи были и будут, а споры должны приводить к истине, если бы наши противники проявляли уважение к истине. Однако они чаще прибегают к уловкам, подтасовкам, силовым приемам, а стало быть, к диктату. Больше всего пугает, что, пользуясь одним языком, мы перестаем совершенно понимать друг друга. Дело не в том, что нравственность и экономика имеют разные словари, они должны бы сходиться в утверждающемся сейчас понятии нравственности экономики; суть, вероятно, в другом — в разнотипности человека. Произошло неожиданное, но вполне закономерное явление: научно-техническая революция свершилась у нас на слабой, полупогребенной духовно-исторической почве, в беспамятном энтузиазме — отсюда и явление людей беспородных, потерявших национальные и отеческие корни, легких и решительных именно своей неукорененностью и разъединенностью с народом. Это безотцовщина особого рода, опасная своей вычислительной моралью, а по способу хозяйствования это новое купечество, вольно распоряжающееся национальными богатствами во имя сегодняшнего оборота.

Поэтому вести спор с такими людьми, как понимаете, трудно. Что для нас с вами свято и вечно, для них пустой звук. И живое чувство Родины и ее истинных пот-

ребностей в них или приглушено или задвинуто в иные понятия.

Кстати, литература этот тип человека пока не раскрыла. Она лишь заметила его, показала малую часть его действий и словно бы остановилась в оцепенении: не может быть! Есть, да еще как есть! И, пока мы боязливо рассматривали его, он успел продвинуться далеко и установиться прочно, став государственной величиной.

Вот и поговори с таким о красоте Байкала и его чистых водах. Он уже не в состоянии нас понять, он человек другого духовного вещества, вроде инопланетянина, смотрящего на нашу землю как на отсек космического корабля, замусоренный остатками доисторического существования. Ему интересней заниматься возрождением жизни на Марсе, чем сохранением ее на Земле.

* * *

Сейчас всех спрашивают о молодежи: как она, какой она нам кажется? И уже одно это говорит о том, что кажется она нам не очень. Отвечая на эти вопросы, одни из нас приводят слова древних, сказанные словно бы сегодня, — настолько совпадают они с нашим мнением, подтверждая тем самым, что старшим поколениям всегда, во все времена было свойственно жаловаться на молодежь. Другие, отвечая, мнутя: мол, у нас в общем и целом молодежь замечательная, но определенная часть ее, как это всегда и водилось, подвержена пережиткам и недостаткам.

Дело как раз в том и заключается, что эта «определенная часть» все больше ставит нас в тупик: не должно быть, а есть; должна по всем законам и канонам уменьшаться, а она увеличивается, растет без всяких видимых причин; «пережитки» и «недостатки» превращаются, с одной стороны, в столь страшные и не единично случающиеся преступления, которые невозможно

понять никакими доводами человеческого рассудка, а с другой стороны, ведут к пассивности, равнодушию, черствости и всяческой неразборчивости. И это уже отнюдь не «пережитки», а «нажитки».

Не надо быть специалистом по этим проблемам, чтобы понимать, что молодежь у нас ровно такая, какой она и должна быть, — не лучше и не хуже. И «неча на зеркало пенять». Мы не отдавали ее на воспитание к чужому дяде, а воспитывали сами. Она во всех своих качествах произошла из нас, из нашего отношения как к духовным, как к вещественным ценностям, так и друг к другу. Из нашего отношения к своим святыням, к своей земле. В каждом городе (или почти в каждом) новые стадионы и парки построены и разбиты на месте кладбищ, и молодежь вынуждена отплясывать и кувыряться, гонять мяч под рев многотысячной взбудораженной толпы на костях своих предков, в том числе именитых и знаменитых граждан. Сколько угодно проводите вы потом с нею воспитательных бесед — своего рода «пепел Клааса» уже стучит в ее сердцах, она знает уже на практике, что такое вседозволенность. В деревне Дворцы культуры возводятся не на могилах, но и там сплошь и рядом наше слово расходится с делом, и особенно в отношении к земле, а значит, и ко всем тем ценностям, которыми извечно жил хлебороб. Молодежь, как это и должно быть, чрезмерно чувствительна ко всякого рода неискренности и фальши, к не нашедшим необходимого исправления общественным и нравственным перекосам, которыми никак не обеднеет наша жизнь, к пустозвонству и очковитирательству, и тем страшней и непоправимей трагедия молодой неокрепшей души, что она происходит скрыто и, казалось бы, безболезненно. Отсюда и повороты души: у одних — в улицу, у других — в себя, у одних — в насилие, переходящее границы закона, у других — во вседозволенность и нравственное разбойство в границах писанных законов.

И верно, все меньше поэзии самого детства, всего того, что связано с устным, бытовавшим из поколения в поколение и бывшим частью жизни фольклором: с повериями, сказками, семейными преданиями, вечерними рассказами, бывальщинами и небылицами, воспитывающими торжественное, чуткое и благоговейное отношение к миру. Представьте себе, что Пушкин в детстве слушал бы не сказки Арины Родионовны, а песни Аллы Пугачевой — да разве мог бы он стать Пушкиным! Вероятней всего, он стал бы Дантесом. Мы отняли у ребенка тайну, с самых младых лет все объяснив ему и показав как в нем самом, так и вокруг него, и сделали это торопливо и грубо, не посчитавшись с возрастом, который требует самостоятельного и опытного познания; мы сняли с мира чудо бытия в нем, а значит, и чудо своего собственного бытия, у нас ребенок смотрит на вечернюю звезду с мыслью, за какое время можно до нее долететь; мы обобществили и механизировали детство, пустили его на поточно-воспитательный скоростной метод и убедили детей, что души нет и быть не может и, стало быть, все, что предназначалось для нее веками в мире — сплошная чепуха. И что же удивляться после этого, что молодое поколение у нас лишено идеализма, чувственности, мечтательности, без коих не может быть мягкого и образованного сердца, и заражено практицизмом. Любой материалист, и первые шаги начинающий с материализма, дальше грубости и вульгарности не пойдут.

Человек с детства должен чувствовать ответственность за свою жизнь — она подменена сейчас казенным воспитанием и казенной ответственностью. И только тогда он станет относиться к человеческой жизни как общественной ценности, когда почувствует и проявит свою индивидуальность.

Я не склонен думать, что у нас замечательная молодежь, да только вот с одним маленьким и досадным

«но». Это «но» разрослось до таких размеров, что для обозначения его двух букв давно недостаточно. У нас молодежь хуже, чем нужно и можно ей быть. Но я не склонен и думать, что с этим уже ничего не поделать, и пусть оно идет, как идет, и к чему-нибудь придет само собой. Ни к чему хорошему не придет. С молодежью, как и со всем народом, необходим откровенный, прямой разговор, и разговор не ради очередной кампании, а во имя интересов общего дела и исправления нашего нелегкого духовного и нравственного положения, когда без обиняков будет сказано: мы заехали не совсем туда, куда собирались,— давайте все вместе будем поворачивать. В этом общем и выверенном движении молодежь с ее отзывчивостью, свежими силами и свежим взглядом на жизнь, с ее энтузиазмом и смелостью, бесспорно, окажется впереди.

Как оно уже и было не однажды в нашей истории.

* * *

Что такое — быть современным? Я человек традиционных устоявшихся взглядов на жизнь и искусство, и для меня быть современным — значит понимать в своих днях меру сезонного и вечного, случайного и закономерного. Отличить одно от другого не так уж и трудно, если знать хорошо прошлое своей страны и со вниманием всматриваться в настоящее. Сезонное, временное всегда заявляет о себе слишком настойчиво и громко, оно торопливо и эмоционально; вечное, зная себе цену, спокойно и говорит известными словами. Разобравшись, что конъюнктура и что нет, что с годами и с опытом исчезнет и что останется, человеку легче принять сознательное решение в выборе своего жизненного пути и остаться личностью. Быть современным — не ошибиться, не отдать свое время и свою жизнь недолговечным, а то и просто вредным влияниям.

О языке. Пока громяхают дискуссии о языке, о том, пущать или не пущать народный говор в литературу и жизнь, народ говорит. И спасибо ему, что, не зная о дискуссиях и не читая книг о народной якобы жизни, написанных словом, близким к эсперанто, он говорит, сохраняя свой великий и могучий, точный и меткий, глубокий и крепкий, не требующий пояснений к слову язык. Где еще, в каком другом языке из одной фразы может составиться целая история и целая поэма! Только человек, потерявший родовую память, способен уверять, что из рассветных и исторических глубин нации вышедшее слово должно в глубинах и оставаться и не претендовать на литературную правомочность. По той утверждающейся причине, что оно сделалось непонятным. Непонятно — пойми, найди его значение, разыщи корни, окунись в омутную родниковую стихию, и, если даже покажется тебе, что слово затянато плесенью, омой его, поставь туда, куда оно просится, и ты увидишь, как оно заиграет и заговорит. Почему большинство людей со здоровым, ненарушенным слухом должно подстраиваться под глухое меньшинство, пользующееся отжатым и обескровленным речью и считающее ее современной нормой?

Само собой разумеется, что диалектному, народному слову нужно знать место и меру. Кто с этим спорит — всякое лыко в строку. Да ведь и много чему на свете нужно знать место и меру — почему же это место и эта мера, уже и немало обуженные, уже принятые читателем как художественная необходимость, как безусловный знак естественного поведения героев, продолжают вызывать спор? Почему подзабытое «культурной средой», но живое, существующее в живом значении, родное слово — сорняк и отброс, а заимствованные, возвращенные на академических гербицидах, нововведения —

законные граждане русского языка, устраивающие ему чистку? Не потому ли, что поход на русский язык, давно начатый с чужой стороны, быть может, невольно принял теперь уже свой человек, ищущий в себе доказательств какой-то особой культуры? Как иначе объяснить, зачем, по какой-такой нужде вместо привычного «продления» взяли и приучили мы себя к «пролонгации», а вместо «состава» к «контингенту», окопавшемуся до «контингентированного» и «контингентироваться»? Красивей они звучат, больше дают, глубже падают? Несть числа подобным примерам; я усилием обрываю себя, чтобы не завестись и не продолжить на многие страницы их перечисление, которые одно чудесней другого. Полистайте последние издания орфографического словаря нашего языка — сколько там осталось русских слов?! Не в том ли и разгадка, что родовое слово пашет, а безродное и беспородное — порожняком бренчит, и мы немало уже подпорчены таким холостым, звенькающим словом, которым можно ничего не сказать. Прислушайтесь: как зарывается в почву, глухо пропоров вековую удобрину, и с какой добычей является одно и как, будто от каменной тверди, отскакивает другое. Во многих европейских (и не только европейских) странах в последнее время создаются общества и принимаются законы по охране собственного языка от «оккупантов», а мы то ли от излишней доверчивости, то ли от неразборчивости продолжаем с распростертыми объятиями принимать все, что нам подсовывают.

Конечно, массовые средства информации, и особенно телевидение, не говорящие, а вещающие, свое дело делают; растекшееся по поверхности образование — тоже не слуга русскому языку. Но вот в чем, казалось бы, парадокс, а в действительности закон языка: чем больше опасность его растирания, заваливания шлаковыми образованиями, тем пристальней интерес к самобытному народному слову. Выходящий сейчас многотомный

«Словарь русских народных говоров» днем с огнем не сыскать, областные словари парасхват. А появляется их немало. Московский университет издает под редакцией О. Г. Гецовой «Архангельский областной словарь», четыре первые книжки которого не охватили и трех букв алфавита; Томский университет осуществил редчайшие и бесценные издания «Словаря русских старожильческих городов среднего Приобья» и «Словаря просторечий русских говоров Приобья».

А «Словарь русских говоров Забайкалья»! А «Словарь русских говоров Новосибирской области»! И так далее, и так далее, о чем я знаю и не знаю. В нас не одна лишь ностальгия по отговорившему живет, когда мы читаем и изучаем эти словари, — к нам вместе с родovým языком является чувство обретенности и глубины. Словно бы онемевшие связи восстанавливаются от живой воды и добавляются к действующим. Словно из дальних скитаний возвращаешься домой и этим словом тебе указывают дорогу. Словно ряд за рядом расшифровываешь заложенные в тебе знаки, чтобы открылось наконец, кто ты и зачем ты на белом свете есть.

Язык вмещает в себе все: и характер народный, и опыт, и историю, и философию, и верования, и чаяния, и тяготы в долгом пути. И духовное здоровье нации, нравственное ее состояние прежде всего замечаются народным языком. Все это мы вроде знаем. Но... очередная дискуссия и очередное, через умную городьбу слов, поднырывающее внушение: сколько можно говорить и писать по старинке! на дворе не XVII, а XX век.

А не худо бы и не лишне и до XXX, до XL сохранить нам русский язык. Пока жив язык — жива и нация.

* * *

Публицистикой сейчас писатель не только не должен пренебрегать, он, мне кажется, не может без нее

обходиться по велению собственной совести. Она — это взволнованное, горячее, требующее отклика и вмешательства слово. Слово, которое нельзя было не сказать. Мне бы, может, куда приятнее было поместить своего героя в старинный сибирский город и прогуливаться вместе с ним по расписным и заповедным, нигде в свете больше не встречающимся улочкам, вызывающим чувство родовой глубины и неподдельной гордости за свой народ. Однако, чтобы прогуливаться по таким улочкам, их надо сберечь. Вот и приходится переходить на голый, не приукрашенный никакой литературной образностью язык и взывать к благоразумию и справедливости.

Из огромной проблематики, принесенной нам жизнью в последние десятилетия и годы, есть три основных вопроса, самые главные, на которых сейчас стоит земля. И все три — охранные. Пришло время прежде приумножения говорить, как о главном факторе продолжения человеческой жизни, о сбережении. Это вопросы сохранения мира, сохранения природы и сохранения памяти. Их можно и нужно ставить в один ряд, потому что от каждого из них последовательно зависит все наше отнюдь не отдаленное будущее. Если мы сегодня отстоим мир и добьемся права на завтрашний день, послезавтра мы можем погибнуть от отравленных воздуха, воды и земли. Если мы сумеем и природу отстоять — через два дня новая опасность, не менее трагическая, — свихнуться и погибнуть от беспамятства и безразличия, от потери чувства самосохранения. У нас нет другого выхода, если мы собираемся быть и жить, как бороться одновременно и за завтрашний день, и за послезавтрашний, и за тот, когда станут жить наши внуки.

И вот попробуйте в этих обстоятельствах умыть руки и сослаться на то, что вам некогда, что вы заняты «вечным» словом, которое станут читать не только современники, но и потомки.

Может ведь так случиться, что некому будет читать.

Считаю, что писатель не имеет права оставаться в стороне от общего движения за сохранение мира. Его совесть, если это истинный писатель, не позволит ему сослаться ни на какие причины личного характера или законы мировой предопределенности. Живое обязано бороться за жизнь. Человеческий прогресс, который оказался сейчас в кризисном положении, необходимо вернуть на ту линию существования, откуда он может продолжаться как прогресс, а не как случайное и опасное движение.

Единственно доступная писателю сила — слово, но это сила немалая. Мне кажется, писатель делает ошибку, когда, размышляя о мире, переходит на политическую терминологию. В людях она давно вызывает аллергию и не достает до сердца. Писательское слово должно быть тем же неизменным инструментом духовной общности с читателем, каким он пользуется в художественном произведении. Замечали ли вы, что мы уже не в состоянии ужасаться тем огромным цифрам, которые указывают на мощь накопленного оружия: они давным-давно переросли черту, способную воздействовать на наши чувства, и два раза или семнадцать раз этим оружием можно уничтожить Землю, нам в сущности все равно, если после первого краха ее уже некому будет уничтожать ни в пятый, ни в семнадцатый раз. Но тревога и боль, искренность и недоумение, с которыми мы скажем о готовящейся нашим детям и внукам судьбе, поднимут в человеке столь же искренний протест и заставят его действовать.

Чтобы писательское слово стало мобилизующим, оно должно не небеса потрясать, а говорить о подвергающихся опасности земных ценностях. Наши обращения к американскому президенту до него, я думаю, не доходят, но когда мы обращаемся к себе и передаем собст-

венную боль, это может произвести сильное впечатление.

* * *

Верю, что наступит такое время, и оно не за горами, когда люди вынуждены будут согласиться, что безудержный и безоглядный технический прогресс давно уже не служит человеку и что он не есть прогресс. Едва ли это произойдет по их доброй воле — скорее, их остановит у последней черты пропасть под колесами и на дне ее пустыня вместо лесов, лугов и озер. Тогда, собравшись лучшими умами, люди решат, что полезно из созданного нами и ими и что вредно, и ненужное уничтожат. Вглядевшись внимательно друг в друга, они откроют в себе руки, ноги и голову и найдут им работу, которая будет способствовать физическому и духовному совершенствованию человека, а не порабощению его.

Верю, что русские останутся русскими, татары татарами, а французы французами, что, будучи интернационалистами, мы сохраним в себе национальные начала и что и через сто лет станем ходить на поклонение Полю Куликову и Бородинскому Полю, к Пушкину и Достоевскому, к Шевченко и Руставели.

Верю в конечный светлый смысл нашего существования на земле, в то, что жизнью своей мы удобрим какие-то великие цели.

Верю в добро, побеждающее зло, в постепенное накопление и объединение добра, в то, что оно свободно будет избрано всеми...



ВРЕМЯ И БРЕМЯ ТРЕВОГ*

Двадцать лет назад Юрий Казаков написал свою известную статью «О мужестве писателя», в которой говорил о необходимости постоянного, без отпусков и выходных, мужества, требующегося от человека нашей профессии. Юрий Казаков заговорил об этом в свое время не затем, чтобы восславить себя и своих товарищей и выпросить у читателя порцию добавочного, недополученного, полагающегося за труды уважения, а затем, чтобы напомнить писателю его непростую, особую роль в обществе и тяжелейшую ответственность перед литературой. И я сейчас решаюсь продолжить этот разговор не для того, чтобы воскликнуть: ах, какие мы с вами мужественные люди! — нынче вообще жизнь требует от человека мужества, чтобы жить, — а для того я вслед за Казаковым примеряю на писателе середины 80-х годов сии благородные одежды, чтобы попытаться понять, что в нашей роли и что в нашей ответственности изменилось с 60-х годов, когда я и мои сверстники только-только пришли в литературу.

Сейчас так же, как и двадцать лет назад, писателю, прежде всего, требуется мужество один на один с собой, перед чистым листом бумаги. Труднее этих мучений и выше этого мужества ничего не бывает. Никто тут ему не помощник: ни друг, ни жена, ни успех, ни профессиональный навык. Во всяком другом деле мастерство, опыт — это уже половина дела, в нашем — нет. В нашем деле все написанные тобой и другими книги выступа-

* Выступление на VI съезде Союза писателей РСФСР.

ют против одной ненаписанной, против той, которую ты пишешь. Это, прежде всего, боязнь повторить других и себя, сказать по сказанному, открыть известное и открытое, невольно соскользнуть на те линии, образные, стилистические, языковые, проблемные и т. д., которые в литературе уже проведены. Чем больше создано писателем, тем труднее ему в каждой следующей работе.

Как чувствовал писатель свое бессилие перед белым листом, так он его и чувствует. И мужество его в том, чтобы обратить это бессилие в силу. Только сила, рожденная из сомнений и слабости, прошедшая весь мученический путь от рядовой до генеральской мысли, и способна, быть может, на реальное вспомоществование.

Но двадцать лет — это все-таки двадцать лет. Если принимать живущих за три поколения, за дедов, отцов и внуков, то за это время деды ушли, внуки стали отцами, а на смену ушедшим явилось новое поколение. И жизнь переместилась на один рубеж. Вместе с количественными ее изменениями произошли изменения и качественные. Читатель ныне не тот, что был двадцать лет назад. В литературе он ищет новые, не освоенные им духовные территории, и под нравственностью, о которой так печется литература, понимает не поведенческое движение со знаком плюс или минус, а нечто более пространное и глубокое, не вмещающееся в ранее отведенные для нее границы. Читатель чувствует, что если человек за минувшие двадцать лет стал лишь немногим чище, то в этом не только вина, но и беда человека, в котором не были разбужены лучшие, еще вовсе не открытые или отверженные стороны его природы, и что они, значит, должны быть разбужены теперь. Кому и открывать их, кому будить и подготавливать, как не искусству.

Чтобы явилась в герое богатая, активная и возбуждающая личность, а не набор позвякивающих в упаковке положительных качеств, никак не собирающихся в пример, чтобы личность эта осветилась привлекательной

владельчеством свершившегося человека, приходится сейчас автору попристальней и подальше смотреть, чего недоставало его герою и где, в каких пределах искать недостающее.

Нынче уже мало терпения и дара, мало чистых рук и добрых намерений — как никогда прежде, писателю необходимы гражданская стойкость и зрелость. Что тут, казалось бы, нового: гражданин в литераторе требовался всегда. Когда еще сказано: «поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Нового ничего не было бы, если бы нас удовлетворяло сложившееся, вернее, каким-то образом склонившееся представление о гражданине. Понятие в сущности остается неизменным: гражданин — это работник, деятель, радетель во благо Отечества, но сама деятельность, само радетельство понимается сегодня так широко и привольно, что принимает форму встречных потоков. Одна сторона смотрит на действия другой как на опасную устремленность временщиков-технохватов, путающих, подобно всем временщикам, общественное благо с поместным, вторая видит в предостережениях первой болезненную одышку интеллигентского консерватизма, боящегося свежего воздуха. В массовом же понимании гражданин — это преобразователь, переустроитель, натура, идущая без оглядки вперед и только вперед. Эти разные взгляды и этот главенствующий взгляд существуют и в литературе. В огромном большинстве книжная продукция видит свою задачу в том, чтобы воспитывать в своем Отечестве «человека со стороны», преобразователя его духа, традиций, памяти, культуры и земли.

Неверно, что литература знает лишь ставить вопросы, не отвечая на них, хотя ответы, быть может, и не обязательны, потому что нравственная постановка вопроса содержит в себе и нравственный ответ на него, а безнравственная постановка вопроса — безнравственный ответ. Однако в традициях российской словесности до-

говаривать до конца. «Деревенская» проза 60—70-х годов, как ни старались тыкать ее в вековую деревенскую грязь лицом, опасаясь, что она наследит этой грязью на полотно новой жизни — на асфальте, вернула необходимый долг родительской России не одной лишь поминной, но и живой благодарной памятью и показала, чем крепилась и что вынесла из глубин истории национальная наша душа, указала на духовные и нравственные ценности, которые, если мы собираемся и впредь оставаться народом, а не населением, не повредят нам и на асфальте. Доказательством того, что «деревенская» литература дала отнюдь не расплывчатый и не отговорчивый ответ, явилась последующая недавняя судьба старой деревни: во вред земле, от которой мы кормимся, ее сочли «неперспективной» и снесли с лица земли.

Огромное дело сделала «военная» литература. Ей, возможно, не удалось сказать полную правду о войне, но она сказала правду о человеке на войне и назвала силу, поддержавшую солдата в сверх и сверхчеловеческих испытаниях. Сила эта — Родина в ее людских судьбах и природном и историческом завете своей неприкосновенности. Картины родных мест в их вековых природных очертаниях были для воина с Волги и Ангары, с Днепра, Сухоны и Оби оружием ничуть не меньшим, чем боевое и идейное оружие. И давайте подумаем, удалось ли нам сохранить за собой это при родине живущее, родиной являющееся оружие, не рано ли и в качестве какого пережитка мы от него отказываемся?

Главное завоевание военной прозы и поэзии, как мне представляется, надо видеть в том, что души двадцати миллионов погибших в разных землях и странах из холодных погребений были возвращены нам для дальнейшего прохождения службы в своем отечестве.

Я говорю сейчас о «деревенском» и «военном» направлениях нашей литературы потому лишь, что все эти двадцать с лишним лет они шли рука об руку, плечо в

плечо, утверждая неотменяемые принципы физического и духовного благополучия общества. Это не значит, что их не утверждали другие направления советской литературы, литература в основных своих устремлениях — процесс единый, но едва ли всерьез можно оспорить, что наиболее страстными и искренними голосами в общем хоре, поющими к тому же на неиспорченном языке неиспорченной мелодией, были именно эти два голоса. Они сказали то, что требовалось прежде всего в эти двадцать лет сказать читателю. И, казалось нам, не опоздали со своим словом. По крайней мере, не чувствовалось трагического опоздания.

Но почему в таком случае, если литература не опоздала со своей проповедью и предостережением, не заметно нравственного очищения человека и оздоровления его духовного сознания? Почему? Можно, конечно, отговориться тем же, чем всегда оправдывалась литература: без нее, без ее стараний было бы хуже. И так оно, очевидно, и есть. Но литература перестала бы быть литературой, страдающей учительницей совести, если бы она утешилась подобным оправданием.

В 1963 году В. Чивилихин написал свое «Светлое око Сибири», с которого, как с набатного звона, предупреждающего о новой, неслыханной и невиданной доселе для Отечества опасности, потому что она исходила не извне, а изнутри, началась борьба, за Байкал. Примерно в то же время С. П. Залыгин чуть ли не в одиночку выступил против намечавшегося строительства Нижне-Обской ГЭС, которое затопило бы огромные пространства низменных и заболоченных земель на севере Западной Сибири. В защиту Байкала на партийном съезде выступил М. Шолохов. Но полностью отстоять Байкал тем не менее не удалось. Властное самолюбие технократов и беспринципность ученых, призванных для решающего мнения, одержали верх над здравым смыслом. Как водится, даны были обещания, которые по сей день оста-

лись невыполненными, а очистные сооружения лишь оттянули отравление Байкала, сейчас, спустя двадцать лет, это видно и неученым взглядом.

А С. П. Залыгин добился своего. В результате писаний, хождений, убеждений, логики художника и логики ученого ему удалось доказать несостоятельность проекта Нижне-Обской ГЭС и внушить всем нам надежду, что самоотверженная работа во имя отечества напрасной не бывает. Чего ему это стоило, знает один Залыгин. Его труды можно бы назвать подвигом, но мы привыкли к тому, что для подвига в качестве противной стороны требуется враг, а его не было, все происходило опять-таки в родных пределах, между одинаково милыми отчизне работниками. На землях, спасенных от затопления, ныне добываются нефть и газ. Держава забыла или по злой памяти тех, кому противоречил Залыгин, не захотела воздать благодарность этому человеку. У нас в Союзе писателей много Героев Труда, но нет среди них С. П. Залыгина, давно достойного этого звания, помимо общественной деятельности, высоким значением своей литературной фигуры.

Двадцать лет с тех пор мы утверждали человеческие идеалы на грешной земле, справедливо полагая, что если литература и может чему-то научить, так это не как поступать, а чем поступать — чувством, совестью, долгом, что она руководит не внешними, а внутренними движениями и что материальная жизнь человека во многом есть результат жизни духовной. Эту связь, это равенство представлялось возможным проследить, пока движения оставались движениями, пусть и непонятными иной раз, непредсказуемыми, но не очень опасными. Когда же они превратились в стихию, когда человек, над душой которого мы хлопочем, явил нам вместо души персональную турбину, перерабатывающую отечественные чувства в ведомственную продукцию сомнитель-

ного качества, тут литературе впору было и захлебнуться собственными увещеваниями.

Мы заняты были тонкой, ювелирной, не имеющей ни конца и ни края работой над улучшением и углублением того мира и того отечества, которые вмещает человек в себя как субстанций духовных, говорящих о его историческом выросте. Земля, на которой мы живем, представлялась нам вечной. Мы утверждали ценности на ней, даже как бы над ней, а сама она как великая, заглавная, несущая ценность не всегда и вмещалась в наше сознание, она была с нами, мы были вечные ее дети, то добрые, то злые, то равнодушные, но она постоянно была с нами, и этого казалось достаточно. Однако, сейчас все больше и больше становится понятным, что огромная опасность грозит этой земле — не как духовному понятию, не как сумме патриотических чувств, а как пристанищу народа, на котором он осуществляет свое назначение. Потому что пять миллионов квадратных километров, которые вовлекаются в проектируемый поворот северных и сибирских рек, — это немалая часть России, потому что пятая часть мировых запасов пресной воды, которая дивной красотой плещется в Байкале, — это огромное стратегическое богатство, дороже золота, нефти, дороже чего угодно, поскольку содержит в себе жизнь.

И происходит это с нашего молчаливого согласия. Повсюду волнуются сейчас люди судьбой российской земли: столь масштабного замышления, как поворот рек, нигде и никогда еще не бывало. Не знаю, как другие, но я уже года три подряд получаю письма с вопросом: почему молчат писатели? Да, наше дело — человек, и никто не снимал с нас этой обязанности, но если на возделанной многими поколениями земле, на святой для нас с вами земле собираются производить опыты, совместные лишь с бросовой и никому не нужной территорией, не следует ли нам, пока не поздно, обратить на нее свои взоры?

Нам говорят: это нужно для страны. Мотив старый, не допускающий, казалось бы, обсуждений и принимающийся беспрекословно. Так мы его обычно и принимали. Для Родины мы, естественно, готовы на все. И последние штаны снимем, и кровь отдадим, и землю не пожалеем. Если это нужно Родине. Но вот вопрос: нужно ли это Родине? Остаться без Байкала, попуститься в угоду волюнтаристским замыслениям древнеотеческой землей и своими руками сотворить то, к чему, отдав лучшие жизни, не допустили врага?

Нужно ли это Родине?

Несправедливо было бы упрекать писателей в полном молчании. До последнего часа судьбой своей северной стороны озабочен был Федор Абрамов. С авторитетным и убедительным мнением раз за разом выступает опять Сергей Залыгин. Устно и письменно горячится Василий Белов. Взывает к памяти и долгу честнейший гуманист нашего времени Д. С. Лихачев. Раздаются и другие голоса, — правда, больше на языке аллегории, которую противная сторона не дает себе труда расшифровывать. Но все это разрозненные голоса. Двадцать лет назад писательское мнение звучало дружнее и мощнее. Патриотическая близорукость, даже заскорузлость могут нам обойтись дорого. Мы по крохам считаем добродетельные приобретения, в которых участвует литература, — подобная же акция масштабного переворачивания России с ног на голову отбрасывает народное сознание далеко назад к безучастности и всеобщей вседозволенности. Литература, если она заинтересована в результатах своей работы, не вправе от этого отмахиваться.

Много лет мы шефствовали и продолжаем шефствовать над Нуреком, КамАЗом, Саяно-Шушенской ГЭС и другими гигантами промышленности. Нет никакого сомнения, что все они прекрасно были бы построены и без нас, но, быть может, от шефства журналов и писательских организаций та была польза, что оно уберегло чьи-

то души от бетонной и металлической ржавчины. Нынче — нельзя этого не чувствовать, а писатель своим чутким ухом обязан слышать это веление времени прежде других — от нас требуется иное. Россия ждет от нас, чтобы мы взяли шефство над Байкалом, алтайским кедром и святой землей Русского Севера. И это, разумеется, должно быть не шефство в холодном и формальном наполнении слова, а сыновья деятельная охрана того, без чего мы не сможем обойтись. Как в суровом 41-м не было для нас земли позади Москвы, так и сегодня за Русским Севером и Байкалом Россию нам не удержать.

В литературе нет черной работы, а русская литература всегда, во все времена, прежде всего, отзывалась на потребности отечества. И то, к чему я клоню, вовсе не прикладная литература, я никого не призываю оставить божественные звуки и перевести великий русский язык, национальные языки на пламенную отчетность. У каждого из нас свой участок на общем литературном поле, на котором писатель может принести наибольшую пользу. Но если представить наше общее поле не в абстрактной, а конкретной картине, — это и будет Россия. Нет для нас судьбы и нет у нас слова помимо России. Здоровое интернациональное чувство зиждется на чувстве национальном — едва ли такие вещи нужно расцифровывать. Чтобы завтра могли явиться в литературу новые Пушкины и Феты, Тургеневы и Бунины, Пришвины, Казаковы и Носовы, певцы русской природы и русской души, — не надо ли нам сегодня всем вместе позаботиться о сбережении и души, и природы. Профессиональному этикету это нисколько не повредит.

Критика чаще всего судит о литературе по ее возгласиям. Это справедливо, если говорить о достижениях словесности, и не совсем справедливо, если говорить о ее состоянии. У нас немало замечательных мастеров, кузнецов слова и апостолов совести. Однако ниже определенной отметки, там, где кончаются имена, громкие и

негромкие, одинаково полезные литературе, и начинается членство в Союзе писателей, сейчас, как никогда, море разлитое неразборчивости, нетребовательности и духовной безграмотности. Хуже всего, что царят неразборчивость и гражданское безразличие, пользующиеся тем, что поближе лежит и погромче гремит.

Не здесь ли и следует искать причины малой нравственной и духовной продуктивности литературы в целом. Конечно, лучшие ее образцы издаются и читаются, они, казалось бы, постоянно на слуху и на виду, но что это в сравнении со всей массой литературной продукции, имеющей равную степень внушения: истинные идеалы способствуют истинным идеалам, духовное «шалтай-болтайство», историческое беспамятство и беспородность те же семена вокруг себя и засевают. И работа их, надо признать, шире, усваиваются они легче и закрепляются благодаря общему климату прочнее.

Заканчивая, я хочу вернуться к тому же, с чего начал: да, наша профессия требует мужества, и прежде всего оно требуется, когда писатель остается наедине с собой и в борьбе с собой. Каждая книга — победа в такой борьбе. Но чья победа? Или мученика, с великой надсадой добывающего слово, чтобы совесть и правда воссияли в нем единственным начертанием пера и судьбы, или специалиста по синонимам, который может случиться, вероятно, в любом писателе, как только утерит он гражданскую твердость.

Мужество писателя — это его духовный склад. И складывается оно из основных и живых понятий Родины во всей ее исторической судьбе, которые, составляя чуткую и страдающую душу писателя, находят выражение в его работе. Мы — носители силы и боли России, слова ее и духа. Чтобы нести вложенное природой и отеческим благоволением, особого мужества не надо. Оно требуется, чтобы не хранить в себе правду и тревогу, а говорить о них честно и открыто.



«ВЕРУЮ, ВЕРУЮ В РОДИНУ!»*

— Валентин Григорьевич, вы, конечно, помните слова Достоевского: «Человек есть тайна. Я занимаюсь этой тайной, но хочу быть человеком».

Что же помогает писателю проникать в великую тайну человека? Знание жизни, себя, искусства?.. Иными словами, как рождаются книги?

— Человек есть тайна, но и жизнь вокруг человека также есть тайна, не открытая, быть может, даже и на десятую долю. И проникнуть в собственно человеческую тайну можно только согласившись с большой тайной мира.

Здесь необходима оговорка. Искусство XX века, по моему убеждению, опростило человека, сделав его или социальным придатком, или пленником моды. Герои наших книг, герои кинокартин и живописных полотен представляют в большинстве случаев портреты суетной жизни, не обремененной ни высотами, ни глубинами. Искусство, пожалуй, и само не подозревает, что оно опустилось до роли наркотика, удовлетворяющего низменные страсти. Добро бы это относилось только к эстраде, однако то же самое можно говорить и о книгах и уж, конечно, о кино. Причина появления и разрастания такого рода искусства — спрос на него, а спрос этот — позы отравленного организма.

Я понимаю, что вы говорите не об этих книгах и спрашиваете не об этом искусстве. Но, говоря о том, ис-

* Интервью журналу «Литературное обозрение».

тинном, не подтвержденном эпидемическим заболеванием, нужно отделить от него это.

В чем тайна подлинного искусства? Что помогает писателю проникать в нее? Очевидно, желание проникнуть, участие в тайне осторожным и углубленным воспоминанием. Взгляд на человека не только как на физически деятельную силу, но и как на огромные духовные запасы. Взгляд на Природу не как лишь на подножие для хозяйственной деятельности человека, но прежде всего как на чудесную и возвышенную организованность.

Не сегодня замечено: каждый из нас неминуем. И миповать в этой неминуемости свое истинное назначение — самое огромное зло, которое может сотворить с собой человек. Вот о чем должен задумываться писатель, садясь за книгу. Остальное, как говорится, дело техники. У каждого из нас есть свое особое, заповедное состояние в работе — и когда через мучения и сомнения удастся добраться до него, когда твои мысли и чувства приникают к какому-то общему источнику, точное и сокровенное слово находится.

— Когда мы говорим о явлениях литературы, то все чаще обращаемся к понятию традиции. Русская литературная традиция — именно отношение к ней обычно является мерилom ценности творчества того или иного писателя.

Но ведь традиция не есть что-то раз и навсегда данное, застывшее. Каждый писатель ее по-своему развивает, дополняет, вносит свою лепту. В чем же состоит русская литературная традиция, каковы тенденции современного литературного процесса и как они соотносятся с этой традицией?

— И опять приходится оговариваться: во всем мире произошло сегодня заметное и решительное расслоение писательской продукции на собственно литературу и ли-

температуру прикладную, вливающуюся в поток индустрии развлечений. Что происходит с последней, сказать нетрудно, она вся на виду. Выделить направления первой по нескольким пунктам гораздо сложнее, все они будут иметь приблизительный вид.

Прежде всего, никогда еще литература с такой тревогой не говорила о судьбе человека и о судьбе Земли, на которой живет человек. Тревога эта доходит до отчаяния. Как бы мы ни убеждали себя, что искусство продолжает выполнять огромную работу по гуманизации человека, антиискусство делает свое дело быстрее и шире. Пока оно еще продолжает рядиться в одежды искусства и пользоваться его святыми лозунгами, а скоро, если ничего в мире не изменится, ему не понадобится и этого. Но искусство и литература не могут предаваться отчаянию и, пока силы равные, ведут борьбу за каждого человека. Они будут вести ее и при неравных силах, другого выхода у них нет. Смириться с растлением человека они не смогут.

Литература на исходе XX столетия стала говорить о настигших нас опасностях возбужденней и торопливей, словно предчувствуя, что наступают сроки. Для эпического письма мы излишне расстроены. И едва ли необходимый для этого духовный лад в ближайшее время к нам вернется.

Даже то, что в литературе происходит сейчас процесс самопознания человека в своей истории и национальных корнях, свидетельствует о его беспокойной душе. Уж коли мы заговорили о предчувствиях, то, быть может, в этом предчувствие прощания. Грозящего нам прощания. Человек хочет знать, что вынес в себе из прошлого и куда, в какую сторону сдвинулся с данного ему родового направления за собственную жизнь. Он вымеряет, где и когда произошло опасное смещение. В корнях своих он ищет желанную опору, за которую можно ухватиться, чтобы задержаться на освоенной предками

земле. К нему возвращается любовь к этой земле и благодарность к ее святыням, но как знать, не опоздали ли они и возможно ли полное возвращение.

Считается, что на праздник национального характера мир позвала латиноамериканская литература. И это справедливо, если говорить о празднике. Русская словесность издавна занималась его буднями, но занималась настолько серьезно и художественно убедительно, что мир и сейчас с надеждой оборачивается в нашу сторону: тепло духовности и человеческой нерастратченности идет отсюда, от нас. При всех сомнениях и ревизиях, выпавших ныне на долю многих и многих ценностей, эта, похоже, остается при своем, как говорится, капиталом. В духовности моды не существует, существуют искривления. Вот почему и важно для русской литературы не поддаваться им, отличающимся прямо-таки каким-то дьявольским радиоактивным излучением, и остаться при собственной душе. Это не только дело традиции, но и дело нашего здоровья.

Традиционные начала русской литературы хорошо известны, они до сих пор остаются ее продолжениями: проповедь добра, совесть, обостренное чувство истины, правда и надежда. И никакой другой метод, кроме реалистического письма, как природного дыхания литературы, под все это не подойдет. Иначе получится или издевательство (и это случается, и случается отнюдь не бессознательно), или профанация святых для нас с вами понятий. Реализм как художественный метод существовал за свою историю в нескольких определенных ипостасях, но всегда оставался реализмом.

— «Сибирская литература»... Это сочетание слов звучит довольно часто. Что же, на ваш взгляд, включает в себя это понятие и существует ли вообще в самостоятельном виде сибирская литература? Или, может быть, лучше так: Сибирь и литература?

— Сибирской литературы как литературы самостоятельной, отдельной, конечно же, не существует, она, как и любая другая областная литература, как северорусская, поволжская, донская, входит составной частью в общую нашу российскую словесность. Но великое множество книг, объединенных сибирской тематикой, нужно делить на две категории: книги о Сибири, вызванные впечатлениями командированных и связанные с теми внешними экономическими и социальными изменениями, которые так хорошо наблюдаются в нашем крае, и книги изнутри Сибири, собственно сибирских писателей, взгляд которых обращен в глубь происходящей здесь жизни. Естественно, что командированные пишут о Сибири как о строительной площадке и пишут в основном бодрым словом, которое спотыкается еще иной раз о сегодняшнюю реальность, но как по маслу скользит в обрисовке недалекого прекрасного будущего, а сибиряки пишут о ней как о родине, где было не столь уж грубое и беспросветное прошлое, как нам иногда представляется, и где есть опасность вместе с земными богатствами выбрать и богатства духовные. Тон командированного: давай, давай!.. Тон сибиряка: осторожно! «Царь-рыбу» или «Комиссию» человек со стороны создать бы не смог, и подлинная Сибирь в ее прошлом и настоящем — именно в этих и близких к ним книгах. Это не значит, разумеется, что сибиряк не поддается соблазну командированного, точно так же, как не значит, что у командированных не было совсем серьезных работ о Сибири, и все-таки в этих случаях уместней говорить об исключениях, а не о правиле.

Сибирь давно уже стала заметной литературной державой. И в прошлом она не только давала талантливых выходцев, но создавала замечательные книги и в своих глубинах. Тут можно вспомнить имена Петра Ершова, Михаила Загоскина, Ивана Федорова-Омулевского, Григория Гребенщикова, Александра Новоселова, а затем —

Владимира Зазубрина, Лидии Сейфуллиной, Константина Седых и многих-многих других. Я не собираюсь созданное на родной ниве противопоставлять созданному на ниве общей, тем более что сибиряк чаще всего всюду остается сибиряком. Однако в отношении Сибири есть одна особенность. Она заключается в изменении содержания в понятии сибирского патриотизма. Если сто лет назад наш край испытывал острую нужду в культурных силах, которые могли бы вести работу по просвещению местного населения, то теперь настала пора говорить о патриотизме как о прямой деятельности за сохранение сибирской природы против бездумного и беспашапного покорительства. Будущее Сибири тревожит прежде всего сибиряков, для кого она родина отнюдь не в абстрактном понятии. Всякая легкомысленно написанная книга вроде «давай! давай!» — еще один шаг к тем непоправимым последствиям, которые могут ожидать нас уже в недалеком будущем. Закоренелый взгляд на Сибирь как на бездонный колодезь, из которого черпай не вычерпнуть и вози не вывезти, если мы хотим иметь эту землю хотя бы в относительной экологической сохранности, пора оставить. И никто лучше сибиряка об этом не скажет.

Поэтому вопрос действительно разумней ставить так: Сибирь и литература. Естественно, мы гордимся писателями, которых дала Сибирь общесоюзной и мировой литературе, хотя по своей мощи, по размаху и последствиям происходящих в ней перемен, по самому духу этой могучей земли она должна бы дать их, я считаю, гораздо больше. Очевидно, они еще впереди. Сейчас же главное всем нам, вышедшим из Сибири и живущим в ней, а также наезжающим сюда за впечатлениями, всем нам, пишущим о Сибири, соотносить свою работу с нынешними потребностями этого края. Время экзотики и романтики в изображении Сибири прошло, наступило время трезвого и глубокого охранительного реализма.

— Полагают, что в Иркутске есть своего рода «школа повести» и что повесть здесь самый сильный жанр. Так ли это?

— Ну, почему только в Иркутске «школа повести»? Едва ли это справедливо. Давайте, если на то пошло, пройдемся по другим сибирским городам. В Красноярске — Виктор Астафьев, Роман Солнцев; в Новосибирске — Владимир Сапожников, Николай Самохин, Василий Коньяков; в Томске — Владимир Колыхалов, Василий Афонин; в Барнауле — Евгений Гуцин, Вячеслав Сукачев... И так далее. Отдавать предпочтение какой-то одной областной «школе», даже при явных ее успехах, — затае, мне кажется, сомнительная.

Другое дело, что 60—70-е годы в нашей прозе вообще были временем повести. Повесть оказалась именно тем жанром, на который хватало дыхания писателей. Сейчас, похоже, проза снова возвращается к рассказу. И к публицистике. Дыхание стало сбивчивей и взволнованней. У литературы существуют свои законы, которые можно предвидеть, но нельзя изменить, и с ними приходится считаться.

— Распутин — публицист... Для многих это откровение. Чем вызван сегодня и есть ли он, подъем публицистики как литературного жанра?

— Можно заметить, что к публицистике все активной обращаются «деревенские» писатели. И Сергей Залыгин, и Виктор Астафьев, и Василий Белов, и Евгений Носов, и Борис Можжаев, и другие. Это далеко не случайно. «Деревенская» литература в лице ее первого поколения (60—70-е годы) выполнила свой долг перед старой деревней и вернула к ней уважение и благодарность. Она не вернула, разумеется, самую старую деревню, но она этого и не добивалась, исчезновение старой дерев-

ни — процесс хоть и болезненный, даже трагический, но естественный. Осмысление естественного — дело художественного слова, неестественного, силового, требующего немедленного вмешательства, — на первых порах дело публицистики. Публицистикой движет нетерпение, желание быстрого и справедливого результата, по своей природе это самый активный, открытый и мобилизующий жанр. Когда скорые на руку по отношению к сложившемуся укладу жизни хозяйственники, поспешно расписав в своих кабинетах российскую деревню на «перспективную» и «неперспективную», принялись с невиданной горячностью, достойной других забот, уничтожать «неперспективную», художественное слово, будь сейчас живы даже великие его мастера — Гоголь, Тургенев, Толстой и Бунин, — не в состоянии было бы остановить подобную деятельность. К сожалению, не остановила ее и публицистика. А теперь все вместе чешем затылки: да, поторопились, наломали дров...

И все-таки понимание, пусть и запоздалое, что наломали, пришло благодаря опыту, донесенному в том числе и литературой. Как и во многих других делах. Литература в таких случаях выражает народное мнение. Вспомним знаменитое «Письмо к односельчанам» Федора Александровича Абрамова, продиктованное общим беспокойством и общей совестью. Вспомним страстные статьи по вопросам сельской жизни «родовых» публицистов — Юрия Черниченко и Ивана Васильева. Не может такого быть, чтобы они не дали хорошие результаты. Публицистика — это деловой жанр, ее вынуждены читать и считаться с нею даже и в просторных кабинетах. Именно потому, что писатель выражает в ней не только свою, но и общественную точку зрения.

Пока пишутся в течение многих лет большие романы, предположим, в защиту природы, природа вокруг нас может пострадать до неузнаваемости. Тут мы в самом прямом смысле горазды «ломать дрова». Это и за-

ставляет писателя-гражданина отложить «вечное» перо и взяться за то, которым водят неотложные нужды нынешнего дня. Терапевтическое, долговременное воздействие литературы на человеческую душу как постепенное ее воспитание может, к несчастью, опоздать.

Таким образом, публицистика сегодня — это не цеховое занятие, а долг каждого неравнодушного к судьбе своей родины писателя. Самое время требует публицистики. И активность ее говорить о подготавливаемых в глубинах жизни общественных и социальных переменах, как это было в пору Валентина Овечкина и его литературных соратников.

— *Русская литература всегда была совестью народа, открыто говорила о своем времени самую трудную и горькую правду.*

Белинский справедливо утверждал: «Свобода творчества согласуется со служением современности». Но для этого нужно быть гражданином своей эпохи, своего Отечества. Что вы понимаете под гражданственностью как позицией писателя и какие наиболее важные вопросы она в себя включает?

— Тут кстати опять вспомнить Федора Александровича Абрамова, писателя честного и страстного голоса, непримиримого воителя за высокую и неподменную гражданственность. Не однажды он говорил, что ничто его так не возмущает, как позиция «от нас ничего не зависит, мы ничего не решаем», за которой скрывается инертность и малодушие. Нет, каждый из нас может немало на своем месте. И пусть мы иногда страдаем за свои принципы, набиваем шишки, но не в том ли и состоит смысл жизни, чтобы доказывать свою правду, тем более если она согласуется с правдой общей.

Гражданственность — это активность личности во имя человека и во славу Отечества. Именно во славу Отече-

ства, а не в угоду удобной конъюнктуре. У нас появился сейчас тип человека, облеченного определенной властью и весьма активного, чья деятельность опасна тем, что она, мягко говоря, направлена не совсем туда.

Сошлюсь для примера на свой родной Иркутск. Иркутск — исторический город, один из немногих на востоке нашей страны исторических городов, сохранивших живую и материальную память о своем прошлом. У нас много древних деревянных строений, ставших памятниками сибирского деревянного зодчества и требующих заботы и охраны. Расположены они в основном в центре города. И вот время от времени появляются хозяйственники и администраторы, от которых зависит судьба Иркутска, доказывающие, что для пользы дела незачем возиться со старьем, что следует его скovyрнуть, а на его месте поставить добротные многоэтажные дома из кирпича и бетона. Не только доказывающие, но и действующие в этом направлении. Натруженному и морщинистому лицу города они предпочитают стандартность и холодную безликость. За каждый дом, отнесенный к памятникам старины, приходится вести борьбу, борьбу неравную, даже в последние годы немало памятников здесь было погублено.

Разумеется, люди эти (как правило, приезжие, для которых Иркутск — промежуточная станция в их служебном продвижении) искренне уверены, что они-то и есть носители социальной и гражданской активности и прогрессивного направления. Свою деятельность они оправдывают заботой о будущем города. Ох, сколько дурного и несправедливого творится в мире якобы во имя будущего! И забывают, что будущее — это не зала, куда мы, отерев пыль прошлого и прикрыв за собой двери, перейдем завтра, как в сияющие новизной чертоги. Без прошлого, без продолжающейся животворной памяти мы там очень скоро сбесимся. Забывают или не догадываются эти люди, что жизненная активность бесполезна, а то и вредна без

духовной ориентации, без верноподданности, без исторического ощущения своего места в ряду поколений.

Каждое время выдвигает как первоочередные свои требования к понятию гражданина. Одно из них ныне — деятельность ради восстановления нарушенных связей с прошлым, участие в общенародном движении за сохранение полной национальной памяти. Без этого гражданственность — слепое и неполное понятие, могущее иметь уродливое развитие. Кроме того, гражданин, на мой взгляд, немыслим в нашу эпоху без активной работы за сохранение природы — в конце концов просто как физического обеспечения жизни нашим детям и внукам, не говоря уж о духовном и нравственном факторе незагубленной красоты лесов, озер и рек. Тут, что касается экологии, ретивые преобразователи и поворачиватели природы как раз и прикрываются щитом гражданственности и потребностями отечества, выворачивая эти понятия наизнанку, так что борьба с ними предстоит нелегкая.

Что еще? Будет в человеке это, утвердится он в главных принципах гражданина, тогда и не сможет он мириться с любой бесхозяйственностью как внутри, так и вовне себя.

— Молодые в литературе... Чем отличаются нынешние молодые литературные силы от тех, которые были в 60-х годах, когда начинали вы? В чем разница между молодым писателем того времени и нашего?

— Начну с того, что теперь отодвинулся и стал солидней возраст молодого. Он начинает работать более профессионально, чем в наше время, и более осторожно, сразу вливаясь в общепринятые жанровые и тематические потоки. Этим я хочу сказать, что он меньше экспериментирует, меньше пользуется возможностями молодости, и порой перо 30-летнего и 60-летнего почти ничем не отли-

чаются одно от другого. Молодости должны быть свойственны поиск, творческая дерзость, образная свежесть и красочность, и, если с годами большинство из нас все-таки возвращается в родное русло реалистического письма, начальная «болезнь роста» бесследно не проходит и обогащает нас. У начавшего с известного и проторенного есть опасность кончить избитым и окаменевшим.

Словом, молодым противоестественно смотреть на мир усталыми глазами.

Кроме того, молодой писатель стал более расчетлив. Он выверяет заранее, о чем писать, чтобы «пошло» без запинки, обстоятельно изучает «лоцию» будущей книги. Его неумная энергия нередко направлена на то, чтобы заручиться поддержкой именитых, ради этого он готов на лесть («в третий и пятый раз читая вашу замечательную книгу...»), готов поступиться как своими собственными взглядами, так и воззрениями молодой литературной общины. В том кругу молодых, среди которых в свою пору начинал я, это не было принято совершенно. Нельзя представить себе, чтобы Александр Вампилов тайне от товарищей искал чьего-либо заступничества или чтобы он пошел на компромисс со своей совестью и вкусом. Мы рассчитывали на свои силы и на поддержку друг друга, это было творческое содружество, в котором во время обсуждений наших рукописей говорилась полная правда.

Не стану брать грех на душу и уверять, что все молодые ныне таковы, как не возьмусь и утверждать, что все молодые прежде были не таковы. Однако заметна, как говорится, тенденция. Да и собственный опыт позволяет делать кое-какие выводы.

Писатель, добившийся известного положения в литературе, не может, я думаю, обойтись только самотворчеством, совесть не позволит ему, чтобы не помочь молодому таланту. Но он сам выбирает, кому помочь и для какой книги написать предисловие. Он бескорыстно выбирает, а не с расчетом и корыстью выбирают его. Только

тогда это идет на пользу литературе. Я не знаю ни одного известного мастера, который даже и в ущерб собственной работе отказался бы быть учителем и руководителем, заступником и поддержкой достойным из начинающих литераторов. Но эту поддержку и это заступничество следует заслужить творческой, а не устроительной деятельностью. Как никакое другое, писатель — понятие нравственное.

И еще одно. Очень важно с самого начала, почувствовав силу, не бояться браться за серьезные социальные и общественные проблемы, которыми живет народ. Талант требует напряжения, максимального натяжения всех возможностей, иначе, привыкнув к легким прогулкам, он ослабнет. Ему полезно сопротивление, а не попутные ветры, не пробитые другими дороги. Михаил Александрович Шолохов в 22 года взялся за «Тихий Дон». «Но это же Шолохов!» — скажут мне. А не потому ли и стал он Шолоховым, что дерзнул им быть? И сколько, возможно, не менее талантливых людей ничем замечательным не стали оттого, что они подходили к литературе с мерками бухгалтерии: вот заработаю на жизнь, дам, что просят, что ни у кого не вызовет возражений, а уж после этого засяду за настоящую книгу. Нет, не засядет, сама литература, тайный и всемогущий ее дух не позволит засесть навсегда оттеснив ловкий ум к тем, кто пробавляется доходной поденщиной. Честное слово, писателю с любой точки зрения выгоднее не выгадывать.

Я понимаю, что рискую этими своими словами по адресу молодых оказаться в одном ряду с повторяющимися во все времена ворчунами, которые уверяют, что в пору их молодости все было иначе, чище и лучше. Молодые молодым в литературе рознь, так было и так будет. Даже и с трудным, несговорчивым талантом полезно иметь дело, он не отягощает, а обогащает. И он говорит сам за себя. Литература готова и пораздаться, сделать исключение из принятых правил — если это талант. И любая циф-

ра сразу удваивается, становится тяжелой ношей и страшной обузой, когда приходится встречаться с напористыми соискателями и претендентами на талант. В конце концов литература все поставит на свои законные места и разберется кто есть кто, однако не надо забывать, что это «в конце концов» в том числе происходит и сегодня.

— *Валентин Григорьевич, считается, что на интеллигентность Иркутска, его культуру — они были общепризнанными еще в прошлом веке — оказали влияние декабристы...*

— Не только декабристы, но и вообще вся массовая политическая ссылка XIX и начала XX века.

Достаточно подробно я писал об этом в своих сибирских очерках. И действительно, если ссылки, в том числе большие партии участников двух польских восстаний, могли роптать на судьбу, закинувшую их на край света, то Сибирь эту же судьбу должна была благодарить за оказавшихся здесь волею невзгод замечательных просветителей. Сделанное ими в науках, искусствах и ремеслах, в привитии местному населению культуры жизни и работы, разросшись и утвердившись, невидимо продолжает сказываться еще и теперь...

Однако, говоря о роли ссыльных, неверно было бы умолчать и о роли местного просвещенного слоя, немало и по тем временам довольно успешно занимавшегося культурным строительством своего края. Каждый сибирский город может назвать две-три фамилии из тех, кого мы причисляем к толстосумам, которым он обязан в прошлом зачатками образования и общественного возбуждения. В Иркутске это Сибиряковы, Баснины, Кузнецовы и Сукачев. Толстосумы случались разные, а сибирское купечество и вообще достойно особого и беспристрастного разговора. Владимир Платонович Сукачев собрал

богатеишую картинную галерею, которая стала основанием Иркутского художественного музея, и открыл в нее доступ для всех желающих. В местных масштабах это то же самое, что Третьяковская галерея в Москве. Только нерасторопность тогдашних властей помешала ему передать свою коллекцию в дар городу. Библиотеки, музеи, театры, институты, больницы и многие другие культурные учреждения и сейчас занимают здания, возведенные известными архитекторами на средства этих фамилий. Все самое красивое в архитектуре, представляющее эстетическую ценность и ставшее предметом гордости Иркутска, создано, к сожалению, не в последние десятилетия.

И жаль, что у нас нет даже улицы, названной в честь основателя музея Сукачева. Его имя до сих пор произносится отчего-то полусшепотом. Наша память должна быть справедливой. Только люди, не могущие рассчитывать на благородную память потомков, способны предать забвению славные имена прежних деятелей своей истории и культуры.

— В очерке *«Сибирь без романтики»* вы пишете: *«Сибирь — Россия больше, чем Россия»*. Что вы имеете в виду?

— Ответ содержится уже в самих этих словах. Некоторые черты русского человека — в силу отдаленности, свободного хозяйничанья, обособленности и жизни в природе — в прошлом сохранились в Сибири лучше, чем в коренной России, придавленной крепостничеством и время от времени сотрясаемой внешними заимствованиями. Какие это черты? Инициативность, сметливость, твердость духа, упрямство в достижении цели, автономность личности, несуетность и немногословность, — словом, большая часть из того, что вошло затем в понятие сибирского характера. Черты эти в свою пору занесены были сюда

жителем русского Севера и, наложившись на практику отношений с местными народами, дали любопытные всходы человека крепкой физической и нравственной закалки. Я называю лучшие черты сибиряка — были, разумеется, и другие. К примеру, как мне кажется, некоторая душевная неповоротливость. Но все это находилось в развитии, в строительстве и потому нередко представлялось острым и угловатым. Природе не хватило, к сожалению, времени, чтобы закончить строительство сибиряка, и теперь о сибирском характере можно говорить лишь с немалой условностью и оговорками.

Нам лестно, конечно, что сибиряка и сегодня продолжают выделять и берут в дальние и людные места на службу, требующую неподкупности и правосудия. Репутация его нравственных и деловых качеств высока; это не наши местные мерки, вызванные квасным патриотизмом, а сложившееся мнение. Но вот вопрос: что в этой репутации от старой славы и что от новой? Как бы хотелось мне, сибиряку, в этом ошибиться, однако слишком видно, что на человека ныне все меньше успевает влиять родная почва.

— Валентин Григорьевич, культура языка — это составная часть культуры человека. И тем не менее язык писателя-сибиряка, очевидно, существует и в каких-то собственных качествах. В каких? В чем их природа?

— Язык писателя не только говорит о способе его художественного мышления, он свидетельствует также о степени проникновения в народную жизнь.

Областные отличия языка? Это те отличия, которые существуют в народном говоре этой местности. Считаю, что ничего плохого для литературного языка не случается, если, описывая ангарских старух, я ввожу в их речь диалектные элементы. Так они говорят, так мыслят, в та-

кой образности видят мир. Писатель не только дает слово своему герою, он слышит его интонацию, которая должна быть естественной. Речь героя не может выбиваться из его собственной природы, лишь тогда между писателем и героем во время работы наступают близкие и равноправные отношения, лишь тогда герой от души скажет то, что ему доверено.

Считаю, что ничего плохого нет также и в том, если старые, по каким-то причинам вышедшие из широкого употребления и диалектные слова встречаются и в авторской речи. Едва ли нужно уточнять, что писатель в этом случае должен быть осторожным, здесь и скажется его культура. Но от точного и меткого слова, от единственно подходящего и единственно говорящего слова в угоду якобы принятым нормам отказываться не следует. Пусть лучше читатель заглянет в словарь, от этого он ничего не потеряет. Автор же может потерять. Мы и без того слишком растерли русский язык на поверхностном слое понятий, обучившись пользоваться ничего не значащими, выговоренными словами.

Что такое, к примеру, сибирский диалект? Это те же самые старорусские речения, занесенные сюда в свою пору казаками и первыми насельниками и сохранившиеся здесь в силу отдаленности и общинной замкнутости лучше, чем иной раз на прародине. Разумеется, с добавлениями местных языков, выражающими предметность, которая только здесь и была. Их, этих добавлений, кстати, немного, и они естественно вошли в плоть разговорного языка.

Когда мы читаем «Слово о полку Игореве», разве при словах «туга», «вежа», «паполома» и так далее не вздрагивает наша душа от знакомого, дальним эхом повторяющего нас самих звучания, от всего музыкально-напевного строя этого великого памятника? А когда снова и снова берем в руки старые былины, легенды и сказки, разве не слышим мы в себе воспоминания об из-

начальной русской речи, оставленной в нас предками? И разве беднее мы становимся оттого, что при этих отзвуках и воспоминаниях обретаем вместе с живыми связями языка неоконченную историю своей национальной природы.

Наш язык по-прежнему остается и великим, и могучим, и прекрасным, и свободным, и кому, как не писателю, пользоваться всем его глубоким и вольным разливом?!

— *От первой вашей книги очерков и рассказов «Край возле самого неба», вышедшей в шестьдесят шестом году в Восточно-Сибирском издательстве, до повестей «Живи и помни» и «Прощание с Матерой», что принесли вам признание и известность, пролегли годы. Вы побывали во многих странах мира, много ездили по родной стране. Есть ли места, куда хотелось бы вам вернуться, что дорогого осталось там?*

— Места, куда хотелось бы вернуться... Конечно, есть такие места. Для меня они обычно бывают связаны с отметками отечественной истории и святыми для сердца каждого русского именами национальной культуры. Новгород, Куликово Поле, Ясная Поляна, Старая Русса, Оптина Пустынь, Михайловское, Тарханы, Кижиг... Хотелось бы... Не хотелось бы, а снова и снова туда нужно возвращаться, несмотря на занятость, чтобы обрести надежду и унять сквозняк в душе, наполнить ее, душу, ощутимым составом таинственных отеческих начал и вершин, чувствительным приближением к ним, их вечным дыханием.

Мы часто все поминаем душу, подставляя ее где можно и нельзя, но здесь, когда речь идет о великих знаках России, великих и тихих, требующих уединенного внимания, без души не обойтись. Именно ею проникаем мы в остывшие, казалось бы, но живые, вещи да-

ли памяти, и именно она произносит: «Верую, верую в Родину!»

Снова и снова готов я возвращаться и возвращаюсь в места, которые являются удивительными памятниками природы на нашей земле, быть может, самыми для нее дорогими, полными красот, чудес и тайн. Это Байкал и Горный Алтай у нас в Сибири. И все в них требует разгадки, проникновения, впитывания и вдохновения, но не уничтожения. И посягательство на них, на эти уникальные творения Природы, можно сравнить с актом вандализма планетарных масштабов. Будем надеяться, что этого не произойдет, и что человек, хозяйничающий на моей родине, не оставит по себе память Герострата.

Мы и сами не в состоянии представить, насколько целительно во всех отношениях и выправляюще действует на нас или, лучше сказать, втекает в нас, заполняет своим покоем и добросклоном окружающий человека природный мир. Провести даже день один на Байкале — это и с предками поговорить и себя рассмотреть, потерявшегося в суете дней и снующего, как механическая шестеренка, и близко подступить к разгадке великих и вечных вопросов, издавна мучающих человека... И испытать редчайшие торжество и сладость оттого, что ты это видишь и чувствуешь...

Собираюсь вернуться в Пензу. Этот негромкий город в центре России, родина Лермонтова, Белинского и Радищева, удивил меня, вопреки бытующему мнению, что всюду одинаково все поросло забвением, удивил светлой и прочной памятью к своему прошлому — как далекому, связанному с великими именами и событиями, так и недавнему, относящемуся к Отечественной войне. Насколько соразмерно, податливо чувству и тепло создаются там по всей области мемориалы — словно и не из камня, а из того же материала, что и душа. В Пензе умеют воспитывать в своих гражданах любовь к родной земле и ее святыням и делают это умно и, я бы сказал, краси-

во, с заинтересованным и упреждающим вниманием к людям. По Пензе приятно пройти, в ней старая и новая Россия уживаются, нисколько не стесняя друг друга и друг к другу относясь с должным житейским и историческим уважением.

Словом, город, каких мало. А так нужно, чтобы их было больше, где бы человек чувствовал себя удобно не только в материальной, но и духовной шкуре, и где бы без аршинных букв отовсюду незримо сияли слова согласия и приветя.

Если вспомнить еще и о заграничье — хочется вернуться в Старый Пловдив в Болгарии. Дважды я там бывал, дважды подолгу ходил по брусчатке древних улиц и — не насытился, продолжаю и вспоминать и примеривать его к нашим историческим городам, приходя к безрадостному итогу, что мы по-прежнему кочевники по отношению к своему прошлому.

Что такое «хочется вернуться»? Это место на земле, не так удивившее, удивление проходит, как сроднившееся с тобой, отвечающее твоим представлениям об организации жизни. Каждый из нас властитель собственного мира, в котором он сооружает города и села, леса и поля, из мира внешнего переносит все, что ему представляется лучшим, поддерживающим его идеал о миро- и вероустройстве. Соответственно ему он живет и действует среди людей, из его духа выводит свои взгляды на то, насколько прогресс является правильным движением, а гуманизм — положением человеколюбивым.

Вот так, исходя из своих представлений, недалеко от русских изб я поставил болгарские кощи из Старого Пловдива. В большом современном городе полностью сохранена и отреставрирована древняя его часть — и сделано это без досады и спешки, а с любовью, мастерством, вкусом и огромным уважением к жизни своих предков. На меня это произвело большое впечатление, и невольно

из впечатления перешло в мой постоянный, продолжающийся строиться и заселяться мир, где Байкал, Горный Алтай, Кижы, Царское село, Поле Куликово и моя родная деревенька на берегу старой, теперь не существующей Ангары.

Этот мир вечен; в него мы и уходим.

— *Верно ли, что творчество есть испытание на верность тому, что составляет духовную сущность писателя?*

— Да, конечно, писательская работа — это верность своему духовному путру, постоянная расшифровка его и обогащение, пропаганда с помощью художественных средств его смысла. Хорошая книга соборна — имеется в виду ее способность создавать и объединять единомышленников. Пусть это звучит необычно, но писатель также обладает талантом соборности; я имел возможность видеть это на встречах больших аудиторий с Сергеем Залыгиным, Виктором Астафьевым, Алексеем Адамовичем, когда люди шли именно на своего писателя и полностью или почти полностью разделяли его взгляды. Разумеется, не всегда удастся услышать устное слово писателя, да это и не обязательно, но со всякой новой книгой читатель, где бы он ни был, ждет подтверждения и углубления их общей правды, связавшей его с этим, а не с другим автором. Он может много читать и читать разное, но на исповедь, метафорически говоря, он ходит к своему духовнику.

Верность своей духовной сущности — не значит талдычить одно по одному. До определенной степени писатель может быть и противоречив, он тоже живой и тоже ищущий человек, но и в противоречиях своих ему нельзя терять целостности. Ищи, но не выходи из себя, из своего гражданского и творческого «я»; то, что мы зовем отчиной и дединой, существует не только вовне, а и внутри нас...

Подсчитать, сколько раз во время нашей беседы пользовался я этим укромным, ставшим ныне расхожим и громким словом «духовность»... Да ведь и замены ему нет! Замена слову, быть может, и отыщется, а вот тому, что стоит за словом, нет. Сейчас это проблема из проблем, дефицит из дефицита — неискривленная, незаимствованная, на роду написанная духовность, в которую поверил бы и пошел за ней человек, а не тащил ее за собой через силу.

— И последний вопрос, Валентин Григорьевич. В чем вы видите главную задачу, стоящую перед молодыми? Ваше напутствие им в долгую дорогу.

— Задача, стоящая перед молодыми? Я эту задачу знаю точно. Быть сильнее, смелее и талантливее нас в литературе. Не отдать литературу в руки поденщиков и не опустить ее до спокойного, среднезажиточного уровня. Держать ее не в холеном теле, а в добром и честном деле.

Беседу вела корреспондент
журнала «Литературное обозрение»
Татьяна Жилкина

БЛИЖНИЙ СВЕТ



1. 1. 1.

2. 2. 2.

3. 3. 3.

4. 4. 4.

5. 5. 5.

6. 6. 6.

7. 7. 7.

8. 8. 8.

9. 9. 9.

10. 10. 10.

11. 11. 11.

12. 12. 12.

13. 13. 13.

14. 14. 14.

15. 15. 15.

16. 16. 16.

17. 17. 17.

18. 18. 18.

19. 19. 19.

20. 20. 20.

21. 21. 21.

22. 22. 22.

23. 23. 23.

24. 24. 24.

25. 25. 25.



ОТКУДА ОНИ В ИРКУТСКЕ?*

Случайный посетитель, впервые заглянувший в свободную минуту в Иркутский художественный музей, быть может, из любопытства и рассчитывающий встретить в нем в лучшем случае скромное достоинство, украшенное несколькими нерядовыми полотнами, бывает ошеломлен. К своему великому удивлению, он найдет здесь самое лучшее «общество», которым гордится русское и советское искусство: И. Репин, В. Суриков, В. Перов, В. Боровиковский, Д. Левицкий, О. Кипренский, В. Тропинин, В. Васнецов, И. Айвазовский, И. Левитан, Б. Кустодиев, К. Коровин, И. Шишкин, К. Сомов, А. Куинджи, Ф. Бруни, В. Верещагин, М. Антокольский и многие другие не менее именитые их современники, а также К. Петров-Водкин, А. Пластов, М. Сарьян, С. Герасимов, Н. Ромадин, К. Юон, Т. Маврина, С. Коненков, А. Голубкина, И. Шадр, Е. Вучетич... Даже избранный список лучших советских мастеров занял бы слишком много места.

Но подобная неожиданность, связанная с «открытием» Иркутского музея, может произойти, повторим, лишь с новичком, потому что не только специалистам известно, что здесь нынче находится самое богатое за Уралом собрание художественных сокровищ, которое с каждым годом продолжает пополняться и расширяться.

Возникает неизбежный вопрос: откуда они в Иркутске? Что это за особые и счастливые обстоятельства, со-

* Предисловие к книге А. Д. Фатьянова «Иркутские сокровища».

бравшие тут очень и очень немалые изобразительные ценности? Если огромное и замечательное хранилище восточного искусства Иркутску вроде бы положено иметь по своему местонахождению и близости к этому искусству, то редкостную коллекцию древнерусской живописи возрастом нашего города объяснить нельзя, следует искать другие причины, занесшие в глубину Сибири иконы московской, ярославской, новгородской, псковской, палехской, строгановской, северной и южной школ, а кроме того, ставшие теперь уникальными образцы византийской и афонской иконописи.

А западноевропейский отдел от средневековья до последнего времени! А собственно сибирская древность и современность!

И это при том, что музей как общественное достояние, как государственная художественная галерея был создан уже после гражданской войны и, стало быть, вырос и обогатился в несколько десятилетий, что для музея подобной величины можно считать удивительным. И действительно, судьба многих его выдающихся экспонатов необыкновенна, порой даже, как это было, например, с уральской коллекцией Казанцевых, занесенной в Иркутск бурями гражданской войны, полна приключений, достойных пера мастера детективного жанра.

Случалось, что музею на редкость везло, особенно на первых порах, но затем это «везение» стоило его хранителям и приумножателям многих и многих трудов и сверхтрудов. Затем, очевидно, вступил в силу закон, по которому сокровища тянутся к сокровищам, то есть всевозможными прихотливыми путями попадают к тем, кто знает их подлинную цену и самоотверженно действует во благо родному городу.

И тут необходимо сделать одно беглое отступление.

Еще в конце прошлого века Сибирь считалась краем заповедного, без всяких помех процветающего невежества и недоступного бескультурья. Примеров и свиде-

тельств тому несть числа как в отзывах путешествующих особ, так и в горестных признаниях соотечественников. Исключения, казалось, лишь подтверждали общее правило. Мало того: сибиряку нередко отказывалось в поэтическом чувстве, его душа представлялась камнем, из которого трудно исторгнуть даже короткий эстетический вздох. Никто другой как сибиряк и патриот Сибири Н. М. Ядринцев пишет о сибиряке:

«Страшные призраки с лохматыми лапами окружают его в лесу. Некогда ему мечтать, он пролагает дорогу среди темных тущоб, и суеверный страх охватывает его. Вечером он делает себе балаган. Когда косые лучи солнца пронижут лес пред закатом и среди черных стволов польется золотистый луч, а алое и пылающее небо вспыхнет между ветвей, бедный зверолов станет на колени пред балаганом с сложенными руками и будет безмолвно молиться; может быть, односложный звук вылетит из груди его...» И, продолжая эту мысль, Ядринцев приводит киргизскую пословицу: «Богиня песни пролетела близко над степью, но высоко пронеслась над лесом».

Здесь есть, конечно, верное наблюдение, но лишь в той части, которая связана с внешней стороной нелегкой сибирской жизни. Суровость природная, естественно, накладывала на человека отпечаток и сковывала его лирические ощущения, но до тех лишь пор, пока он не сживался с новыми условиями и пока суровость не переставала для него быть суровостью и не становилась привычной и родной обстановкой. Душа его никак не могла за это время затвердеть или закрыться от страха, тем паче что именно на первых порах, когда переселенец только еще распознавал тревожные звуки вокруг себя и приучался к незнакомым условиям, именно тогда более всего и требовались в поддержку ему песни и поверье, сказовые и ритмические голоса предков, принесенные с прародины и составляющие лад его души.

И доказывать не нужно, что в таежном одиночестве охотник обращался за спасением вовнутрь себя; если тоску по оставленной земле испытывала община, она сходилась за песней и воспоминаниями. И так продолжалось, пока новые слова и новые элементы поэзии, согласующиеся с новым образом жизни, не входили естественно и незаметно в прежний ее порядок.

Внешняя угрюмость сибиряка, которую он невольно перенял от духа окружающей его природы, как загар, принималась посторонними людьми, мало знающими его, за полную замкнутость, за неспособность души к художественному отзвуку. Свой же брат-сибиряк, оставивший нелестное мнение об этой стороне жизни земляка (вместе с Ядринцевым здесь можно назвать еще и Щапова), исходил из сравнения сибиряка с жителем коренной России, из сравнения, которое не могло быть в пользу сибиряка, что удручало отзывающихся больше, чем того заслуживало. Общеизвестно, что спустя сорок лет после смерти Щапова М. К. Азадовский собрал на Лене, на родине Щапова, замечательные по сохранности и художественной ценности записи сказок и песен. Одно из самых поэтических мест Сибири — Русское Устье на крайнем севере Якутии на Индигирке. А «семейские» села в Забайкалье! А староверческое народное искусство на Алтае! Просматривается любопытная закономерность: чем тяжелей условия, в которых жил сибиряк, чем больше физических усилий затрачивал он на привыкание и выживание, тем богаче поэзия. Дело, значит, не в мере физических трудностей, заглушающих песню и обряд, а в мере общинной крепости и слитности, не обходящихся без песни.

Фольклор как искусство народное, конечно, далек от классических видов искусства, но в то же время без фольклора, без пропитанности им душевного состава, с которого начинается художник, серьезный творец состояться не может. Не будь его — не было бы ни поэта

П. П. Ершова, ни живописцев В. И. Сурикова и М. А. Врубеля, ни композитора А. А. Алябьева и многих других великих выходцев из Сибири, которыми она по праву гордится и которые переняли ее дух и голос, возможности ее могучей художественной силы.

Поэтому отнимать у сибиряка в прошлом поэтическую струну и возвышенное настроение было бы несправедливо. Лишнее доказательство тому — готовящееся сейчас многотомное издание сибирского фольклора. Другое дело, что сибиряк в огромной своей массе лишен был образования, его творческие задатки чаще всего глохли, не успев развиться, в неподходящей для этого среде. Боясь среды, занятой даже и в крупных городах, как правило, физическим справлением жизни, не обремененной нематериальными интересами, где художественные вкусы находились в зачаточном состоянии или в уродливых формах, сибирские таланты, выезжавшие на учебу в столичные университеты и академии, опасались возвращаться обратно: на родине нельзя было ожидать благоприятной творческой обстановки. Появилось и привилось характерное для Сибири явление — абсентеизм, т. е. деятельность вне родины, невольный отток лучших умов и талантов на сторону.

Образованные, патриотически настроенные люди Сибири с таким положением мириться, естественно, не хотели. Появилась нужда в своем собственном культурном обществе, состоящем не только из ссыльных и временных, но, прежде всего, из коренного жителя, отставшего от наук и муз не от холодно-практического устройства своего сердца, а от привившейся практики государства по отношению к этому краю: как можно больше брать и как можно меньше давать. Рассчитывать на высочайшие благоизъявления не приходилось: для Сибири наступила пора самой позаботиться о своем культурно-духовном строительстве.

Общественные условия для этого здесь назрели ка

второй половине прошлого века. Приближался юбилей — 300-летие присоединения Сибири к России, который Сибирь готовилась встретить в осознании полной своей роли в государстве, в показе всего лучшего, что в ней есть. В это же время началось заметное культурное движение; во многих городах открываются библиотеки и музеи, строятся театры, создаются научные общества и музыкальные салоны, устраиваются выставки. Среди сибирских богачей, на которых еще недавно не без оснований смотрели как на завязанные по глаза золотые мешки, сделалось принятым тоном раскошеливаться на столичных художественных распродажах.

Сначала на подводах, а затем и по выстроенной железной дороге на восток потянулись и помчались старательно упакованные ящики и тюки с холстами и скульптурами, с книгами и учебными пособиями. В дар покровительствуемым гимназиям и училищам все чаще вместо риторических благословений и напутствий отправляются предметы искусства. Нелишне вспомнить, что в коридорах Иркутской мужской гимназии находились преподнесенные Сибиряковым несколько полотен Айвазовского, скульптура Антокольского «Иван Грозный», картины западных художников (как удивительно иной раз распоряжается судьба: эти ценности, поступившие в свое время в художественный музей, недавно, когда здание бывшей гимназии было предоставлено музею, вернулись на свое старое, словно бы отеческое место!). Им же, Сибиряковым, была куплена и подарена Томскому университету при его открытии библиотека В. А. Жуковского — богатство огромное, сразу как бы приподнявшее Сибирь в своем культурном уровне, позволившее ей выглядывать из-за Урала если не на равных с центральной Россией, то по крайней мере с повеселевшим и обнадеживающим взором.

Иркутский художественный музей, как известно, родился из картинной галереи бывшего многолетнего го-

родского головы Владимира Платоновича Сукачева, человека глубокого образования и патриотической деятельности. Его коллекция, в которую входили полотна Репина, Верещагина, Клодта, Маковского и других передвижников, а также и совсем залетная редкость — «Избрание апостолов» Н. Пуссена, как раз и была одним из ярких проявлений художественного самоутверждения Сибири. Сукачев скупал и свозил в Иркутск картины не из тщеславия богача, а из желания заронить в неискушенные искусством души своих земляков зерна красоты и вдохновения. Его собрание было доступно для всех, детей зазывали и впускали в галерею бесплатно. Еще до революции Сукачев мечтал передать коллекцию в собственность Иркутску, и только нерасторопность и безграмотность городских властей, а затем и начавшаяся мировая война помешали ему осуществить свое намерение.

Впрочем, все эти подробности вы найдете в книге...

Вы не найдете в ней того, что автор не мог сказать из-за своего авторства, испытывая понятную неловкость говорить о собственной роли в судьбе музея. А она, эта роль, огромна и выполнялась на протяжении нескольких десятилетий с редким самозабвением и устремленностью. Признавая, что музей наш с самого начала родился под счастливой звездой, самое большое счастье и удачу следует искать в служивших ему людях. Сразу после национализации сукачевского собрания хранителем галереи стал скульптор К. И. Померанцев, профессионально и тонко разбиравшийся в искусстве и в смутное время формализма и эпигонства не изменивший ему в угоду скороспелым и залихватским господствующим взглядам. С конца 20-х годов Померанцева в должности хранителя музея сменил Б. И. Лебединский, известный во всей стране художник, благодаря авторитету которого в художественном мире Иркутск обогатился многими

первоклассными экспонатами из русской и советской классики.

Затем — А. Д. Фатьянов... А. Д. Фатьянов из той необъяснимой породы людей, которые не просто работают в искусстве, а живут и дышат искусством, существуют в нем как в мире наиглавнейших ценностей. Перед такими людьми, фанатично отдающимися какому-либо делу, рождает даже удивление, которое не в состоянии проникнуть в их тайну, в пружину никогда не ослабевающего действия. Говорить об А. Д. Фатьянове общеизвестные вещи в том роде, что он горячий патриот своего города и края, строгий ценитель и вдохновенный пропагандист искусства, его чернорабочий и ученый, — мало: по отношению к нему все эти понятия надо возводить в степень и в особое, совсем не общего свойства, качество.

В большинстве случаев, когда автор, рассказывая о путях-дорогах, приведших в Иркутск те или иные сокровища, пишет «мы», следует понимать «я». В книге нельзя не поразиться такому факту: за два года (1948—1949) из государственных фондов наш музей получил экспонатов больше, чем все вместе взятые музеи страны!!! Восклицательные знаки, сколько их ни ставь, не передадут нашего восхищенного смятения перед подобной расторопностью. И какие экспонаты! Крамской, Саврасов, Тропинин, Петров-Водкин, Суриков, Маковский, Малявин и т. д., и т. д. Насколько поднялся после этого культурный градус Иркутска, подсчитать, к сожалению, нельзя, но то, что духовно-магнитное поле, необходимое для подъема, значительно усилилось, не должно вызывать в нас сомнений. И продолжает усиливаться.

В последние десятилетия и годы одним из основных источников пополнения музея стали частные коллекции. Дарители порой делают подношения воистину выше и ценней царских. Москвич Н. К. Величко за двадцать лет передал Иркутску более тысячи произведений самых разных жанров и направлений изобразительного искус-

ства, в том числе десятки древнейших икон. Но коллекционер, как известно, человек весьма разборчивый и куда попало и кому попало столь щедрые подарки подносить не будет. Его надо расположить не только к себе, но и к своему городу, суметь доказать, что далекий сибирский музей достойно и с великой пользой распорядится его достоянием. Чего стоит один вздох на квартире у другого дарителя, у Ф. Е. Вишневого, при виде вожделенного художника: «А Иркутск без Кипренского!» — сам собою вырвавшийся вздох, повторившийся в книге, благородным отчаянием своим заслуживший Иркутску Кипренского и заполнивший «Портретом военного» зиявшее «белое пятно» в собрании лучших мастеров прошлого. Бескорыстно, даром — это не так просто и не задарма, а при получении, лучше предположить при ощущении гарантий наиболее полного служения людям, в котором даритель видит продолжение своей жизни.

Искусство держится и вырастает не кампанией, ставящей благие, но поверхностные цели добиться культуры физическими средствами, а творчеством и подвижничеством. Дух, и в том числе дух высокого искусства, как сказано, дышит, где хочет, но легче всего ему дышится и живет среди преданных людей, в обстановке добросердечия и понимания.



В НЕКОТОРОМ ЦАРСТВЕ, В НЕКОТОРОМ ГОСУДАРСТВЕ...*

Ну что, казалось бы, для современного человека, все на свете знающего и едва ли не обо всем по-научному судящего, ну что ему эти сказки с их наивными и, на теперешний взгляд, устаревшими представлениями о добре и зле, о правде, и кривде, с допотопными фигурами Змея Горыныча, Бабы-Яги и Ивана-Царевича, с упрощенной моралью и пресно-фантастическими историями. Когда-то это представлялось, наверное, и хитро, и умно, и свежо, и поучительно, но с тех пор все смешалось на земле людей, все сместилось и сдвинулось: зло с успехом выдает себя за добро, Змей Горыныч перерядился в Ивана-Царевича, а повседневная жизнь на каждом шагу преподносит такие нравственные задачи, в которых не разобраться и с самым высшим образованием. Сказка как бы поникла перед всевозможными чудесами и сложностями нынешней жизни и должна лишь вызывать снисходительную усмешку просвещенного человека.

Должна? Если человек не превратился полностью в свою противоположность, не потерял душу — нет, не должна.

Мы раздвигаем глубинные границы материального, физического мира, а нравственность наша в своих основаниях остается неизменной, и основания эти высказаны давным-давно, нам остается лишь следовать им. Че-

* Предисловие к книге В. Зиповьева «Русские сказки Забайкалья».

человек, чтобы доказать себе, что в течение веков он преуспел в духовной мысли, говорит теперь столь мудроно и с такими огородами, что в его построениях сам черт ногу сломит, однако, если удастся, набравшись терпения и умения, добраться до смысла, то оказывается, что этот смысл прост и живет в народе с незапамятных времен. Вот почему маститый ученый, преодолев внешнюю, формальную ученость, нередко к концу жизни начинает размышлять теми же самыми понятиями, что и безграмотная деревенская старуха. Язык может быть иной, но суть размышлений та же, и это возвращение «блудного сына» в человековедческую материнскую мысль тем замечательней и примечательней, что оно наступает после искустельного опыта. В конце концов мысли, как и любому делу, важен результат — то, как ей внимают и как ее понимают.

«Сказка — ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок».

И урок немалый, высказанный поэтически и просто в надежде на столь же поэтическую и бесхитростную душу, способную по-детски чувствовать и полниться, забыв про просвещенный ум, и от чудесных приключений, и от обыкновенных бытовых историй с настежь раскрытым «уроком», и от всего образного, являющегося едва ли не главным чудом, строя сказыванья, и от умирительно-чистой, нетребовательной морали. Сказки создавались и сказывались не только для детей, но взрослый человек, внимая и отдаваясь сказке, чувствовал себя ребенком — не в возрасте ребенка, а в степени его впечатлительности и отзывчивости.

Представьте себе, как совсем еще в недавние времена, когда телевидение повсеместно не успело овладеть людьми беспощадным сладким гнетом, где-нибудь в деревне, где это заведено, собираются люди вечером на сказку. Сходятся в избе у умелого, памятливого рассказчика — тут и ребятишки, и старики, и мужики с ба-

бами, отработавшие трудный страдный день и ждущие такого же дня завтра. Располагаются в тесной избе на лавках, на полу, в ожидании переговариваются о делах. Быть может, потрескивая смолем, горит камин; быть может, светит уже «лампочка Ильича», это не так уж и важно. Рассказчик по принятому обычаю пробует отговориться: мол, на десять рядов все уже знаете, нового ничего не вспомнил, будет неинтересно. Его и не понукают, он начнет сам, как это было и на прошлой, и на позапрошлой неделе, не для того они, оторвавшись от дел, здесь собрались, чтобы уйти без сказки.

И он начинает. Возможно, он выбирает действительно знакомую старую сказку, которую сказывал этим людям не раз. Никто не перебьет его, не потребует нового зачина. Они входят в сказку с тем же простодушием, с каким встретились с ней когда-то впервые. Голос рассказчика меняется, становится певучим и многоголым, он принадлежит уже не хозяину избы, такому же, как они, мужику, а хозяину сказки, вернее, он принадлежит самой сказке, создавшей их всех для единого и счастливого откровенья.

Кто и когда сложил эту сказку, как она звучит теперь, кто и кому поведал ее впервые? Давайте не будем сейчас вспоминать о кочующих сюжетах, переходящих от народа к народу. Кто укоренил ее в нашем народе («Фу-фу, русским духом пахнет»), как изменилась она с той далекой и темной поры, какими словами звучала в самом начале? Он, тот, кто рассказывает ее сейчас, услышал ее от бабушки, а она в свою очередь тоже от бабушки — и сколько же поколений людей знало эту чудесную и красивую выдумку, пользовалось ее образами и переживало за ее героев, сколько она принесла за свой век людям невидимого добра?

Они слушают ее, то вздыхая, то коротко восклицая, когда не выдержать, чтоб ахом или охом не отозваться на необыкновенные события, живой душой полностью

отдаваясь сказке и не мешая ей. Но главное чудо не в том, что происходит в сказке, а в том, что происходит с ними. В их сердца незаметно, как капля по капле, с каждым словом входит любовь — любовь друг к другу, к своей земле и своей работе, чувство тесной и вечной связи со всеми, кто жил на этой земле раньше. Они словно бы ощущают их присутствие, их пришедший на знакомую сказку дух, потому и натянулся, изменился и задрожал голос рассказчика, вспоминающего теперь уже для всех, для нынешних и прежних слушателей.

Из фольклорных жанров только старинная песня способна, быть может, в еще большей степени к подобному родственному соединению людей. В песне отказывающееся от временных преград общинно-духовное чувство подводит человека так близко к полному озарению своей тайны и сути, что он едва ли не обмирает от этого проникновения.

Фольклор более и полнее, чем что-либо другое, выявляет народную душу. Изустро передававшиеся из поколения в поколение песни, сказки, былины, плачи и верования, не говоря уж о малых формах, несут в себе от самых корней духовную историю и духовную жизнь народа. Он выпевал, выплакивал и высказывал свою судьбу, предсказывал и загадывал ее, выставлял надежды, исполнения которых он заслужил, и тут же принимался иронизировать над собой: нет, не дожидаться ему никогда их исполнения. Он словно бы знал наперед свою долгую мученическую долю в мире и передал ее с тоской и болью, но без надрыва и отчаяния, защищаясь верой и веря, веря, веря... Не мыслители провидят грядущие пути своего народа, а сам народ, мыслителям остается отыскать в его высказанной многоголосо душе эти откровения и распознать их образный язык.

В сказке хорошо видно, как устроенная язычески душа русского человека, мало изменившаяся в христианстве, поклоняется матушке земле — наделяет живой и

чудесной силой все, что его окружает. Первая церковь для него — это природа, здесь его вера не заказана и здесь его чувство не натянуто. Пришедшие издревле к нам сказки, точно так же, как и песни, удивительно природны, естественны настолько, что трудно представить, чтобы они кем-то сочинялись и выправлялись, — кажется, раз и навсегда они даны родной землей вместе с языком, как поддержка и опора языку, как тот волшебный клубок, который, разматываясь, должен привести к желанной цели.

Многие надежды не сбылись, но одна сбылась наверняка: за долгие века развилась и расцвела душа русского человека, до конца исполнилась болью и радостью, и это тоже, надо полагать, доставляет ей страдания.

Обо всем устном народном творчестве в целом нужно сказать, что оно явилось и до сих пор является поддержкой и опорой нашему языку. Теперь, когда по многим причинам язык мельчает и пустеет русским словом, теперь в особенности: фольклорные записи для нас еще и ту имеют огромную ценность, что они передают живую народную речь. В своих ранних, да и не только в ранних, не обработанных литературно, записях фольклор — это заповедник языка. Прочитайте отсюда любую сказку, былину, вспомните песню и послушайте после того с кафедр, трибун: так мы говорили и так говорим. Нынче и разговорная речь немало подпорчена пустым, чужим или дурным словом. Массовая культура, массовая пропаганда, массовая мысль делают свое дело неумолимо.

Было время: без сказки не воспитывались дети (устно звучащая, живая сказка — совсем не то, что сказка из книжки), с нею жили и с нею старились взрослые. Ведь если наши бабушки и дедушки рассказывали сказки, значит, они с ними не расставались с детства, набираясь от них и мудрости, и поэзии, и любви. Было время: без песни не обходились ни общинная работа,

ни застолье, ни посиделки. В последний путь провожали с причетом, в котором слышались не только боль от горькой утраты близкого, но и поклонение всему своему роду-племени. Приступая к страде, разговаривали с землей, просили ее о помощи, а потом благодарили за щедрость. Ребенка усыпляли колыбельной, от которой и у матери отмякало после трудного дня и успокаивалось, принимая с благодарностью судьбу, сердце. И радостные и безрадостные события сопровождались обрядами. Народ не расставался с поэзией во всем круговороте жизни. И песенники, сказители, мастера меткого слова ценились в своем мире, пользовались уважением как люди особенные, выделенные богом для общей отрады.

Но... умирает фольклор, оставляя о себе воспоминания лишь в записях. Ушла в прошлое былина; похоже, мы свидетели последнего поколения, допевающего (не по радио) народную песню и досказывающего устную сказку. Остается лишь присловье, без которого, к счастью, русский человек, кажется, не может существовать. Расцвел чертополохом анекдот. Мы вступили в новую эру массовой поэзии, веселья и утех.

Прощаясь с фольклором, мы низко кланяемся ему за все то доброе и светлое, что он принес издалека и поселил в наших душах. Там, в глубинах этих душ, вопреки всесильным магнитным и электрическим полям нынешней эпохи, возделанное живой поэзией поле не самых худших чувств, заказанных человеку. Но, прощаясь с фольклором, читая теперь как воспоминание фольклорные записи, трудно удержаться и не воскликнуть с неистребимой надеждой:

«Какое же все-таки это удивительное богатство — сказка в русском языке и русский язык в сказке!»



С ЛЮБОВЬЮ И ВИНОЙ*

Проза Владимира Крупина — это нечто особое в нашей литературе, нечто выдающееся и на удивление простое.

Литература — процесс живой и, как все живое, имеет не только свои законы, но и свои привычки. При всей широкоохватности прозы (речь сейчас идет о прозе) разных направлений и жанров, разных манер и стилей, она выдержана или близка к тому, чтобы быть выдержанной, в классическом духе, в некотором смысле консервативна и для раскрытия характера, обрисовки пейзажа и сюжетного движения пользуется, в сущности, одними и теми же приемами. Она описательна — в том понятии, что слово ее имеет подготовленное значение и место и ритмически и художественно существует в ровных горизонтах, без резких подъемов и понижений. Литературное, описательное слово точно сцементировано в общем ряду и малоподвижно, его магия достигается общим рядом и общим настроением. Устное слово в тех же, предположим, фольклорных записях стоит свободно — не стоит, а постоянно движется, шевелится, выглядывает из ряда и имеет более самостоятельное значение. Для его восприятия требуется какое-то иное, «слуховое» внимание, график которого, если бы его удалось начертить, имел бы резко изломанную, «горную» линию.

Владимир Крупин соединил в себе обе манеры — и письменную, и устную, в его прозе очень сильный рассказывательский элемент. Впечатление такое, что пись-

* Предисловие к книге В. Крупина «Дорога домой».

мо ему дается легко: сел за стол и, рассказывая предполагаемым слушателям о том, как он ездил на свою родину или на родину друга, сам за собой записывает и едва успевает записывать события в той последовательности и подробностях, как они происходили. Но рассказывает и записывает сосредоточенно, живописно и эмоционально, не теряя за живостью и непосредственностью строгости и художественности. А это значит, что кажущаяся легкость слова на самом деле достается непросто, в тех же мучительных поисках, как и для всякого писателя, относящегося к слову с уважением. Это значит также, что оно, слово, встав в письменный ряд и приняв его правила, каким-то образом умеет сохранить и волю ряда устного, что оно становится шире и уверенней. В художественной литературе очень важно, чтобы слово стояло радостно, опытный читатель всегда увидит эту радость от точного употребления и желанной работы — так оно чаще всего у Крупина и есть.

Расстояние между читателем и писателем в книге — вещь реальная, и зависит оно от того, с каким сердцем, остывшим или участливым и болящим, пишется книга, насколько согрета она теплом авторских затрат. Холодное, пустое и исполненное на высоком профессиональном уровне произведение читается с душевным насилием, и это, как правило, «умственное» чтение, в нас говорит не потребность, а упрямство добраться до цели, чтобы облегченно вздохнуть над своим подвигом. Трудно найти сейчас другого такого писателя, который был бы в этом смысле так близок к читателю, как Владимир Крупин (в поэзии можно назвать Николая Рубцова), и достигается подобная близость, соседствующая с прямым собеседованием, редкой откровенностью и открытостью, живой обращенностью к столь же заинтересованному в их общем деле человеку. Пишет ли он от первого или от третьего лица, его герой весь на виду и ничего в себе не умеет скрывать, для Крупина личность не в том, чтобы

уйти в себя, а в том, чтобы бескорыстно прийти к людям.

Эта книга состоит из трех разделов, соответствующих возрастным этапам человеческой жизни: детство, юность и зрелость. Детство здесь счастливо, прежде всего, кругом, составляющим родную землю,— природой, общением с «меньшими братьями», первыми трудами и заботами, первыми трудностями и постоянной радостью каждый день быть среди родного. Доброта вкладывается в душу ребенка не столько словом и напутствием, сколько окружением и обстановкой, их целостностью и крепостью — духовной и моральной крепостью семьи и физическим обережением земли. Одно дело — открывать мир, поднявшись в вырубленную рядом с деревней вековую рощу и видеть вокруг за сведенными лесами оголенные и смещенные просторы, потерявшие тайну и притягательность, и совсем другое — мечтать о взрослости, о путешествиях и подвигах из середины заботливо сохраняемого отчего края. Потерянные дети, из которых вырастают дурные люди, привыкшие к разорению как норме жизни,— это еще и результат дурного хозяйствования, когда прошлое и будущее не имеют ни цены, ни значения.

В поэзии детства звучит здесь серьезное, без всякого умиления, уважение к детству, воспоминание о нем как о чистых и добрых наших началах.

Юность... Больше всего в этой романтической поре, когда молодой человек захлебывается от ощущений и возможностей жизни, когда он осознает себя силой и в упоении от первой самостоятельности, больше всего автора волнует в таком молодом человеке структура его души, лад между физическим и духовным. В юности нам является уже осуществившаяся в основных своих чертах личность. Конечно, недостаточно окрепшая и во взглядах не совсем утвердившаяся, жадно вбирающая в себя впечатления и настроения, но уже точно направленная к тому, чем ей в конце концов быть. Автор не

поучает, помня, что юность не терпит поучений, но мягко и неназойливо, почти незаметно для читателя подводит к основам человеческого бытия — к отзывчивости, самоотверженности, любви к ближнему и выражению себя в открытых поступках, к постепенному осознанию конечной истины: для подлинной свободы и счастья, для утешительного существования человеку необходимо больше отдавать, чем брать. Юность во всем ищет новизны и открытий; оставляя за ней право на внешнюю, физическую новизну, расширяющую мир чувств и познания, автор опять-таки негромко напоминает, что главные открытия ждут человека в себе самом, в самопознании, в углублении своего внутреннего, духовного мира, который огромен не менее, чем мир внешний. Нет ничего трагичней и невосполнимей для каждого из нас, как пройти мимо себя, изжить себя в стороне от себя, не осуществить себя в той красоте, которая уготована человеку рождением. Юности нелишне об этом знать. Каждое поколение рассчитывает на свою особую миссию в мире; нет нужды говорить, хорошо это или плохо, но каждое поколение, в свою очередь, должно быть готово к разочарованиям: всякий порядок не так просто поддается изменению. Быть может, самое важное в теперешнем положении вещей в свете — духовное восстановление человека как на старых, так и на новых началах, органическое и полезное их совмещение.

Книга составлена так, что в третьем разделе, включающем в себя зрелость, едва ли не главным мотивом является испытание героя сторонней землей, не той, на которой он был рожден. Вообще для Крупина это постоянный и больной вопрос, о котором он не перестает размышлять на протяжении многих лет. Насколько счастлив ребенок в окружении всего родного, насколько юности свойственно устремляться вслед за мечтой, которой не сидится дома, в манящие дали, настолько зрелость страдает своей оторванностью от родины и жадно соби-

рает все, что напоминает о ней и ей принадлежит: говорит на ее, казавшемся еще недавно неловком и некрасивом, языке, поет оставшиеся с детства старинные песни и частушки, отыскивает в приметах и верованиях народную душу, проникается любовью и пониманием ко всему прежнему укладу небогатой и невзыскательной жизни отцов и дедов и вспоминает, вспоминает... до изнеможения и страданий. И чем дальше, чем старше, тем больше. Эти страдания и незатихающий властный зов и заставляют в конце концов героя сесть в поезд или самолет, пересесть в автобус или попутную машину, и на исходе дня, когда печаль и усталость ложатся на родные холмы и поля, на озеро или речку и деревеньку подле них, войдет он в центр всего того, что в древности называли отчиной или дединой, оглянется в нетерпении вокруг, ожидая какого-то звука, какого-то знака, которые показали бы, что он и узнан, и принят, и прощен. Это хорошо, если жива еще родная деревенька. В тех краях, откуда вышел герой Вл. Крупина и которые зовутся Нечерноземьем, великое множество их, вытацивших в свое время Россию из малых и больших бед, попало в списки ненужных и было снесено с лица земли. В повести «Во всю Ивановскую» есть короткий, но запоминающийся эпизод, когда один из героев рассказывает, как он ездил в свою исчезнувшую по той же причине деревню и раскладывал на местах домов полевые цветы. В газетах стали появляться необычные информации о памятниках, которые ставятся бывшими односельчанами на пепелищах родным деревенькам. От коротких этих сообщений переворачивает душу. Куда, в какие запасы и для каких надобностей взяла Россия-мать их вековые труды и тепло, как она ими распорядится?

Герой Вл. Крупина не может не чувствовать и своей вины за осиротевшую и обесславленную родину, ее судьбу он справедливо связывает и со своим отъездом. И в общении с земляками, и в общем лике от-

чего края, и в незабытом прошлом, и в посещении могил истово ищет он великодушия родины, во всем высматривает приметы недолгого соединения себя с нею.

Но успокоен, утешен ли он, после нескольких дней свидания возвращающийся опять в новую жизнь, на свой клочок присутствия в большом городе, и прощающийся с нею на годы, если не навсегда?

О чем бы ни писал Вл. Крупин и для кого бы ни писал он, для маленьких или больших, снова и снова прямо или исподволь задает он этот вопрос: счастлив ли ты, человек, порвавший со своей родиной даже и ради того, чтобы где-то на умелой почве раскрылись твои таланты и зазвучало твое имя во всеобщее благо? И, если есть оно, счастье, если есть она, слава, понимаешь ли ты, чем они были оплачены?

И хотя герой его, как человек совестливый и памятливым, живущий с неизбывным чувством родины, хорошо все это понимает, такое понимание дает ему лишь возможность найти свое правильное местоположение в огромном физическом и нравственном мире, но не найти утешения.

Этого, надо полагать, автор и добивается — неутешенности и покоя.



«ЧТО НИ ВОЗЬМИ, ОДНИ ВОСПОМИНАНИЯ»

О романе Виктора Лихоносова

«Ненаписанные воспоминания»

Если наша литература, как мы говорим и как оно есть на самом деле, — литература памяти, то с этой книгой в нее добавляется сейчас одно из интереснейших произведений.

По внешней своей структуре это роман об Екатеринодаре (теперешнем Краснодаре) и о кубанском казачестве, которому еще Екатерина даровала привилегии, выделившие кубанцев в силу их пограничного положения и императорского благоволения к ним в особый отряд служилых людей, до последних дней царской власти составлявших своей отборной частью Конвой его Величества. Поэтому в романе есть все — и Царское Село, и приемы казачьих депутатий императором и членами императорской семьи, и российские юбилейные торжества, и празднества, связанные с историей казачества, и гражданская война, и исход с отступающими частями Добровольческой армии в Зарубежье, и нелегкая, мытарная жизнь там, вдали от Родины, а больше всего — многослойная и красочная жизнь в столице края Екатеринодаре, военный и будничный быт кубанцев. От высочайших особ и до простых казачек и монашек, от чистопородных великих князей, от знаменитостей искусства и политики до греческих и турецких иммигрантов, содержателей обжорок и притонов — круг действующих лиц в романе. От начал Запорожья и до наших дней —

время его действия. От Парижа и до Хуторка в степной глуши — место действия.

И все это в воспоминаниях. Это роман-воспоминание не только по материалу, но и по форме его изложения, когда автор отказывается пользоваться ширмами, скрывающими ветхие углы. «Из воспоминаний», «Из записок», «Из дневника» — обычное начало глав. «На этом записки обрываются» — случающийся их конец. Люди говорят перебивая друг друга, нередко об одних и тех же событиях говорят вразнобой, при повторении не обязательно прежнее воспоминание накладывается на новое. «Что ни возьми, одни воспоминания», — замечает один из самых говорливых и охочих до прошлого героев романа.

Здесь говорят не только герои. Надпись на могильном камне: «О люди! Что теперь вы, то и мы были некогда; что теперь мы, то и вы скоро станете». Даются объявления о смерти, документы и манифесты, письма, записки, стихи, газетные заметки, слухи. Чисто авторские страницы, где Виктор Лихоносов является в полное свое замечательное лирическое перо, то и дело перемежаются хроникой. И опять вступают в свою роль герои. «Будем же вспоминать! — приглашает автор. — Всякое время пройдет и всякому человеку придется оглядываться назад, туда, где уже нет никого». Он зовет к воспоминаниям с настойчивостью и нетерпением, с тревогой, что еще несколько лет, и не останется людей, способных дать важные свидетельства в пользу истины. Верно, что «история и время не сразу уносят своих свидетелей на кладбище», и все-таки нужно спешить, успеть в последний момент запечатлеть то время, после которого наступили другие времена, потребовавшие других летописцев.

«Выбор героев зависел от самой судьбы: на страницы романа вошли те люди, которые пережили других и больше всего мне рассказали. Разумеется, не все, а некоторые. Я временами черпал от мысли, что стараюсь

напрасно. И как все это связать, убедить современников в невинности своих взглядов, и нужно ли вообще оборачиваться так далеко назад? Погляди на нынешний день: не тени забытые, а живые люди трутся о твое плечо в трамвае, несут на горбушке деточек в сад, поют песни, горюют и читают в газетах о страшной войне во Вьетнаме. Я все это понимал и ничего с собою поделать не мог: жалко было и горожан, никем никогда не помянутых. Между тем нам никогда не проникнуться прошлой жизнью как следует. Тайна ее лежит на самом дне».

Должно быть, только наш писатель способен выставить как серьезную причину и право: «жалко было и горожан, никем никогда не помянутых». И возразить на эту наивную, казалось бы, и слабую причину нечем — столько в ее слабости и наивности силы и любви к человеку, столько милосердия и доступности, что она отчетливо воспринимается не как чудачество, а как изначальный закон, по которому где-то в каких-то глубинах неизвестных отбирали для жизни и слова. Задумаемся, отрешившись на минуту от суеты и тесного движущегося круга сегодняшнего бытия: да разве может приходивший в жизнь и заслуживший добрую память уйти окончательно, не получив ответного отзыва в наших днях? Красиво это, справедливо, порядочно? И если не заносит от такой несправедливости душа — что стало с этой душой?

Обслуживающее наши движения припоминание — это не память, а только функция памяти со всем тем деловым, что есть в этом слове. Память — понятие духовное, она есть родительское продолжение в живущих, неустанный отбор и обережение лучших человеческих качеств, действующая доброта, единственно правильная ответственность за судьбу родной земли. Сколько в человеке памяти, столько в нем человека. Сколько памяти — столько жизни в прошлом и будущем. Одни начинают жить с Киевской Руси, другие и собственный недолгий

праздник испортят грубым пиром. Из всех столпов любого государства память имеет самое большое и самое важное значение, и она должна быть первым гражданским государством. Народ велик не числом жителей, а животворной памятью, подвигающей к благим и безошибочным деяниям. Не только народы, но и цивилизации исчезали, если поколения живущих заражались эгоизмом и самостью.

Вот в чем прежде всего нужно видеть смысл этого романа, вот о чем наперебой и по-разному говорят его герои.

Нетрудно заметить, что в нем нет разделения на тех, кому играть роль и кому подыгрывать, кому изрекать истины и кому служить фоном для изрекающих. Да и сам роман — не роман в привычном обозначении жанра. Тут свободно, когда хотят, берут слово, без затруднений из героя превращаются в повествователя, переставляют с места на место времена. В нем не существует обычных строгостей «романного строя», действие вольное и широкозахватное. Даже автор здесь в двух ипостасях, как принято было в старой литературе: сначала якобы собирал воспоминания и писал один человек, а затем после его смерти дописывал и готовил рукопись к публикации другой. Казацкий язык звучит тут рядом с французским, грубоватые шутки соседствуют с изысканностью, старомодность с новейшими манерами. Чтобы сказать окончательное слово, здесь возвращаются из небытия, сплошь и рядом возможны удивительные случайности и странные несоответствия. Герою на этих страницах позволено говорить больше, чем автору, и в такие пускаться дебри многословия и пируэты острословия, которые обычному роману не выдержать. Это — как разлив, подхвативший всю ту жизнь, какая оказалась на его пути, со всеми водоворотами, зигзагами, омутами и возвратными путанными течениями.

Вместо Петра Толстопята, Дементия Бурсака, Каре-

лии Шкуропатской, Василия Попсуйшапки, Луки Костогрыза, Акима Угнивенки и наказного атамана Бабыча в романе, вероятно, могли быть другие люди (они и воспринимаются не как созданные воображением автора герои, а как бывшие под собственными именами лица), но неизменным осталось бы их время. Теперь уже исчезнувшее время. Исчезнувшее? Но прошлое не уходит бесследно, в каждом из нас оно оставляет следы и протягивается дальше. У прошлого нет границ, его отменить нельзя. Забвение прошлого — несчастье и ужас для последующих поколений, когда принявшие забвение уподобляются зверям, на рассвете нового дня пожирающим мясо растерзанных стариков, а не принявшие — мучаются от неполноты и неисполненности, от укороченности и духовного плебейства своего поколения. До сих пор мы не можем изжить в себе язычество и до сих пор невольно, из природы своей, поклоняемся отмененным божествам — как же нам отменить то, что было всего лишь десятки лет назад?!

Бессомненно, главный герой этого романа — Память. Память — как вечность и непрерывность человека, как постоянное движение из поколения в поколение духовного вещества. Нельзя жить на земле, не помня, чем здесь жили прежде, не зная о трудах, славе, присяге и искренних заблуждениях наших предков. Не помня по именам самых знаменитых из них и праведных, чьими мыслями и заслугами мы продолжаем пользоваться как само собой разумеющимся, как извечно существующим, подобно творениям природы. Безымянное и беспмятное пользование — тоже воровство. Собственность, в чьих бы руках она ни была, должна иметь духовное наследование. Мы уверенней и сильнее себя чувствуем, когда получаем не только власть над нею, но и право на нее, от этого мы становимся продолжительнее во времени и надежнее в своих внутренних связях. Наконец, мы обретаем совесть, обретаем ее на словах, а на деле, в

принятом человеческом законоположении. Мы начинаем ощущать, что мы есть в полном движении времени.

Эти мысли невольно сопровождают чтение романа. О роли нашего поколения в ряду поколений, о мере возможного восстановления литературой и искусством нарушенной памяти, о наполнении жизнью минувших дат и событий. Вот для чего звучат и звучат, перебивая друг друга и боясь не досказать, голоса под аккомпанемент: «И придут времена и исполнятся сроки» — да еще: «Так проходит слава земная», под аккомпанемент трагического и комического, возвышенного и простого. Мы не истину в готовом виде получаем из этих воспоминаний, а жизнь, оставшуюся вслед за нею картину, из которой можно вывести часть истины. Память становится здесь материальным ощущением времени, людские судьбы рисуют его общую судьбу. И горькая правда настигает нас: самодовольство живущего — лишь по праву живущего, не умеющего слышать и понимать голоса.

Жили люди и были не последнего ума и сердца, совершая поступки во имя родной земли, рассуждая о ней то с отрадой, то с горечью, но с неизменной надеждой. Всякий поступок оставляет после себя след. А мысль? Она тоже участвует в поступке, но сама она, неподхваченная и незаписанная, но составленная искренней душой, достигающая порой абсолютной верности, услышанная абсолютным слухом, высвеченная божественным озарением, — не пропадает ли она, сказанная в «полевых условиях» жизни, навсегда, так что людям затем останется искать только ее слабые подобия? Задумывались ли мы когда-нибудь над тем, что в трагические моменты истории, каковым явилась в нашем народе гражданская война, человеческое откровение, доходившее в страданиях до последних пределов, наполовину безвозвратно утеряно? Не произошло ли то же самое в Отечественную войну? Единицы вели записи своих чувств, наблюдений и дум, десятки могли после воспро-

известии их приблизительный и смутный след, главное же богатство (не есть ли это также национальное богатство?) кануло окончательно.

Мысль, кажется, не имеет воспоминания, но такова общая атмосфера этого романа, что верится — имеет, что многие и многие рассуждения о Родине и ее судьбе дошли до нас в собственном звучании, в документальной записи. Испытываешь сквозь искушенную душу невольное чувство радости, что сохранилось и спустя много лет отыскалось въяви, доносящееся теперь, как эхо, многоголосое незатихшее слово отстрадававших кубанцев.

Да нет же: и мысль, и чувство, конечно, имеют воспоминания, только, как и для поступка, для этого им нужны весомость и полнокровность, первоточность и страсть, способные произвести сильное впечатление. Наверное, благодаря неверному воспоминанию и появилось — «мысль изреченная есть ложь». Но это уже другой разговор, не имеющий отношения к роману.

Строгий и придиричивый критик легко отыщет в этом романе недостатки. Прежде всего, он обратит внимание на много- и велеречивость героев и экипировку действия, подвигающегося не боевым казачьим порядком, а растянувшимся обозом, подбирающим всякого, кто в него попросится. «Зачем, — с справедливым укором спросит он, — столько внимания и страниц было уделять, например, Олимпиаде Швыдкой, женщине сомнительной репутации и непредсказуемых поступков, вплоть до того, что, отмолившая тяжкие свои грехи и почившая, вновь появляется она в наше время в верхнем полукруглом окне двухэтажного краснодарского дома? Ну, коли как реликвия особого рода и потребовалась Олимпиада Швыдка, то к чему бабушки бабушек со своими полусвязными воспоминаниями, к чему приبلудшие к действию, рыскающие по степи казаки, ищущие наказного атамана, чтобы выпросить у того всего лишь бычка симментальской породы, к чему напрочь забытые ныне зна-

менитости в своих и чужих пределах, огружающие и без того заполненный роман и замедляющие его движение?»

И он будет прав, этот взыскательный критик. Он будет прав — если смотреть на роман как на должное существовать в строгих литературных нормах обычное произведение. Если смотреть на него как на работу, которой не удалось стать обычной, или, правильной сказать, выдающейся в обычном. Но этот роман с самого начала так был задуман и так создавался, что он сразу вышел из ряда, и законы этого ряда к нему применять бессмысленно. Не из тщеславия или литературного бунта он вышел, а из сознательного и открытого доступа в себя всякого, кому есть что сказать даже как бы и по сказанному — для подтверждения сказанного или сомнения в нем. Автор заботился не о стройности и спортивности фигуры своего романа, а о полноте памяти, о воссоздании по возможности всех живых связей.

Это книга с нарочитой, с небывалой, пожалуй, свободой рассказывания, когда меняются и стили, и голоса, и языки, когда блестящее по своей выразительности перо автора, каким оно является нам в некоторых главах, со вздохом обрывает себя и переходит на документальную запись времени. Здесь властвует Время, властвует везде и во всем, над человеком и над землей.

Образ Времени для человека, вышедшего за его пределы, имеет обычно монументальные и застывшие черты. Хотим мы того или не хотим, но первое двадцатилетие нынешнего века существует в нашем сознании в виде определенных символов — ушли люди, отзвучали голоса, погасли страсти, одни деяния живших тогда мы признали, от других отказались. Мы смотрим на него с собственных позиций и с мерками собственной жизни, а оно было полнее, живее, величественнее, проще и трагичней. Отражаясь в человеке и его истории, оно тем самым имело начала и концы, продолжения и притоки, ошибки и заблуждения, само же по себе оно было мо-

гущественным, бесконечным и единственным течением.

Растерянно и восторженно прислушиваясь к космическому движению Времени с тщетой человека установить в нем себя — «Ранней степью простучали на подводе какие-то люди и исчезли. Как всегда, как во веки вечные. Проехали, и нету их до сего дня...», Виктор Лихоносов предпринимает героические усилия восстановить земной облик Времени не в столь отдаленном его течении по кубанским пределам. И это ему удастся вполне. Читатель не однажды с удивлением поймает себя на том, что он словно бы не читает, а прислушивается: так звучало Время. Роман впустил в себя множество голосов, и по ним, а не наоборот, отыскивал он своих героев. Отыскивал иногда за тридевять земель, чтобы по возможности составить полное свидетельство принадлежавшей им эпохи. Судить или возвеличивать их — это уже наше дело, однако, кроме нашего приговора, они уже судимы и возвеличены Временем.

Открытая озвученность романа произведет, вероятно, на читателя необычное и непривычное впечатление и вызовет споры и противоположные суждения. Но отказать ему в беспристрастности и правде нельзя. Эта правда шире и вместительней, чем мы привыкли видеть ее в книге, она не есть готовое, художественным словом сказанное мнение, а только данные для мнения, которые потребуют немалой духовной и исторической подготовленности, немалого нравственного труда при восприятии и для сердечного отзыва.

Быть может, главное в романе: человеческий отзыв на человеческую жизнь, право каждой жизни и каждого времени на неиспорченную память.



ИСПОВЕДИМЫ ПУТИ ТВОИ...

О рассказах Геннадия Николаева

О рассказах Геннадия Николаева говорить нелегко. На первый взгляд, они и просты, и сюжетны, их можно пересказывать — главное условие простоты и сюжетности, но как только начинаешь их хотя бы мысленно пересказывать, понимаешь, что они не о том и что словами можно передать лишь малую и второстепенную часть их сути.

По внешней оболочке вообще, очевидно, нельзя судить ни о рассказе, ни о повести. Если перед нами подлинная литература, а не подобие ее, она по той дороге, по которой происходит видимое перемещение действия в рассказе, не груз повезет, а дух понесет, и это уж ее дело, ее забота и тайна, как, какими физическими или мистическими средствами она этого добьется. В природе художественного творчества противоречий, надо полагать, больше, чем мы привыкли их замечать. Одно из них заключается в том, что сюжетное, событийное движение, за которым читатель следит, казалось бы, прежде всего, а потому автор продумывает и выверяет тщательней всего, на деле, похоже, лишь отдаляет читателя от писателя. Читатель, следя за перемещением героев и переживая их судьбы, невольно вовлекается в определенную игру, условия которой ему известны заранее: представим себе, что так было. Эта условность действия и восприятия бывает заманчивой, бывает даже, что в мастерском исполнении она почти перестает быть условностью, полностью подчиняя себе наши чувства, и тем не менее опытный читатель не забывает: это только

правила игры. И чем больше в литературном произведении страстей, чем замысловатей сюжетные движения, тем сильнее отчуждение между автором и человеком, сидящим за книгой. Никто из нас не любит, чтобы нам диктовали условия, если мы договаривались только о правилах. А сближает их не самое действие, а та скрытая и невидимая сила, с помощью которой действие происходит и которая, как это и бывает в механике, направлена в обратную сторону. Литература так далека от механики, что кощунственным кажется делать подобные сравнения, и все же нечто похожее случается и в восприятии книги: герои уйдут и уедут, скрывшись из виду, и происшедшее с ними в конце концов забудется, но то, что произошло благодаря героям с читателем, внутренняя движущая сила их нравственного и духовного возбуждения останется в нем навсегда. На это, прежде всего, он и рассчитывает, беря в руки книгу, с ощущением меры этого он и закрывает ее.

О чем, к примеру, у Геннадия Николаева рассказ «По важному делу», если попытаться передать его содержание? Доярка Олена Кононыхина, женщина не первой молодости, у которой уже и сын служит в армии, забеременела после смерти мужа от похаживающего к ней фельдшера Николая Ивановича Полшкова, человека также немолодого, но еще крепкого, порядочного, уговаривающего Олену оформить их связь по закону. Не зная, как разрешить свои сомнения, Олена Кононыхина едет за поддержкой сначала в Москву к сестре, у которой живет мать, а затем к сыну под Ленинград. И там, и там ей советуют, не мудрствуя лукаво, сходить с хорошим человеком и родить от него ребенка.

А содержание ли это рассказа? В том-то и дело, что нет, что это всего только оболочка, «рубашка», в которой существует подлинное содержание. Оно — в меняющемся состоянии героини, в ее отношении к себе, к своему «интересному» положению и к людям: к Николаю

Ивановичу, сестре, матери, сыну, а вместе с тем и ко всему миру. Содержание — в стыде ее, который она несет в себе как огромную и сладкую тяжесть, в ощущениях и неурочности и неуместности случившегося, и в то же время желанности его, в желанности всего, что вокруг нее происходит. Содержание — в противоречиях вовсе не противоречивого, казалось бы, свойства, которые тем и трудны, что они не всякому понятны и не всякому подвластны и потому требуют обостренной чувствительности и тонкого пера. Главное содержание — в душе героини, в том, что нельзя передать не только словами, но нелегко и внять чувствами, что находится как бы вне известных нам органов восприятия и доносится лишь в счастливые мгновения душевного совпадения.

И это, надо полагать, основное содержание в литературе, когда есть то, что не поддается аналитическому взгляду и существует поверх, позадь или поглубь принятого за содержание текста. В нем, как это ни парадоксально может показаться, участвует и читатель: это «что-то» находится в пространстве свободном, не заполненном словом, оно подготовлено для принимающего чувства, но не названо и может быть услышано и оживлено, одухотворено в полную силу лишь чутким ухом.

И еще один рассказ хотелось бы привести в подтверждение этой мысли и попробовать сравнить внешнее и внутреннее.

Рассказ этот — «Чистые «хвосты». В нем директор крупного химкомбината Морохов, замотанный неубывающим рабочим напряжением, постоянным «надо» во что бы то ни стало и надорвавший ими сердце пожилой человек, чувствующий, что скоро, судя по всему, его отправят на пенсию, но привыкший и к силе своей и к славе, в один из обычных нелегких дней, в который особенно накатили на него предчувствия и неприятности, садится в машину, назначает встречу молодой любовнице и едет с нею на лоно природы.

История не новая и, в сущности, банальная: бывало, есть и будет, писали и будут писать. И, конечно, ради этой истории в голом ее виде Геннадий Николаев не стал бы затевать рассказ. И коли он его затеял, значит, рассчитывал, воспользовавшись известной схемой, сказать что-то свое — разумеется, не в оправдание или осуждение схемы, а во имя осмысливания жизни.

Мы и в литературе привыкли, к сожалению, все раскладывать по полочкам: это хорошо в действиях героя, а это плохо, это нужно и важно, а это не нужно и не важно. У нас во всех обстоятельствах должны быть правые и виноватые, на кого можно было бы равняться и с кого можно спрашивать если не судом закона, то по крайней мере нравственным судом. А если виноватых нет? То есть, в сущности, они есть, следствия без причин не бывает, но истоки вины уходят так далеко, что проследить их во всей полноте в небольшом литературном произведении не представляется возможным, и даже при всей широте суда нравственного (Шатов в «Бесах» у Достоевского: «Все виноваты, все виноваты... и если бы в этом все убедились») применение его должно быть осторожным. Тут уже вступает в силу сама жизнь, непомерная ее сложность, не поддающаяся никакой раскадровке, и стихийная выверенность, расставляющая, вопреки нашим суждениям, все по своим собственным местам, и конечная обреченность человека, тут предчувствие, подсознание, интуиция, изданные, изначальные ощущения оказываются важнее действия и его результата.

Словно бы ни с чего, без всякой серьезной причины возникает и начинает болеть у Морохова душа. И любовница, и завод, и хлопоты дня — это все мирское, мелкое, обладающее немалой властью временного и мирского, чем всю жизнь занимался герой, но на этот раз он вдруг почувствовал в себе требовательное присутствие чего-то иного, чего-то из другого порядка мировосприя-

тия. Оно как бы находилось в нем всегда, но до поры не хотело обнаруживать себя. Или это он, с утра до ночи занятый важными, как ему представлялось, государственными делами, не находил времени прислушаться к своему ненавязчивому спутнику. Так или иначе встреча между ними наконец состоялась. Состоялась встреча его с самим собой — с тем, что вложено в него было от рождения вместе с сердцем и, как сердце же, необходимое для существования — и надолго отверженное в избранном существовании. «Та далекая жизнь, словно не его, а вычитанная в книжке или увиденная в кино, стояла перед ним — яркая, сочная, манящая. И чем больше он вспоминал, тем острее щемило сердце и горячее накатывало на глаза. Как на некоем чудесном экране, он увидел себя теперешнего, лежащего на поляне у затончика, и тогдашнего, сидящего на краю обрыва, свесившего босые ноги и глядящего в синюю даль реки. И словно бы не было никакой другой жизни между этими двумя днями. Словно тот кудлатый и плечистый Ванятка по злому колдовскому наговору в один миг превратился в грузного измученного мужика. «Как же так? Как же так?» — бессвязно думал он, сам не зная, что значит это самое «как же так?». Он и недоумевал, куда же девалась вся остальная жизнь. Он и поражался тому, что был когда-то по-настоящему счастлив — свободен и счастлив. Он и горевал о жизни, многих-многих днях жизни, которые промелькнули, как зубцы стремительно вращающейся шестеренки».

Смутно и слабо, без определенности и громкоголосия, к которым он привык, но доносится все-таки до Морохова истина о себе — о неверности его себе, об измене изначально заложенному в нем человеку. И слово «свобода» появляется здесь не случайно. Да, был когда-то в молодые годы свободен и счастлив, потому что был естествен и прост в жизни, следовал ей и в то время еще наследовал качества, данные человеку для целей

какого-то общего следования и совершенствования. Но из двух осмысленных философией путей человека — свободы и необходимости — вместе со многими он избрал наиболее легкий: путь необходимости. И жил под неизменно подстегивающее «надо, надо, надо!». «Но что подделаешь! — пускал комбинат, цех за цехом, корпус за корпусом, все пять лет». И до того такая же погоняловка, и после того. С женой — «...бывало, месяцами виделись только мельком, утром за завтраком да поздно ночью, если жена случайно просыпалась от скрипа кровати под его грузным телом, когда он валился почти бездыханный от усталости». Он был кем или чем угодно — функцией, ролью, шестеренкой, но не самим собой, и, считая себя человеком всемогущим, ворочающим огромной людской и технической силой, в сущности, давно превратился в раба. Со времен древности раб сильно преобразился, рабство стало понятием внутреннего закрепощения, синонимом неразборчивости и неодолимости, полной подчиненности влияющим обстоятельствам. Рабство в наш век — это механическое исполнение жизни, когда торопливыми, необязательными и неестественными становятся все связи человека — с семьей, с рабочим окружением, с самим собой, с природой. И то, что должно бы расширять возможности человека, напротив, ограничило их до безличностного состояния.

Безрадостным (еще не окончательным) было прозрение Морохова: все, не оплаченное душой или оплаченное небрежно, предъявляет тяжелый счет. Оправдательное «что подделаешь?!», ходкое в житейских отговорках, получает на этот раз полный смысл: ничего не подделаешь, от подобного прозрения человеку никуда не уйти, не бывает тому, чтобы закончил он дни и труды свои без правды о себе, которую скажет себе он сам, которую скажет ему его исполненное или не исполненное родовое назначение.

Редко случается, чтобы «кривая» вывозила на правильную дорогу.

Сродни директору комбината Морохову главный снабженец крупного московского завода Максим Тимофеевич Кочегуров (рассказ «Краники»). Это одного поля ягода — поля, возвращенного научно-технической революцией. Оба они вышли когда-то из деревни, оба вспоминают о ней не только с теплотой, свойственной всем, кто обращается к поре молодости, но и с каким-то особенным откровением и озарением. Оба не чувствуют теперь опоры ни в семье, ни в работе, ни в друзьях, оба одиноки и заглядывают в свою душу только тогда, когда их пути на выходе из жизни сужаются до непривычной стесненности. У того и у другого отказывает сердце: сказалась преждевременная изношенность его механическим образом жизни, для которого надежней был бы воспетый «вместо сердца пламенный мотор». Правилom и законом действия для обоих было: «Надо! Срочно! Давай!»

«Надо» двигало им всю жизнь, и он не задумывался над тем, действительно ли надо то, что он добывал, — таких вопросов у него не возникало, ему говорили «надо», и он соображал сразу практически: как, где, через кого, каким образом, — лишь бы выполнить поручение, добыть, обеспечить».

Это о Кочегурове. То же самое можно сказать о Морохове. Оба они считают себя людьми дела, ради дела готовы на все, и оба, как и должно быть, извращены в своей человеческой сути и опустошены им до предела. У Кочегурова, ушедшего в служебном рвении поперед Морохова, это опустошение доходит, кажется, до конечного результата: вместе с ящиком невероятными усилиями добытых краников для химнасосов его с инфарктом увозят на «скорой помощи» в больницу.

Жаль их? Конечно. С недоумением, что же это было, ради чего они надрывались, они так и уйдут из жизни.

Из каждого из них состоялся специалист, но не человек. Человеческим в себе они пренебрегли: легче делать потуги физические, нежели духовные. Радости, доставляемые иногда нашим героям физической жизнью, и есть, фигурально выражаясь, те самые «хвосты», отходы промышленного производства, чистотой которых докучают Морохову: живительными им не быть.

Так что же — судить этих людей за их человеческую несостоятельность доступным нам нравственным судом или не судить? Автор не судит. Для него важнее показать эту несостоятельность, показать их растерянность перед тем очевидным фактом, что жизнь, в самую гущу которой они себя помещали и без своего энергичного вмешательства поступательного движения которой не представляли, шла, оказывается, отдельно от них и вовсе не благодаря им.

Автор не судит их, предоставляя это право читателю, зная хорошо, что заблуждение его героев, если можно назвать подобное инженерное переустройство человека заблуждением, посило характер массового подвижнического возбуждения и было благообосновано. Но нравственной ответственности автор с них не снимает — ответственности, прежде всего, за себя, за обеспечение своего человеческого состава, который не есть физическая плоть. В физической плоти под видом человека может быть, как мы знаем, и зверь, и бездушное орудие, и что угодно; человеческий состав подразумевает, очевидно, высокое и свободное сознание, делающее человека личностью. Личность — не сильный характер, подобный Морохову, а самостоятельный дух. О нем обязан заботиться сам человек, никто больше ему в том не помощник, и в этом смысле забвение самого себя — не благодеяние, а преступление перед всем тем множеством мира, которое сделало тебя человеком и возлагало на тебя добродетельные надежды.

Не всякий материал дает основания для подобных

размышлений. Тем более что в рассказах Геннадия Николаева нет прямого выхода и подталкивания к ним, в рассказах словно бы свои скромные задачи, не претеплующие на широкие обобщения. Но суть этих скромных и локальных задач такова, что они, обладая энергией возбуждения, сами собой приводят к раздумьям отнюдь не малого и не шуточного характера, связанным с положением и ролью человека в жизни.

В рассказе «Танька» уже не конечная, а едва ли не первая серьезная растерянность перед жизнью, перед ее могучим и загадочным потоком. Танька Стрыгина, молодая работница мясокомбината, выходит замуж за неплохого, может быть, но совсем не любимого ею человека, выходит вопреки своей воле и чувствам. Ну, подталкивали к тому родители, но не настолько, чтобы нельзя было настоять на своем. Ну, не состоялась любовь с Колей Лутошкиным, о которой Танька втайне мечтала, но это была не та любовь и не то чувство, без которых хоть головой в прорубь, а не только за первого попавшего. И тем не менее весь круг обстоятельств, вся невольна сложившаяся обстановка, словно бы общая предрешенность роковым образом принуждает Таньку, девушку к тому же с характером и чувством собственного достоинства, к неприятному ей шагу. Не получилось: «человек своей судьбы хозяин», судьба оказалась сильнее человека. Рассказ, разумеется, не о том, чтобы человек мирился с обстоятельствами и не сопротивлялся судьбе, раз и навсегда предопределенной ему сторонними силами. И не о том он, что «смирится — слюбится». Ни к чему он не призывает, ни от чего прямо не предостерегает. Он, вероятней всего, о трудном пути человека в жизни, о неравных и непредсказуемых отношениях его с миром, к которому нельзя, как принято еще у нас, подходить с общим аршином и общими требованиями: я пришел — изволь сделать меня счастливым. Несчастье человека не только во внешних жизнен-

ных неудачах, но прежде того еще — в отсутствии духовного материала для заслуженного житием счастья — того материала, который, к сожалению, нередко бывает вытравлен в нас грубым и чересчур определенным воспитанием, не допускающим идеалистических ростков.

И об этом заставляют серьезно задуматься рассказы Г. Николаева. Достоинство человека не в том, как поставить себя в жизни, а глубже — как послужить жизни, общей и извечной ее гуманной направленности, вопреки, иной раз, принятым правилам.

В конечном итоге, как правило, рассказы Г. Николаева — о призвании человека. Не о профессиональном призвании, а, приподнимая слово, — о призванности его быть человеком, чувствовать в себе свое добротворное назначение. От гордыни до рабства огромные просторы, в которых человек с успехом может его исполнять. И границы эти совсем рядом сходятся в нас, когда мы не даем себе труда понять, что хорошо и что плохо вокруг нас, когда наша духовная и нравственная неразборчивость, бывая деятельной и даже воинствующей, приводит к перерождению в нас человека из закономерности в случайность.

Страшная это, наверное, вещь: понять на склоне лет, от себя же, молчаливо наблюдавшего за собой долгие годы, услышать однажды, что, ненароком отклонившись когда-то от заданного тебе направления, казалось бы, совсем не значительно, огромные усилия ты затратил на то, чтобы уйти в сторону.

Лучшие рассказы Геннадия Николаева, о которых шла здесь речь (к ним можно отнести еще и рассказ «Лесная подстанция»), для того, можно предполагать, и написаны, тем и одушевлены, чтобы с тревогой и участием еще раз напомнить: сложны и таинственны, но исповедимы и ответственны пути твои, человек, — пути твои во имя твое!



ЖИЛА-БЫЛА СКАЗКА... ЖИВЕТ ЛИ ОНА?*

Русская душа, о которой принято говорить как о чем-то едином и целостном, при наших расстояниях понятие далеко не однозначное, столь же, пожалуй, просторное, как и наши границы. В Сибири она, бесспорно, жестче и решительней, под стать этой суровой земле, чем в средней полосе России, и более сродни русскому Северу, а в средней полосе — созерцательней и шире. Там и зима, и лето помягче, и вода в реках поспокойней и потеплей, и птицы поголосистей, и видно окрест подалее, так что издавна привык человек после трудов слушать, смотреть и мечтать...

Мысли о русской и славянской душе, о ее особенностях и питающих ее корнях невольно приходят в голову, когда читаешь прозу воронежского писателя Ивана Евсеенко. Задумываясь над его героями, над их сознательными и бессознательными поступками и над тем, когда, в какой грани сознательное переходит в бессознательное, размышляя о жизни этих героев в природном и вещественном мире, еще раз с удовольствием, словно это не литература, а бесспорное доказательство, убеждаешься в том, что внешние, временные обстоятельства могут ее, душу народную, наклонить в ту или иную сторону, но не могут искоренить ее основу, которая в сущности, в главном остается такой же, какой она была и сто, и двести лет назад и какой, шлифуясь по пути, продолжается она для конечных целей.

В русском человеке необычайно сильны природные, интуитивные метафизические начала. И даже сейчас, в

* Предисловие к книге И. Евсеенко «Крик коростеля».

наше время, они сберегаются тем старательней и загадочней, чем больше властвуют всепознаваемость и научно-технический прогресс, который перешел ныне, как и следовало ожидать, в научно-техническое иго. Писатель, я думаю, выигрывает, когда доверяется этим началам как в себе, так и в своих героях. Теперешний спор между «деревенщиками» и «производственниками» возник не сегодня, он есть продолжение в литературе на современных основаниях давнего, длящегося уже более века противоречия между теми, кто показывал человека в его природной взаимосвязи и взаимообусловленности с миром, и теми, кто даже и с самыми благими намерениями пытался оторвать его от родной стихии и родного духа во имя ли всемогущей идеи, или во имя всемогущего мотора.

Читая Ивана Евсеенко, не можешь отделаться от ощущения, что нигде больше, ни в какой другой литературе не могли появиться эти герои — и не в качестве подсобного, вспомогательного материала, а как основные выразители авторского мировосприятия. Я сознательно говорю «мировосприятия», а не «взглядов», не «идей» — там, где появляются специально выделенные взгляды и идеи, герои у И. Евсеенко, на мой взгляд, становятся беднее и проще (рассказы «Век живи — век учись» и «За тридевять земель»). Даже и общее правильное ощущение нынешней многотрудной и многосложной жизни значит для каждого из нас, в том числе и для писателя, очень и очень немало, а верное ощущение путей, по которым ей предстоит развиваться, — это уже и много. «Тихие» герои, заставляющие нас задуматься о тайне и судьбе народа, способствуют приобщению к этой судьбе, надо полагать, больше, чем герои резонерствующие, громкоговорящие, деятельно-правильные.

В рассказе «По щучьему велению» начальствующих трех рангов людей сопровождает на рыбалку в своих родных местах маленький сухонький старичок по имени

Емеля, а едут они на озеро, которое называется Тайным. Не много ли совпадений со знакомой каждому из нас с раннего детства народной сказкой, если добавить еще, что в Тайном, по слухам, живет огромная щука, едва ли не способная исполнять любые желания?

Но совпадения и повторения эти не случайны, рассказ для того и приближен максимально к сказке, что звучит в итоге как реквием по ней. И верно, жила в Тайном до этого вечера диковинная щука, и верно, даже выловленная и изжаренная, оказалась она способной исполнить тщеславные мечты некоторых героев рассказа. Но... сказке конец. Вместе с щукой жила в этих укромных и благословенных местах и заповедная сказка, наивная и трогательная, пришедшая из далекого далека от дедов наших и прадедов, звучавшая всегда, в любое время года, но с наступлением весны звучавшая особенно внятно в голосах и музыке родной природы, так что не услышать ее чуткому сердцу было невозможно.

И вот не стало ничего. «Емеля присел на песок, долго вслушивался в ночную безмолвную темноту, а потом, уловив в ней какое-то, только одному ему известное мгновение, подал чуть слышимый знак... Несколько минут он ждал ответа. Но так и не дождался: озеро молчало, холодное, бездыханное...»

Больше ему уже не звать Тайным. И не жить долго Емеле, если не найдет, не услышит он другую сказку. А как услышать? — не услышит, он мог понимать только эту, для нее он и был рожден.

Это и есть русская душа, которую называют иногда загадочной: и в яви жить трогательной сказкой. Отсюда многие ее достоинства и недостатки. Так она создана изначально, такой она, несмотря на изменения, пришла в сегодняшний мир, который ей хочется видеть более одушевленным и менее овеществленным.

Но сказка, отзывчивая существу нашему, чаще всего живет лишь в родных местах. Чтобы звучать всю жизнь,

ей нужно начаться в детстве, ей нужно заморозить нас, пока мы не материализовали и не уравнили в своих силах добро и зло, пока добро существует для нас в образе вездесущего ангела.

Мы до сих пор, то ли к счастью, то ли уже к несчастью, чересчур зависим от родной стихии. Нам не просто хорошо в поле, в лесу, у речки — мы часть их и исток, оттого в нас, как у старика Емели, до предела обострены зрение и слух, и природное чувство взаимосвязи и общего существования, чувство и общей нелегкой работы, и праздничной игры. И за тысячу лет христианства и сто лет новейшей философии в отношении к природе и всему природному вокруг себя мы остались язычниками. Это у нас в крови: мы и пню готовы поклониться, сожалея о срубленном дереве, как о погубленной жизни, и оплакать домашнюю скотину как самое близкое существо (рассказ «Заря вечерняя»), оплакивая тем самым не столько благополучие свое, сколько нарушенный вокруг нас мир. И потому именно, что мы не вышли, как другие, из естественного состояния своего национального характера, связанного с родной стихией, неразумное обращение с этой стихией для нас губительно вдвойне. Думая об отравленной среде, мы еще прежде должны подумать об отравленной душе.

Эту особенность нашего национального характера Иван Евсеев чувствует и показывает превосходно.

Герой повести «Крик коростеля» Николай, похоронив в деревне мать, берет с собой в город молоток, которым он заколачивал перед отъездом окна опустевшего родного дома. «Почему-то стало жалко оставлять его здесь в бездействии, в безработице, показалось, что ему будет горько лежать в темноте кладовки, постоянно вспоминая свою последнюю, такую тяжелую и такую неблагодарную работу.»

Попробуйте представить, что такое могло быть написано где-то помимо России. Не получится. И это не

выдуманно, сказано не для красного словца и не ради каких-либо ухищрений писательского ремесла — это замечено удивительно верно, оно есть во всех нас, в одних меньше, в других больше, но невольная вина и ответственность за все, что находится в одном с нами жизненном кругу, существовали в нас издавна. И если в ком нет теперь подобной вины и ответственности — не вышел ли он в соблазнительно раскрытый расхожий мир, где не хотят знать своего родного дома и его обычаев?

Она, книга эта, разумеется, шире по своему тематическому диапазону и интересней по кругу героев и их жизни, чем может показаться с моих слов. Я говорю сейчас о том, что она прежде всего затронула во мне. Другой читатель отыщет в ней что-то иное, третий — третье... В каждом из нас существуют как бы затененные, сумеречные углы, еще живые, но по каким-то причинам запущенные и полузабытые, без которых, однако, жизнь наша беднеет и все больше сужается к выходу. И если книга помогает их осветить — в каждом свой — написана она не напрасно.

Мне книга И. Евсеенко помогла вспомнить полузабытую сказку, живущую без слов в моих родных местах.



ПОСЛЕ РАН*

Помню, какое сильное впечатление произвела на меня, когда я впервые прочел ее, повесть «Раны». Произвела сильное впечатление — не значит ошеломила, подобно тому, например, как может ошеломить незнакомому прежде с Маркесом читателя его роман «Сто лет одиночества». Нет, тут было не ошеломление и не яркое удивление, а словно бы осторожное и медленное узнавание близкого и родного человека, когда-то спасшего тебе жизнь. Тут было точно воскрешение памяти — какого-то дальнего, заваленного чем попало участка ее, много лет молчаливо и верно служившего охраной важных в тебе человеческих начал, и вот теперь счастливо проявившегося.

На строгий, приученный к литературным правилам критический взгляд «Раны» — странная повесть. Более обыденной книги о войне трудно отыскать. Она как бы и не о войне даже, хотя события происходят там, на фронте. И опять надо оговориться: никаких особенных событий в ней не происходит, хотя есть и бомбежки, и бои, в которых гибнут люди, есть полная атмосфера боевой обстановки, но рассказано обо всем этом до того буднично и просто, не только без излишнего, но и вообще без всякого пафоса, что одно из другого как бы нисколько не выделяется и существует в одном общем ряду. Ряд этот — неимоверно тяжкая, но уже и привычная, постоянно опасная и, хочется выделить это слово, рабочая жизнь солдата на войне, ставшего солда-

* Предисловие к книге А. Зверева «Выздоровление».

том по суровой необходимости и относящегося к военным тяготам, в том числе и к самой смерти, с той же добросовестностью, основательностью и жертвенностью, с какой он привык относиться ко всякой страде.

Лишь русский человек способен на столь равноправное и в естественности своей глубоко природное и в то же время глубоко философское чувство к жизни и смерти. И лишь русский писатель, и сам возросший из этого зерна, способен без натуги и домысла такого человека показать.

Какие только ипостаси ни принимал русский характер в нашей литературе за последние десятилетия! Но прочел я «Раны» и подумал: да вот же он, здесь. Не буду говорить «настоящий», потому что слово это в наше время обросло, как ракушками, множеством посторонних оттенков, лучше сказать — живой, подлинный. А мы-то его, такого, было похоронили. Но и в самом деле непросто ему было выжить. Война для него тяжелое испытание, но опять-таки в ряду предшествующих испытаний, в которых любой другой человек мог легко ожесточиться и пропасть. Он, однако, вопреки всему не просто выжил, но и сохранил душу и сердце, терпение, добромыслие и любовь. И это само по себе чудо. Он и на войну пришел как бы с приглядкой: а нельзя ли ее такую, какая она есть, смирить любовью к человеку и миру. Оказалось, нельзя. Приходилось воевать, приходилось после ранений снова и снова возвращаться в строй, как перед войной снова и снова вращать корнями в новую землю, чтобы сохранить в себе исконного труженика, и уже одно существование подобного характера, даже при немногочисленности его, есть символ неборимости разумного в мире и человеческого в человеке. Искалеченный, едва живой, но победителем над врагом вернется он с войны на родину и, поправив там, на фронте, великие дела, отыщет себе здесь работу по силам и всем строем жизни своей возьмется за

поправление дел менее великих, но не менее необходимых, как в поле земли, так и в душе человека.

Нет, непобедим на фронте и непогубим в мире он, этот характер, сохранивший в себе духовную твердую и лучшие житейские черты русского народа.

Фигура Гневышева в «Ранах» — это удача не только писателя Алексея Зверева.

Критика наша, надо признать, довольно неповоротлива. Она как в святцы заглядывает в одни и те же имена, по которым и судит о состоянии всей литературы. Литература между тем и полнее и глубже, и при всей несвежести сравнения ее с айсбергом, оно, однако же, остается достаточно верным: то, что попадает в поле критического внимания, есть лишь малая часть действительной мощи нашей литературы. Там, в глубинах и на просторах России, многие и многие писатели чутко и верно улавливают происходящие в обществе духовные и нравственные движения и говорят о них с болью и верой, говорят честно и талантливо. И дело тут не в похвалах, которыми они обделены, а в том, чтобы высокую и чистую проповедь их книг знал и понимал наш так называемый большой читатель.

Алексей Зверев — человек уже далеко не молодой, успевший до того, как прийти в литературу, повоевать, много поработать в поле, на заводе и в школе. Но с тех пор и в литературе он успел немало. Чувство прочности и надежности прозы, какой-то особой важности ее в жизни охватывает всякий раз меня, когда я читаю повести и рассказы Зверева. Чувство полного доверия к автору, ко всему тому, что и как он пишет, хотя письмо его, лишенное всяких литературных ухищрений, напоминает порой устный рассказ — со всем удивительным богатством народной речи, но и со всей возможной неприглаженностью. Кажется, так и должно быть; кажется, без этого проза проигрывает в своих отношениях с читателем, становится как бы высоко-

мерной и одномерной в своем превосходстве над ним.

И еще одно качество привлекает в прозе А. Зверева: она проста и незаметна, бесхитростна и скромна настолько, что у тебя нет ощущения чтения, труда от чтения, а есть ощущение движения вместе с автором и его героями, видения, слышания, участия во всем том, что делают они. Так, читая и словно бы не читая, радуясь, ненавидя, сокрушаясь, печалась, соглашаясь и не соглашаясь — проживая, одним словом, ту же самую, что и они, жизнь, подвигаешься потихоньку к концу повествования, и в голову не придет спросить себя: а какие же автор здесь выдвигает проблемы? Их нет, то есть они есть на самом деле, но не на виду, как это случается сплошь и рядом, не для показа и приманки, а далеко внутри, и сходятся они в одно целое отдельными, не всегда замечаемыми в процессе чтения нитями только к концу, когда написанная жизнь, как река, втекает в какое-то другое, покуда неизвестное русло.

Мы слишком большое внимание стали придавать проблемам (а понятие это по-производственному жесткое и для литературы не совсем подходящее), ради них мы затеваем книги, возвышаем их над жизнью и забываем в конце концов с их высоты о жизни, о правде ее. Когда есть правда — не надо других, надстроенных, выдуманных, вымученных зачастую проблем, она есть главная и единственная проблема, и столько из нее вырастает всего, что успевай лишь убирать да осмысливать этот урожай. Но и писать правду не просто, она требует не только решимости и не только таланта, но вместе с ними и правильной, не склонной к конъюнктурным соблазнам, духовной ориентации.

Всем этим писатель Алексей Зверев, мне кажется, наделен щедро и распоряжается точно.



ВСЛЕД ЗА ТОПОЛТОЙ-РЕКОЙ...

О повести Георгия Семенова «Вольная натаска»

Как пишутся книги?

«По-разному», — ответите вы и будете, разумеется, правы. Книги пишутся по-разному, и даже у одного и того же писателя две книги никогда не повторяют пути друг друга, поскольку это живое и весьма мучительное дело, не имеющее ничего общего с механическим опытом.

Одни книги, и это читатель тоже знает, создаются по заранее составленному плану, который точно определяет и развитие событий, и развитие характеров. Поперед этого плана герой не встретит героиню и не объяснится ей в любви и вне этого строгого расчета он, разгорячившись, не стукнет кулаком по столу. Всеу свое время и свой черед. Можно бы снисходительно или даже осудительно отнестись к такого рода писательской методике, если бы не работали похожим образом и кое-кто из классиков, и кое-кто из уважаемых нами современников.

Другие книги, напротив, от начала и до конца рождаются как бы вслепую, без предварительной выверенности; автора в сложнейшем переплетении дорог и судеб, в несусветной их путанице-перепутанице смутно ведет то основное и не имеющее порой точного имени, ради чего и была задумана книга. Объявив главных героев, своих доверенных в книге, автор не всегда знает, что станется с ними в конце, каким они обрстут окружением; бывает, что он не знает даже, куда они ступят следующим шагом и что скажут следующим сло-

вом — ему интересно на равных проживать вместе с ними каждый новый день и вместе осознавать и проявлять себя всякий раз в новых и непредвиденных обстоятельствах. Тут происходит уже не наполнение определенной схемы жизнью, как в первом случае, а исполнение жизни, единственное и мучительное ее осуществление, переход из замысла в существование.

Это, пожалуй, противоположные, полярные способы создания книги, между которыми существует множество других, и число их с приходом в литературу каждого нового писателя продолжает расти.

Мне кажется, я знаю, представляю достаточно ясно, при самом общем взгляде, конечно, как писалась эта повесть. Я вынужден оговариваться потому, что совершенно точно этого знать нельзя, досконально это не дано проследить, думаю, даже и самому автору, как бы внимательно ни пытался он отыскать в своей памяти начальные истоки замысла. Происходя в нем, в его творческих недрах, это до поры до времени происходит помимо него, помимо его сознания и воли, способных фиксировать движение, и выказывается после какой-то (у одного больше, у другого меньше) стадии беспокойства, неуверенности, неопределенной и тяжелой зависимости от чего-то, что никак не удастся ухватить ни мыслью, ни чувством. Но вот в один чудесный момент вдруг выказалось, открылось, как речка Тополта, действующая в этой книге и набравшая сил, чтобы выйти из-под земли, — открылось на удивление и счастье истомившемуся писателю, и с чем захватило его это неожиданно явившееся движение, с тем и отправился он в долгий и трудный путь.

Тополта, речка Тополта... Но почему Тополта, откуда столь странное название и что оно означает?.. — вопрос этот, возникнув, тут же, еще не прозвучав до конца, ослабевает и не настаивает на ответе: Тополта как независимая ни от чего реальность уже есть, течет, а не

утопла, не ушла обратно в землю, мало-помалу она начинает позванивать в наших ушах кой-где на камушках, и мы сдаемся, наклоняясь над нею, чтобы зачерпнуть воды. Мы не только смирились, мы любим ее и готовы сколько угодно идти вдоль ее берегов, веря и в красоту, и в полноводье, и в счастливую, полезную для людей, судьбу и опасаясь в то же время, чтобы в тяжкий наш век не случилось с нею ничего нехорошего,— например, не задумал бы какой родившийся подле нее умник, возывев силу и власть, повернуть ее вспять...

Но это, простите, уже иная, из другого мира, реальность... мы же, пользуясь Тополтой (надо думать, из глубокой древности, из дали языческих времен это имя, донесшее в своем звучании смутную поступь времени), мы намерены говорить о течении повести.

Внимательный человек сразу же заметит, что она и начинается без особой заботы о своей строгости, как бог на душу положит, и вместо того, чтобы кратчайшей дорогой, рекомендуя по пути, как это принято, героев, выбрать на открытое место, где развернутся ее основные события, она с первых же шагов и с первых же строк круто забирает в сторону. Ну, предположим, начинать можно и не с Верочки Воркуевой, можно и с ее родителей, коли она главная героиня и корни ее нелегкого характера проследить на повредит, но зачем же сразу так много и так наизнанку Верочкиного отца, Олега Петровича? Ведь неплохой же в конце концов человек, хороший даже человек, а тяжесть и неловкое чувство от знакомства остаются. То же самое можно было рассказать постепенно, подготовив читателя...

Но это не все, далеко не все. В этом труднообъяснимом, с точки зрения принятых литературных правил, вигзаге есть, оказывается, к тому же и своя петля, еще более уводящая читателя от основного направления,— и как, под каким напором пошло течение не вниз, а дальше вверх, понять тем более нелегко, но, однако же, по-

шло, и, оттягивая встречу читателя с главными героями, автор неожиданно спускается со своих высот в герои сам и, прогуливаясь по ялтинской набережной, рассказывает о встречах с вовсе посторонними для нас с вами людьми. И даже когда он, сжалившись над нами, выводит наконец на сцену Верочку Воркуеву и Колю Бугоркова, то, странно даже, начинает почему-то с «пикового» положения, в котором они по неопытности оказались, как будто не было у них до того ничего более подходящего для знакомства. Но и в этом «пиковом» и щекотливом положении герои словно бы менялись местами и ведут себя, надо сказать, без всякой сообразной с обстоятельствами логики. Не дав и в самой малой степени разобраться, к чему он клонит, автор снова размашистым жестом забрасывает действие далеко в сторону, сведя нас на этот раз с дедом Коли Бугоркова, с Александром Сергеевичем, с человеком совершенно не подготовленным, чтобы о нем читали...

Да, но тут, поблизости от Лужков, где проживает старый Бугорков, течет Тополта...

«...Хрящеватое черное донышко, по которому скользит прозрачная ее вода, рябит поверхность, и чудится, будто река аспидной струей прыгает по камням, будто это заблудившаяся в березовых рощах горянка, занесшая сюда горячий нрав предков. Битком набитая почерневшими от тины камнями, скользит она среди березовых перелесков, дубняков, стиснутая сухими берегами, поросшими бессмертником, лиловым вереском и можжевельником.

Но за недалеким крутым изгибом уже не узнать речку Тополту. Высоко поднимаются над ней берега, густо заросшие мелким дубом. А сама река светлеет на песчаном донышке, и вода ее словно бы становится теплее. Смутно просматривается сквозь ровно и плавно движущиеся пласты воды золотистый песок».

Не напрасно, надо думать, вскоре прибудет сюда, на

берега Тополты, автор, а затем соберет здесь данной ему властью, чтобы не быть вдали от них, своих героев. Счастливые наступят тут для Верочки Воркуевой и Коли Бугоркова дни, но то будет разное и розное счастье, счастье прозрения и одиночества, вещего понимания, что никому не миновать своего крестного пути, и его, это счастье, в первую очередь откроет им Тополта, ее вольная и безбрежная вечная красота.

«Многолика и непостоянна Тополта! Не знаешь, что увидишь за следующим ее изгибом, чем поразит тебя своенравная красавица, в какой оденется наряд. То она течет спокойно и плавно, затаиваясь под нависшими кустами ивняка, зеленея омутами и тихими плесами. То вдруг раздробится на мельчайшие, сверкающие под солнцем осколки, шумно и торопливо побежит по мелким перекатам. То на ее пути встанет плоский островок, поросший нежно-зеленой травой, и река лениво разольется вширь, подмывая крутой лесистый и высокий берег, такой высокий, что чудится, будто река течет в горном ущелье, в вечных его сумерках и холодной сырости...»

Приведа не без умысла из книги эта картины, эти описания любимой автором Тополты, я готов перейти к прямому сравнению: течение повести напоминает течение реки с ее сложной, глубинной и до конца не разгаданной жизнью. И как река в истоке своем, выйдя на поверхность, на наши глаза, не является вдруг, из ничего, так и книга, открываясь, есть уже продолжение — и продолжение авторской мыслительной и чувственной работы, и продолжение жизни ее героев, и продолжение нашего восприятия искусства и окружающего мира. Границы книги гораздо шире ее начала и конца, она есть лишь обозримое, высвеченное пространство в ряду других пространств, и только тогда она, очевидно, может считаться принадлежностью искусства, когда этот свет не резок и не фальшив, когда наблюдению не мешает, а помогает то, что называется автором, и

когда, миновав это пространство, читатель выходит душевно обновленным и обеспокоенным: что я и зачем я?

Искусство, давно и очень точно замечено, проистекает из природы — и как кстати здесь это слово «проистекает».

Неровно и, кажется, даже неуверенно начинается повествование этой книги. Если продолжать сравнение с рекой — то углубится в бочажину, то отвернет в сторону, то незаметными, потайными ходами, скрыв течение, перекинется далеко вперед. Но как нет ничего ошибочного в движении реки, так и здесь затем, когда выправляется и набирает силу рассказ, понимаешь, что ничего не писалось напрасно, и если каждый поворот мысли и каждый событийный ход заранее не замечался и не выверялся, а был очевидным следующим толчком в общем движении, то ни один толчок не оказывался зряшным. В литературе вообще не может быть напрасно сказанного слова, если это истинное слово, и в какие бы глубины и в какие бы высоты оно ни возносилось, мы готовы следовать за ним с восторгом, куда угодно оно способно унести нас своим волшебством. Река, поворачивая то вправо, то влево, ищет и вымывает из земли необходимые ей соли; книга, выбирая загадочные, ведомые одному автору, пути, преследует ту же цель обогащения и наполнения — и когда это происходит, когда повествование, окрепнув, выходит на простор, где героям вольно, забыв обо всем на свете, в том числе о сюжетной фигуре, подолгу скрадывать глухаря или рассуждать о натаске охотничьей собаки (книга не зря называется «Вольная натаска», в этих простых с виду рассуждениях и мечтаниях старого Бугоркова, подведенных жирной чертой окончательного их результата, глубокий смысл), — тогда повествование, успевшее до того доказать свою естественность и правомерность, не вызывает в нас уже сомнения ни в чем. Оно словно бы выходит даже из-под власти творца его, которому остается лишь

надзирать, и то не всегда с успехом, чтобы в низких, удобных для разлива местах оно не выплескивалось из берегов, и автор, продолжая время от времени выступать в качестве активно действующего героя, поддерживает тем самым в нас это впечатление: книга идет своим путем — не подготовленным загодя, а избираемым естественным ходом художественного развития и реального бытования затронутых в ней вещей.

В самом деле — почему все без исключения герои в книге без определенно-правильного положительного или отрицательного лица?

Потому что такие они и есть, такими живут рядом с нами.

Почему Верочка Воркуева на протяжении всей книги позволяет себе странные поступки? Почему Коля Бугорков написан так, что своей безудержной откровенностью и духовной обнаженностью нередко вызывает в нас отвращение? Почему без всякой видимой причины так изменился в конце Верочкин муж?

Так было. Что поделаешь, если было... Книга своим течением захватила то, что попало ей по пути. Это жизнь, естественный и загадочный ее ход; это человеческий характер, в просторах, глубинах и бурях которого даже самая лучшая литература напоминает игрушечный бумажный кораблик.

Доказательством жизни является только жизнь и доказательством литературы является литература. В этой первобытной и примитивной, казалось бы, логике есть, очевидно, своя правда и непростота, если на протяжении многих веков все огромные и хитроумные по этому поводу построения возвращались в конце концов к тому же самому результату. И когда происходит встреча с литературой, что случается не так уж и часто, замирает, мне кажется, удивленно и настороженно жизнь вокруг нас, любопытствуя не без тревоги: что там, в книге, как я выгляжу там в глазах этого человека?

На сей раз этот человек — добрый и проникательный художник, давно любимый серьезным читателем, склонный ни преувеличивать, ни преуменьшать сложность нашего бытия, талантливо показывающий то, что в нем есть.



ТВОЙ СЫН, РОССИЯ, ГОРЯЧИЙ БРАТ НАШ...

О Василии Шукшине

Василий Шукшин!..

При этом имени что-то всякий раз с такой силой вздрагивает в нас и обмирает, чего мы, кажется, в себе и не знаем. Сознание наше, когда мы обращаемся к нему за разъяснениями, отсылает нас к чувству, чувство робеет: нет, это не у меня, это где-то дальше. И, пожалуй, самое близкое, с чем может быть поставлено рядом это ощущение,—какая-то невольная и незатухающая вина перед Шукшиным, стыд, сравнимый разве что со стыдом за несдержанное обещание. Что-то мы не сделали после Шукшина, что-то необходимое и важное, в чем-то, за что он бился, мы его не поддерживали. И это при том, что слава его теперь стала не меньше, а больше, чем была, слава его по мере переиздания книг и появления нового поколения читателей и зрителей значительно расширилась и углубилась, установилась в надежном своем качестве, и те, кто склонен был объяснять популярность Шукшина его преждевременной смертью и сердобольностью русской души, а то и определенной модой на Шукшина, вынуждены теперь призадуматься: дело, очевидно, в другом, нежели им представлялось...

Дело, разумеется, в другом, и не видеть, не понимать это с самого начала было, по меньшей мере, близоруко. Даже и слава его требует уточнения: она не есть нечто навязанное со стороны, когда от многократного назойливого склонения имя застревает в зубах,—нет, она есть результат внутреннего отзыва каждой души на яв-

ление Шукшина, результат огромной, не часто случающейся в народе по отношению к художнику, любви к нему. Для этого мало быть замечательным писателем и замечательным актером и режиссером кино, для этого надо значить для множества читающих и думающих людей нечто большее.

М. А. Шолохов сказал о Шукшине:

«Не пропустил он момент, когда народу захотелось сокровенного. И он рассказал о простом, негероическом, близком каждому так же просто, негромким голосом, очень доверительно. Отсюда взлет и тот широкий отклик, какой нашло творчество Шукшина в сердцах многих тысяч людей...»

В этих словах важней всего замечание о «моменте, когда народу захотелось сокровенного», если понимать еще под сокровенным чувство правды и жажду правды. А это так и именно так и следует понимать. Ни о чем больше с такой болью и с такой уверенностью не говорит и не повторяет Шукшин, ничто не утверждает с таким постоянством на протяжении всех пятнадцати лет работы, как НАРОД и ПРАВДА. Говорит и утверждает, не боясь высоты и громкости этих понятий, их безликости и холодности, и добивается почти невозможного для художника: сближает человека с народом, дотягивается до правды искренностью и горячностью. Нам не дано измерить расстояние, на которое произошло сближение, но то, что оно произошло, мы должны были почувствовать.

«Нравственность есть правда,— писал Шукшин.— Не просто правда, а — Правда. Ибо это мужество, честность, это значит — жить народной радостью и болью, думать, как думает народ, потому что народ всегда знает Правду».

И вот как в сказке «До третьих петухов», когда Иванушка-дурачок, древний и вечный сказочный персонаж в русском фольклоре и плоть от плоти русского народа, отправляется по белу свету за справкой, которой было

бы удостоверено, что он вовсе не дурак, так с первых же рассказов «чудик», этот неизменный герой Василия Шукшина, отправляется в долгий и нелегкий поиск за истиной, что есть народ и что есть правда.

И если бы «чудик» в той самой сказке оказался вдруг в собрании действующих там литературных героев, среди которых разгорелся спор по поводу судьбы Ивана-дурака, он мог бы в его защиту сказать собственными словами:

«— А в чем дело вообще-то? Да если хотите знать, почти все знаменитые люди вышли из деревни. Как в черной рамке, так смотришь — выходец из деревни. Надо газеты читать!.. Што ни фигура, понимаешь, так — выходец, рано пошел работать».

* * *

Появление героя Шукшина в начале 60-х годов было несколько неожиданным. Конечно, литература наша уже тогда далеко сошла с того правильного пути, когда для удобства школьного преподавания и ненатужистого усвоения герои писались и располагались по строго положительным и отрицательным линиям, но «чудик», вернее, его предшественник, и тут как-то не очень вписывался в литературное общество. Шукшин, надо полагать, и сам понимал, что герой его выглядит не по принятой форме и, то ли оправдывая, то ли защищая его, озаглавил первые свои книги «Сельские жители» и «Характеры», а первый фильм — «Живет такой парень». Добавим сюда еще название повести «Там, вдали...», и хоть прием этот, быть может, не совсем верный, но соблазнительный, чтобы предположить, что Шукшин тем самым как бы с осторожностью говорил, что там, вдали, где-нибудь в сибирском селе возможны такие странные характеры, может жить такой парень. Но очень скоро из справедливости автор приближает его и к себе, и ко

всем нам, указывает на прямое родство его с нами и выводит на самое видное место: уже второй фильм Шукшина называется «Ваш сын и брат», одна из книг — «Земляки», повесть — «Брат мой». Нетрудно понять Шукшина, который, набрав, как писатель и режиссер, силу, заслужив аудиторию, готов теперь с присущей ему горячностью доказывать, что ничего странного в его герое нет, что не в пример многим из нас, житейски благополучным, душевно замороженным и духовно излучавленным, он человек живой, умеющий страдать и совершать поступки, и если душа его больна, если поступки его, с общепринятой точки зрения, несуразны, то вы попытайтесь, попытайтесь разобраться, почему это произошло, и спросите себя, не завидуете ли вы ему.

Так кто же он, «чудик», этот обозначенный критикой общим словом герой Шукшина, что в нем такого, что возбуждает в нас тревогу и совесть и вызывает почти и потерянное ностальгическое сочувствие к нему, человеку отнюдь не лучших правил и установлений?

Моня Квасов (рассказ «Упорный») не верит, что нельзя придумать «вечный двигатель» и занят его сооружением.

Степка из одноименного рассказа бежит из лагеря, из заключения, за три месяца до освобождения, потому что, как объясняет он, «сны замучили, каждую ночь деревня снится». Бежит и, отгуляв дома один-единственный вечер, снова уходит в неволю на годы. «Ничего... Я теперь подкрепился, теперь можно сидеть».

Митька Ермаков («Сильные идут дальше»), живущий подле Байкала, осознает себя полноценным человеком только в невероятных мечтах, представляя, например, будто он один знает средство против рака и вылечивает от него множество безнадежно больных, заигрываясь подобными представлениями до горячего «не в себе».

Непутевый парень Генка («Гена Пройдисвет»), ра-

ботая массовиком-затейником в санатории, после того как местный поэт одобрительно отозвался о его песнях, забирается на вышку и выкрикивает (не поет, а именно выкрикивает дурноголосо на потеху отдыхающим эти песни, а затем, чтобы подытожить свой концерт жирной памятной точкой, в одежде и с гитарой бросается с вышки в воду. Тот же самый Генка, приехав в родную деревню и узнав, что его дядя ни с того ни с сего, как кажется Генке, стал верующим, в попытках разобраться в его душе и добиться, истинна ли эта вера в бога, доводит дело до драки с дядей.

А вот Костя Валиков («Алеша Бесконвойный») в долгой и трудной войне с начальством и женой добился желанной победы — в субботу и воскресенье не работать. «Что же он делал в субботу? В субботу он топил баню. Все. Больше ничего». Выпрягался, хотя в остальные дни был безотказный работник. «В субботу он просыпался и сразу вспоминал, что сегодня — суббота. И сразу у него распускалась в душе тихая радость».

Перечисление этих «чудиков» можно продолжать сколько угодно. Они в большинстве рассказов Шукшина, которые читаются то со смехом, то с грустью, а чаще всего — с тревогой и которые все вместе создают пестрое и, однако же, целостное впечатление. Потому что все это отдельные штрихи, отдельные черты одного характера, который Шукшин писал от начала до конца и который в основном успел написать. Это характер человека свободного и самостоятельного по своей натуре, «бесконвойного», как Костя Валиков, всеми возможными способами и чудачествами старающегося отстаивать свое естественное право быть самим собой, иметь собственное мнение и до всего на свете доходить своим умом и своим опытом. В немалой степени подверженный стихии, случаю, дерганый, импульсивный, органически не переносящий никакой фальши, во имя чего бы она ни творилась, раздираемый противоречиями, страдающий от

недостаточности яви и недоступности мечты, герой Шукшина при всем том как характер целен и органичен, ибо он не дает поставить себя в общий ряд, а живет отдельно и самостоятельно, как и положено жить человеку. И уже тем одним он вызывает у нас расположение к нему и беспокойство по отношению к себе.

Петр Верховенский говорит у Достоевского:

«Самая главная сила, цемент, все связывающий,— это стыд собственного мнения. Вот это так сила! И кто это работал, кто этот «миленький» трудился, что ни одной-то собственной идеи не осталось ни у кого в голове. За стыд почитают».

Кстати привести здесь мысли и другого героя Достоевского, героя, от имени которого ведется повествование «Записок из подполья».

«Есть только один случай, только один, когда человек может нарочно, сознательно пожелать себе даже вредного, даже глупейшего, а именно: чтобы иметь право пожелать себе даже и глупейшего и не быть связанным обязанностью желать себе одного только умного. Ведь это глупейшее, ведь этот свой каприз и в самом деле, господа, может быть всего выгоднее для нашего брата из всего, что есть на земле, особенно в иных случаях. А в частности может быть выгоднее всех выгод, даже и в том случае, если приносит нам явный вред и противоречит самым здравым заключениям нашего рас-судка о выгодах, потому что, во всяком случае, сохраняет нам самое главное и самое дорогое, то есть нашу личность и нашу индивидуальность».

И дальше.

«Чего же можно ожидать от человека, как от существа, одаренного такими странными качествами? Человек пожелает себе пагубного вздора, самой неэкономической бессмыслицы единственно для того, чтобы ко всему этому положительному благоразумию примешать свой пагубный фантастический элемент. Именно свои

фантастические мечты, свою пошлейшую глупость пожелает удержать за собой единственно для того, чтобы самому себе подтвердить, что люди все еще люди, а не фортепианные клавиши».

И еще.

«Если вы скажете, что и это все можно рассчитать по табличке, и хаос, и мрак, и проклятие, так что уж одна возможность предварительного расчета все остановит и рассудок возьмет свое, так человек нарочно сумасшедшим на этот случай сделается, чтобы не иметь рассудка и настоять на своем. Я верю в это, я отвечаю за это, потому что ведь все дело-то человеческое, кажется, и действительно в том только и состоит, чтобы человек поминутно доказывал себе, что он человек, а не штифтик».

За сто с лишним лет, прошедших после Достоевского, чувство личности в человеке не только возросло (это-то было бы вовсе неплохо), но в силу многих причин приняло болезненные формы.

Чувство личности, чувство собственного достоинства у героя Василия Шукшина можно назвать иступленным.

Алеша Бесконвойный, тот самый, что добился топить по субботам баню, разжигает Алеша каменку, смотрит на разгорающийся огонь и думает: «Вот вы там хотите, чтобы все люди жили одинаково... Да два полена и то сгорают неодинаково, а вы хотите, чтобы люди прожили одинаково».

Итак, иступленное, горячее чувство личности, перехлестывающее через край благоразумия,— первая и, пожалуй, главная особенность, «странность» героя Шукшина, этого «чудика», делающая его, на принятый взгляд, «чудиком». До него никто еще в нашей литературе не заявлял с таким нетерпением права на себя, никому не удавалось заставить слушать себя по столь внутреннему делу. По делу маящей души.

Ну вот, слово произнесено, одно из основных и кричащих слов Шукшина. Душа... А что такое душа? Почему литература все больше и больше берет на себя и смелость, и обязанность пытаться человека душой, которая где-то, в каких-то неведомых глубинах должна в нем быть и без которой, считается, ничто, никакое благополучие не принесет ему облегчения? Не оттого ли и эксплуатируется нещадно душа, что, не имея ни плоти, ни места, она недостижима, и обращаться к ней — это все равно что взывать в пустоту, откуда дожидаться отклика нельзя, которая тем и устраивает нас, что нельзя, ибо не может уличить нас в ложнонаправленности. И пусть человек ищет душу; он наверняка не найдет ее, потому что никому еще не удавалось отыскать то, чего нет, но, занятый этими поисками, он отвлечен будет от более дурных и еще более пустых занятий, которые принесли бы ему один лишь вред. Не так ли рассуждают специалисты по душе, поминающие ее почем зря направо и налево? Не так ли оно и есть в самом деле?

Нет, не так. Направо и налево не надо, ничего хорошего это не даст. Но то, что душа, которую ни за что, ни за какой бок нельзя ухватить, значит для человека очень многое, сомнений вызывать не может. Значит не как искомое, а как ценность, существующая в человеке изначально, но не всегда опознанная и вызванная к жизни; как сила, дающая ему преображение в нечто иное, чем человек без души, в нечто более, скажем, походное — в том смысле, как должно осуществляться направленное движение человека к своей высокой цели и своим идеалам; как осуществленное призвание человека быть личностью; как знак желанной самообретенности. Душа — это и есть, надо полагать, сущность личности, продолжающаяся в ней жизнь бессменного, исторического человека, не сломленного временными невзгодами.

Итак, к тому же мы и вернулись — к личности, автономности и самоценности человека. И не вернуться к этому, вспоминая душу, было невозможно. Обойти ее стороной тоже не удастся, потому что это значило бы, притворяясь глухим, не услышать и не понять Шукшина. Редко в каком рассказе (и не только в рассказах) нет у него упоминания о душе, чувства разлада с душой, желания вернуть то, что утвердило бы его героя в жизни и раскрыло бы ее смысл.

«Последнее время что-то совсем неладно было на душе у Тимофея Худякова — опостылело все на свете. Так бы вот встал на четвереньки, и зарычал бы, и залаял, и головой бы замотал. Может, заплакал бы» («Билетик на второй сеанс»).

«Ведь она же болит, душа-то. Зубы заболят ночью, и то мы сломя голову бежим... А с душой куда?» («Ночью в бойлерной»).

«По воскресеньям наваливалась особенная тоска (это начало рассказа «Верую»). Какая-то нутряная, едкая... Максим физически чувствовал ее, гадину, как если бы неопрятная, не совсем здоровая баба, бессовестная, с тяжелым запахом изо рта, обшаривала его всего руками — ласкала, тянулась поцеловать.

— Опять! Навалилась!

— О!.. Господи... пузырь: туда же, куда и люди, — тоска, — издевалась над Максимом жена: она не знала, что такое тоска. — С чего тоска-то?

Максим Яриков смотрел на жену черными, с горячим блеском, глазами... Стискивал зубы...

— Давай — матерись. Полайся — она, глядишь, пройдет, тоска-то. Ты лаяться-то мастер.

Максим иногда пересиливал себя — не ругался. Хотел, чтоб его поняли.

— Не поймешь ведь.

— Почему же не пойму? Объясни, пойму.

— Вот у тебя все есть — руки, ноги... и другие орга-

ны. Какого размера — это другой вопрос, но все, так сказать, на месте. Заболела нога — ты чувствуешь, захотела есть — налаживаешь обед... Так?

— Ну.

— Но у человека есть также — душа! Вот она здесь — болит! — Максим показывал на грудь. — Я же не выдумываю! Я элементарно чувствую — болит.

— Больше нигде не болит?

— Слушай! — взвизгивал Максим. — Раз хочешь понять — слушай! Если сама чурбаком уродилась, то постарайся хоть понять, что бывают люди с душой. Я же не прошу у тебя трешку на водку, я же хочу... Дура! — вдруг вовсе срывался Максим, потому что вдруг ясно понимал: никогда он не объяснит, что с ним происходит, никогда жена не поймет его. Ни-когда! Распори он ножом свою грудь, вынь и покажи в ладонях душу, она скажет — требуха. Да и сам он не верил в такую-то — в кусок мяса. Стало быть, все это — пустые слова. Чего и злить себя? — Спроси меня напоследок: кого я ненавижу больше всего на свете? Я отвечу: людей, у которых души нет. Или она поганая!»

Критик Лев Аннинский, писавший о Шукшине, называет это — «незаполненная полость в душе».

«И ведь отнюдь не материальный интерес, о котором столько кричат, движет героя, здесь-то он обеспечен, защищен и марку держит. Но он смутно догадывается, что при всей материальной укрепленности его душа заполнена чем-то не тем, чем-то подложным, и потому преследует этого человека вечный страх обмана, и отсюда — его болезненная агрессивность, его мстительный прищур. А причина — все то же: незаполненная полость в душе. И невозможность стерпеть это...»

«Незаполненная» — а чем ее заполнить? Где и как ее отыскать, подлинную-то душу, какой верой ее устроить и успокоить?

Одни смотрят на жизнь с удивленной оторопью: что

это? куда я попал? зачем я здесь? Другие мучаются и мечутся, мечутся и мучаются, и нет, кажется, конца этим мучениям. Третьи, как Егор Прокудин в «Калине красной», время от времени устраивают этакий «праздник души» — разгул и разгон, когда Егор выбрасывает пачки денег на глупую и мстительную (мстительную себе, прежде всего) гулянку в районном ресторанчике. Пьют в рассказах Шукшина много, и это тоже слабые, никчемные, но доступные, проторенные попытки усыпить голодную полость и хоть на время, хоть как-то освободиться от ее взыскующей тяжести.

Максим Яриков, который пробовал объяснить жене, что такое душа, идет в рассказе «Верую», чтобы унять ее, душу, к приехавшему на излечение в деревню попу — и вместе с попом, напившись спирту, устраивают они бесовскую пляску вокруг стола, выкрикивая: «Верую! Верую! Верую в авиацию, в химизацию, в механизацию сельского хозяйства, в научную революцию-у! В космос и невесомость! — ибо это объективно!»

Но эту веру в душу не поместить.

«Оба, поп и Максим, плясали с какой-то злостью, с таким остервенением, что не казалось и странным, что они — пляшут. Тут — или плясать, или рвать на груди рубаху и плакать и скрипеть зубами».

Это — страшно.

«Неужель под душой так же падаешь, как под ношей?» — спрашивал Есенин. «Падаешь», — отвечает Шукшин. Оно, это падение, выражается у него по-разному, не всякий раз доводится, так сказать, до горизонтального положения, до конечной точки падения, подменяется порой обманом или самоутешением, или принимает опять-таки болезненные формы, но суть одна: душа требует души, жить без души нельзя. Вспомним Николая Григорьевича Кузовникова из рассказа «Выбираю деревню на жительство». Николай Григорьевич, немолодой уже человек, кладовщик по роду занятий, каждую

субботу ходит на вокзал и расспрашивает приезжих мужиков, откуда они и как там у них, выбирая, якобы, деревню, чтобы уехать из города. Он прекрасно понимает, что никуда не уедет и все его расспросы впустую, но «не ходить на вокзал он не мог — это стало потребностью».

Опять чудачество, прихоть? Да, но прихоть, вызванная той самой полостью, которая требует удовлетворения и заполнения. Это еще легкая, безобидная форма прихоти. У Броньки Пункова («Миль пардон, мадам»), рассказывающем о покушении на Гитлера, она уже набирает надрывную силу, когда, вызванная, казалось бы, для утверждения души, она опустошает ее еще больше и разъедает еще сильнее. Можно это движение проследить и дальше: Спирьку Расторгуева («Сураз») эта вышедшая из-под власти человека стихийная прихоть доводит до смерти. Ущербность и неполнота души не только приводят к ущербности и неполноте жизни, не только приносят необъяснимые, на наш взгляд, страдания, но больше того — лишают человека устойчивости на земле и чувства собственной необходимости. Жизнь, не подтвержденная смыслом души, есть случайное существование; герой Шукшина с этой случайностью мириться не хочет, он выше ее, но он ощущает также и свою недостаточность и шаткость для жизни направленной, это мучает его и заставляет совершать поступки как бы вне себя самого и обычно во вред себе. Непредсказуемость, стихийность и последовательная нелогичность действия, и вообще тайно любимые в себе русским человеком качества, в «чудике», ничем не сдерживаемые, доходят до восторженно-разрушительного градуса, когда он сам себе и жертва и палач.

Странное, однако, дело: у Шукшина, казалось бы, нет ничего, что напрямую говорило бы о близком обретении души его героем, и тем не менее в читателе это становится почти убеждением. Та боль и страсть, с ка-

кой он мечется в растерянности и тоскует по душе, превращает ее в нечто чуть ли не материальное, в нечто такое, что имеет место, где ее можно отыскать. На этот отчаянный призыв не откликнуться, кажется, невозможно.

Что касается места обитания души, его предположить не так уж и трудно. Это родина человека, земля его рождения, на первых порах давшая ему все, что необходимо для прочности в жизни.

* * *

Нельзя не заметить: насколько «чудик», этот расшатанный и больной характер, интуитивно стремящийся к цельности и здоровью, вызывает в нас поддержку и сочувствие, настолько женщина в рассказах Шукшина (в рассказах особенно) сочувствия, как правило, не заслуживает, и черты многих и многих героинь составляют для нас с вами фигуру далеко не симпатичную. Если бы дело было лишь в сочувствии или не в сочувствии, не следовало бы и заводить этот разговор, который так или иначе задевает самолюбие женщины. Дело, однако, в большем — в состоянии и даже направленности характера, в направленности его к себе — каким должен быть человек, или от себя — каким он быть не должен. Дело в конечном итоге в результатах движения.

У Шукшина мало что было случайным, выходящим за границы его наблюдений и твердых воззрений, а уж это-то — отношение тем паче выношенное и выстраданное, что с годами оно не только не изменилось в сторону, так сказать, послабления — напротив, с годами оно окрепло, получило спокойное осмысление и доведено было до определенной философии. Рассказ «Одни» написан в самом начале 60-х годов, и Марфа, жена шорника Антипа, пожалевшая Антипу шесть рублей на балалайку, — это ангел небесный по сравнению с женой и

тещей Вени из рассказа «Мой зять украл машину дров» и уж тем более по сравнению с женой Кольки Паратова из рассказа «Жена мужа в Париж провожала» (оба эти рассказа написаны через десять лет после первого). Колька Паратов, доведенный до отчаяния упреками и скандалами в семье, постоянным унижением своего человеческого достоинства, открывает в кухне газ и оставляет маленькой дочери записку: «Доченька, папа уехал в командировку». «Горе началось с того, что Колька скоро обнаружил у жены огромную, удивительную жадность к деньгам».

Жадность к вещам и деньгам, душевная глухота и недоброта, нежелание и неумение хоть сколько-нибудь понять живущего рядом с нею человека, вздорность, какая-то даже противоестественная агрессивность — вот качества, которые не просто замечаются, но, за малыми исключениями, прямо-таки выпирают из прекрасной половины, какою она предстает перед нами в мире Шукшина. Герой рассказа «Как зайка летал на воздушных шариках», приехавший из алтайской деревни в город к брату, рассказывает его больной дочери сказку и на сказочный же манер говорит: «Да-а, что ни бабочка, то баба-яга».

Шукшин не делает различия, в городе или в деревне — везде.

Можно смутиться одним противоречием во взгляде Шукшина на женщину. Все, что говорилось здесь, относится к женщине-жене. К женщине-матери у него совсем иное отношение, едва ли не противоположное. Мать для него — это любовь, доброта, умение понимать и прощать, природная мягкость и душевная стойкость.

Подвиг есть и в сраженье,
Подвиг есть и в борьбе,
Высший подвиг в терпенье,
Любви и мольбе,—

писал А. Хомяков.

И вот этим «высшим подвигом» женщина-мать наделена у Шукшина в высшей же степени. Об этом свидетельствуют рассказы «Материнское сердце», «Сны матери», «Ванька Тепляшин», «На кладбище» и др., об этом же говорит образ матери Егора Прокудина в «Калине красной». Но откуда же в таком случае берется мать, как не из жены, и каким образом из зла может произрасти добро, а из неприятия — понимание и принятие? Не скошен ли все-таки этот взгляд на жену в сторону и не есть ли он результат произвольного, нелогического разделения: мать — это одно, а жена — другое?

Но логику и причинность нетрудно отыскать и здесь. Все дело в возрасте. Мать старше жены, и эта разница в годах успела отразиться на сути и характере женщины не лучшим образом. Сманенная, сдвинутая со своего векового нравственного основания легкими посулами высоких идеалов, женщина не установилась, однако, достаточно прочно и в своем новом общественном назначении, потому что оно, надо думать, не совсем соединяется с ее женской природой, и встала так неловко, в таком неестественном и неустойчивом оказалась положении, что ни вперед ходу нет, ни назад. Вперед — она инстинктивно чувствует опасность — нельзя, назад стыдится, да оно уже и непросто отступить назад, движение произошло по всем параметрам, кроме того, свои соблазны, свои прелести есть в этом новом положении, которые льстят ее самолюбию. Совратитель оказался жестоким: на этот раз женщина изменила самой себе. Отсюда и результат: бывшая всегда моральной твердыней семьи, воспитательницей и духовной учительницей детей своих, миротворицей и мироносицей, женщина, оказавшись в условиях нравственной нетвердости, если и не превратилась в этих качествах в свою противоположность (до этого, конечно, не дошло), но и отклонилась от них достаточно далеко.

Разумеется, упрек этот, относимый к женщине в це-

лом, как общественному и нравственному характеру, нельзя адресовать всем женщинам без разбору, но все ближе и ближе, кажется, к тому, чтобы сказать: то, что прежде было правилом, становится исключением, а что было исключением, превращается в правило. В нашем общем моральном смещении женщина в силу своего более подвижного, чуткого по сравнению с мужским и менее закаленного, менее осторожного к внешним изменениям характера выдвинулась вперед, и отрыв этот, сам по себе незначительный, но ощутимо опасный, горько сказывается на ее натуре. Издавна соблазнительная для женщины тога высокого общественного значения была впопыхах надета ею наизнанку и больно отразилась на природно-человеческих качествах. Наши хлопоты не о том, конечно, чтоб знала свое место и из кухни да из семьи никуда, это было бы чересчур неверно и грубо, а о том, чтобы не забывала и не справляла как придется главную и незаменимую свою важность в обществе по скреплению семьи и воспитанию детей.

Быть может, самое трудное и выстраданное выражение, как не завершение, находит у Шукшина этот «женский» вопрос в рассказе «Страдания молодого Ваганова». Молодой следователь Ваганов ведет там, в рассказе, довольно обыкновенное, по нашим понятиям, дело: жена, баба ловкая, развратная, хитрая, пыталась избавиться от мужа, человека уже пожилого, немало покорябанного жизнью, подает на него, воспользовавшись скандалом в семье, в суд. Ваганову этот человек (по фамилии Попов) нравится своей бесхитростностью и откровенностью, и он пытается спасти его от суда. Однажды между ними происходит такой разговор.

«— Я так скажу, товарищ Ваганов,— понял наконец Попов.— С той стороны, с женской — оттуда ждать нечего. Это обман сплошной. Я тоже думал об этом же... Почему же, мол, люди жить-то не умеют? Ведь ты погляди: что ни семья, то разлад. Что ни семья, то ка-

кой-нибудь да раскосяк. Почему же так? А потому, что нечего ждать от бабы... Баба, она и есть баба.

— На кой же черт мы тогда женимся? — спросил Ваганов, удивленный такой закоренелой философией.

— Это другой вопрос. — Попов говорил свободно, убежденно — правда, наверно, думал об этом. — Семья человеку нужна, это уж как ни крутись. Без семьи ты — пустой нуль. Чего же мы тогда детей так любим? А потому и любим, чтоб была сила — терпеть все женские выходки.

— Но есть же нормальные семьи!

— Да где?! Притворяются. Сор из избы не выносят. А сами втихоря... бушуют.

— Ну, елки зеленые! — все больше изумлялся Ваганов. — Это уж совсем... мрак какой-то. Как же жить-то?

— Так и жить: укрепиться и жить. И не заниматься самообманом. Какой же она друг, вы что? Спасибо, хоть детей рожают... И обижаться на их за это не надо — раз они так сделаны. Чего обижаться? — В правде своей Попов был тверд, спокоен. Когда понял, что Ваганов такой именно правды и хочет — всей, полной, — он ее и выложил».

Причина не в том, конечно, что «так сделаны», едва ли Шукшин полностью разделяет здесь точку зрения своего героя; вероятней всего, он умышленно дает ее как крайность, как своего рода наживку, чтобы вызвать со стороны женщины протест, но и заставить ее взглянуть на себя внимательней и строже, отыскивая по справедливости принадлежащее ей место. Она и сама, надо полагать, чувствует, что оказалась в разлуке с собой, что она не та, кем собиралась быть, и не там, куда собиралась идти в предоставленной ей свободе. Природное чутье, которое всегда было развито в ней больше, чем в мужчине, не может ей этого не подсказывать. Не здесь ли и следует искать причину ее нервозности и апломба, в котором легко рассмотреть растерянность и страх за

свою судьбу, равно как и за судьбу того нелегкого воза, который извечно тянула женщина и из которого она ныне выпряглась. Оглядываясь на него, она не может не страдать от его заброшенности — от неуютности и сиротливости в семье, полегчавшей и числом и тщанием, куда она судорожно набегает, чтобы, накричав и приласкав в спешке, снова оставить ее с торопливыми распоряжениями до следующего набега.

Добиваясь значительной и возвышенной роли, которую она готова играть в жизни, женщина не учла, что она, эта новая роль, возможна лишь в соединении с прежней и под началом прежней, составляющей ее человеческую основу, а не в освобождении от нее, не в логическом решении задачи, что пункта Б можно достигнуть только покинув пункт А.

* * *

Никому, кто пытается говорить о Шукшине, этого вопроса миновать нельзя, последнего вопроса Шукшина, который на пределе физических и нравственных сил как стон, как отчаянный вскрик, прозвучал в рассказе «Кляуза» — «Что с нами происходит?» Через месяц после того, как была опубликована «Кляуза», Шукшина не стало, и вопрос этот так и остался с нами, остался не только не решенным, а, напротив, окрепшим за последние годы и, так сказать, возмужавшим.

Пересказывать «Кляузу» нет надобности, это документальная запись случившегося с автором в больнице, когда женщина-вахтер, человек в своем служебном положении маленький, с соответствующими этому положению правами, воспаряет в своем требовательном хамстве на такие высоты, такую набирает силу и власть, что ни унять ее, ни понять ее никакими доводами благоразумного смирения невозможно. Шукшину это показалось пределом, он пишет: «Не знаю, что такое там со

мною случилось, но я вдруг почувствовал, что все — конец. Какой «конец», чему «конец» — не пойму, не знаю и теперь, но предчувствие какого-то очень простого, тупого конца было отчетливое».

Но мы-то ныне знаем, с высоты ли, из глубины ли своего сегодняшнего опыта, и как сторона, которая терпит от хамства, и как сторона, которая допускает хамство, — знаем мы, что то был далеко не предел, что, миновав предел, хамство вышло на новые просторы.

Больше десяти лет подряд обличал Шукшин главных носителей хамства, называя их с удивительным постоянством по именам: чиновник, продавец и уличный хам, то есть хулиган, преступник от хамства, носящий на себе, в облике своем печать как бы врожденного хамства, возведенного в единственный закон жизни. Даже и не обличал их Шукшин, это не то слово, как истинный художник, ничего он никогда напрямую не обличал, но всякий раз, встречаясь в работе своей с обстоятельствами, когда по жизненной правде не миновать хамства, он, как боец при встрече с собственным врагом, внутренне напрягался, выражаясь его же языком, «взвинчивался» и не хотел, не мог обойти его спокойно сторонкой. Он и за рабочим столом ощущал себя бойцом, и здесь до конца переживал состояние стычки и драки — это легко почувствовать по напряжению, по накалу его прозы, когда строки, как оголенные провода, бьют избыточным током человеческой боли. Не он уже выводил их, эти строки, и тем более не отыскивал, гуляя, в том заповедном уголке, который мы называем вдохновением, — это они владели им и вели его рукой, они, торопясь, требовали выхода и свидетельского голоса.

Итак, чиновник, продавец и уличный хам...

«Чудик уважал городских людей. Не всех, правда: хулиганов и продавцов не уважал. Побайвался» (рассказ «Чудик»).

«Боюсь чиновников, продавцов и вот таких, как этот

горилла... псих с длинными руками, узколобый...» («Боря»).

«Как же так? До каких пор мы сами будем помогать хамству?.. Что за манера? Что за проклятое желание угодить хамоватому продавцу, чиновнику, просто хаму — угодить во что бы то ни стало! Ведь мы сами расплодили хамов, сами! Никто их нам не завез, не забросил на парашютах» (рассказ «Обида»).

Это уже и объяснение, — конечно, не полное, возможное лишь в ткани художественного сказыванья, но и не пустяковое, однако же, объяснение, почему процветает хамство.

И действительно, на пережиток проклятого прошлого мы его по привычке свалить не можем. Не выйдет. Верно, хамство и всегда-то присутствовало в богатом букете черт русского национального характера. Было хамство, но прежде оно было стеснено ограничительными рамками и пробивалось вне закона и морали, представляло собою один из видов нравственного уродства, теперь же, продолжая внешне находиться вне закона и морали, на деле, воспользовавшись попустительством, оно запустило корни в основание этих понятий и из способа существования индивидуального расширилось и расцвело, заговорило на равных правах с другими человеческими качествами и стало извинительной слабостью, заурядным явлением.

Хамство чиновника... Оно происходит от духовного, прежде всего, несоответствия человека своему чиновному месту, от искажения духа и буквы служебного положения, когда служение превращается в услужение и самообслуживание, от гражданской неполноценности, от нетвердости, скачкообразности общественных распоряжений и благодушия общественного возмездия. Искусный в бюрократической грамоте, хорошо зная силу справки, которую он выдает, чиновник вырастает в собственных глазах в огромную фигуру, вольную казнить

или жаловать: поставить печать на пустяковую справку сегодня или заставить ходить за нею месяц подряд. Надо оговориться: хамство чиновников — это не обязательно грубость, издевательство, оскорбления, как мы привыкли понимать хамство, — нет, в кабинетах оно нередко воспитанно, нравоучительно, как бы даже благожелательно, но оно хамство уже одним унижительным положением, в которое ставится здесь человек.

А уж из кабинетов при открытых дверях хамство широко шагнуло на простор и нашло за прилавком родную для себя душу — продавца. Под продавцом следует, очевидно, рассматривать всю сферу нашего общественного обслуживания, но поскольку в этой сфере мы чаще всего вынуждены встречаться именно с продавцом и больше всего терпеть именно от него, то он и назван как конкретный носитель среднего и самого распространенного вида хамства. И правда, в лице продавца оно отыскивало для себя идеальные условия, всю сумму удобств: во-первых, весьма невысокая общая культура, извращенное понимание наших отношений с ним, высмотревшее в этих отношениях лишь нашу зависимость от него, и, во-вторых, — толпа по другую сторону прилавка, толпа зачастую возбужденная и требовательная, жертва дефицита, не всегда способная вовремя распорядиться своим здравым смыслом, — огромное поле и благодатная почва для хамства.

В конце концов все можно объяснить, всему найти причины: и хамству чиновника, и хамству продавца, и уличному хамству — и согласиться можно с этими причинами, но нельзя согласиться с самим явлением. Тут уж ни сил, ни воображения не хватает, чтобы согласиться, принять и со злобным удовлетворением приговаривать из обслуживающего хамство репертуара: «То ли еще будет, то ли еще будет!»

Хамство есть способ утверждения личности. Так считалось всегда. И ведет оно к разрушению личности. Ког-

да человек не умеет проявить себя как личность иным образом, он обращается к животным началам и находит, по-видимому, в этом, несмотря на протестующий голос совести, какое-то удовлетворение. Другими словами говоря, хамство есть признак неразвитости, несостоятельности личности или ее деградации. Но это — когда речь идет о проявлении хамства со стороны отдельного человека или отдельных людей...

Нет, не так прост шукшинский вопрос: «Что с нами происходит?»

Глеб Капустин в рассказе «Срезал» являет собой удивительный пример того, как могут быть усвоены уроки демагогии и пустоговорения. Он оказался способным учеником и в споре с городскими людьми, за которыми до недавних пор оставалась привилегия краснбайства, показывает прямо-таки фигуры высшего пилотажа в навязанном им же словесном поединке, когда слово опустошено полностью. Дошло, кажется, до края: демагогией овладел так называемый простой человек...

Бригадир Шурыгин (рассказ «Крепкий мужик») не по чьей-нибудь, по собственной инициативе разрушает стоявшую в его родном селе старинную красавицу церковь. Разрушает, несмотря на возражения, на уговоры и слезы односельчан, в том числе матери и жены, несмотря на угрозы в каре небесной и земной. Ничто не подействовало: свалил «крепкий мужик» Шурыгин с помощью могучей нынешней техники церквушку, сел на мотоцикл и с песней покатыл отмечать это событие.

И тут предел. Шурыгин также оказался способным и памятливым учеником: предмет преподавания изменился, а он на всю жизнь усвоил тот, прежний, который и впитал в себя как непреложный закон действия.

А нам представлялось, что все это еще далеко, не скоро. Оказалось, аукнулось. Оказалось, при нас. Бумеранг сработал с удесyтеренной силой.

Вот что с нами происходит.

И тут, после этой тоскливой ноты, пора снова вернуться к словам Шукшина, которые уже приводились:

«Нравственность есть правда. Не просто правда, а — Правда. Ибо это мужество, честность, это значит жить народной радостью и болью, думать, как думает народ, потому что народ всегда знает Правду».

А может быть, нет оснований для такой уверенности? Что есть ныне народ и что есть правда? Не слишком ли стерты и размыты слезами умиления эти понятия, не слишком ли много всякого, порой несовместимого, они в себя вмещают? Так ли уж знает народ правду?

Народопоклонство — тоже русская черта, но холодное и бездушное обожествление народа никогда и ничего утешительного к его судьбе не добавляло. Шукшин должен был это знать, и он не стал бы подставлять еще одну возвышенную и расплывчатую фигуру из своих громких слов к памятнику, и без того переполненному подобными фигурами, если бы не был уверен в их реальности. С другой стороны, он не стал бы произносить эти слова в честь Глеба Капустина, бригадира Шурыгина и множества других, похожих на них, по своей многочисленности неотделимых, казалось бы, от тела народа.

Поэтому, говоря о народе, необходимо сразу разделить понятия. Есть НАРОД как объективно и реально существующая в каждом поколении физическая, нравственная и духовная основа нации, корневая ее система, сохранившая и сохраняющая ее здоровье и разум, продолжающая и развивающая ее лучшие традиции, питающая ее соками своей истории и генезиса. И есть народ — «в широком смысле слова, все население определенной страны», как читаем мы в энциклопедии. Первое понятие входит во второе, существует в нем и действует, но это не одно и то же. И когда Шукшин с уверенностью говорит, что «народ всегда знает правду», он имеет в ви-

ду душу и сердце народа, здоровую, направляющую ее часть, а когда Федор Абрамов обращается с известным письмом к односельчанам, упрекая их в нерадивом хозяйствовании, он не НАРОДУ адресует свои справедливые упреки, а населению, которое составляет жизнь и труд родного ему поселка. И составляет, кроме того, часть всего народа — как населения.

Тысячу раз прав Шукшин: «народ всегда знает правду». Ибо то и есть народ, что живет правдой, как бы ни тяжела была эта ноша, то и есть правда, что составляет первооснову и первосмысл этого понятия, не подверженную духовной ампутации истину о человеке и его жизни. Не голую, разумеется, не чистую и формальную, а соотнесенную со временем — какова она есть.

Конечно, это не полное, это лишь нравственное определение народа, нравственное искомое его сути. Но сейчас оно, нравственное, самое важное. А определение правды может быть только нравственным и никаким иным. Народ, надо полагать, не только то, что уже сегодня живет правдой, но и то, что в исканиях и блужданиях своих расположено к правде, жаждет ее и примет ее со временем, что в беспокойстве и сомнениях неуверенно расшифровывает в душах и памяти своей заложенные там многими поколениями духовные знаки.

«Не люби ты меня, а полюби ты мое — вот что вам скажет народ, если захочет увериться в искренности вашей любви к нему», — это известные слова Достоевского.

Не ахти, казалось бы, какое достижение, какая победа, одержанная Алешей Бесконвойным, — всего-то добился субботы для бани! — не столько тут, на трезвый взгляд, воли, сколько блажи, но посмотрите, как меняется и облагораживается человек: «Последнее время Алеша стал замечать, что он вполне осознанно любит. Любит степь за селом, зарю, летний день... То есть он вполне понимал, что он — любит. Стал слушаться покой в душе — стал любить».

Невелика победа, но и то давай сюда, и то сгодится, чтобы сохранить в себе человека и отстоять душу. Движение, пусть маленькое, слепое, инстинктивное, однако же, произошло — движение в благодатную, родную для человека сторону.

Моня Квасов, тот самый Моня, который изобретает вечный двигатель (рассказ «Упорный»), вскакивает однажды среди ночи, делает чертеж, и от уверенности, что получилось, что добился своего, редкое снисходит на него настроение: «Ничего вроде не изменилось, но какая желанная, дорогая сделалась жизнь. Ах, черт возьми, как, оказывается, не замечаешь, что все тут прекрасно, просто, бесконечно дорого».

И от ложного вроде бы толчка (вечный двигатель), но и тут начало движения к лучшему в себе, к обретению духовной воли и духовной красоты.

И Генка Пройдисвет из одноименного рассказа пристает к дяде не потому, что его возмущает вера дяди в бога, а потому, что не уверен он в этой вере и боится, не ударился ли дядя из неприятия одной лжи в другую.

«...— Дядя Гриша, милый, ну зачем же ложь-то? Ведь ты же мужик, крестьянин, труженик, ну зачем же ложь-то? Как же жить-то, люди?! — Генка скривился, заплакал... Но он не злился на слезы, они только мешали ему, он их торопливо смахивал ладошкой. — Как же нам жить-то?! Когда — раз, и соврал, ничего не стоит! А?.. Ты меня упрекаешь, все упрекают: зачем институт бросил? Не хочу врать! Раз я не чувствую, что мне это позарез надо, что же я буду притворяться-то? Мне без диплома тоже интересно жить. Но почему же... Эх!.. Я же думал, ты не способен на ложь, — вообще, зачем это мужику? Мало на свете притворных людей? Куда же мне теперь идти прикажете? К кому? Бесстыдники, вот так и даете пример... Ведь так же все рухнуть может!»

И затем, после драки:

«...— Горько, горько,— говорил Генка, сплевывая су-кровицу.— Ах, как горько!.. Речь идет о Руси! А эйот... деляга, притворяться пошел. Фраер. Душу пошел насиловать... уважения захотел. Врать начал! Если я паясничаю на дорогах,— Генка постучал себя с силой в грудь, сверкнул мокрыми глазами,— то я знаю, что за мной — Русь: я не пропаду, я еще буду человеком. Мне есть к кому прийти! — Генка закричал, как на базаре, как на жадную бессовестную торговку закричал, когда вокруг уже собрались люди и уже все равно и не стыдно кричать.— Мы же так опрокинемся!»

Вот это понимание, эти золотые слова о том, что мужику незачем врать, пагубно участвовать во лжи, эта истовая вера в Русь и дают нам право на самую большую надежду в судьбе своей родины и народа. И оттого, что сказаны эти слова таким непутевым внешне, бесшабашным, неустроенным в жизни парнем, как Генка,—крепче уверенность, что духовная твердыня народа там, в глубинах народного сознания, находится по-прежнему в крепости и силе.

«Воля» — любимое слово, любимое понятие Шукшина, встречающееся у него буквально всюду. Не казенное «свобода», а близкое человеку, родное русское «воля». «Я пришел дать вам волю» — называется роман о Разине. Свои самые главные, глубоко выстраданные мысли о России и о судьбе ее вложил он в этот роман и до последних дней мечтал вложить в фильм, чтобы сделать их видимыми и яркими. Потому у Шукшина и терпит поражение народный герой и заступник Стенька Разин, что не верит он до конца в мужиков и начинает опасаться их, а затем и предает их под Симбирском, отказывается от правды мужицкого философа и мудреца Матвея Иванова.

Матвей Иванов, Фрол Минаев и Степан Разин — это три ипостаси русского характера: в лице Фрола Минаева — разумный, до определенных пределов протест, а на

деле разумное послушание, выливающееся в долготерпение; в лице Степана Разина — постоянная готовность к самопожертвованию, стихийность, даже разбойность по отношению к себе; и в лице Матвея Иванова — народная основа и народная правда, которые много и тяжело страдали как от чужих, так и от своих, и которые вопреки всем явным и тайным врагам сохранили и сохраняют Россию.

Памятный разговор происходит между Фролом Минаявым и Степаном Разиным, когда его, связанного по рукам и ногам, везут в конце романа в Москву:

«— Ну, а чего ты хотел-то, Степан?

— Хотел дать людям волю, Фрол.

— А чего из этого вышло?

— А чего вышло? Я дал волю,— убежденно сказал Степан.

— Как это?

— Дал волю. Берите».

Не может быть никаких сомнений: речь идет о духовной воле, о внутреннем раскрепощении человека, об изгнании из себя раба и осознании своей личности. В этом смысле Степан Разин сполна выполнил свою задачу: он действительно дал людям волю. Размахом поднятого им казацкого и мужицкого бунта он показал возможности народной силы и внушил народу, несмотря на поражение восстания, великую веру в себя. Если до того народ и батюшку-царя славил, не смея поднять вверх глаза, то после того он и под плети ложился с гордой душой.

Для Шукшина народ — это, прежде всего, общность крови, имеющей тот же, что и в другом народе, но и не тот состав, отличающийся от другого народа историческими и этническими особенностями и духом породившей его земли. В долгой и сложной своей судьбе народ неминуемо проходит и через болезни, и через сомнения и испытания, и все это в определенном смысле даже мо-

жет способствовать его нравственному очищению и гражданскому возбуждению. Нет в свете таких бед, которые не в состоянии был бы превозмочь народ, если он правильно, в соответствии со всем ходом его исторического движения и духовного согласия, организован и нацелен. И только одно может иметь для любого народа самые тяжелые и непоправимые последствия: самодовольство поколения или нескольких поколений, забвение корней своих, сознательный или бессознательный разрыв с многовековым опытом прошлого, ведущие через последующие связи к утере национального чувства и исторической памяти, к разобщению, обезличенности и безродности. Тогда и народ — население, и родина — место жительства и приписки, тогда мы перестаем слышать токи одной крови в другом человеке и остаемся одни. Глухота к ближнему грозит затем общей глухотой и вседозволенностью, человек принимает себя за случайность и уповает на случайность, случай превращается у него в судьбу.

«Чудик» у Шукшина и есть тот самый характер, тот самый человек, который не выдерживает бесприютного одиночества и вслепую, неуверенно и судорожно, ищет пути, чтобы быть вместе с народом и из холодного понятия вернуться в живую его плоть, чтобы, не довольствуясь ценностью физического существования, получить духовное значение. Свобода, за которую так ратует человек, в людях, не имеющих общей и выверенной цели, ведет к уродству. По-настоящему свободна и автономна личность только в народе, только там ей просторно и вольно, в нем, в неискривленном и продолжающемся пути его находит она свой смысл и вечность.

Незадолго до смерти Шукшин писал:

«Русский народ за свою историю отобрал, сохранил, возвел в степень уважения такие человеческие качества, которые не подлежат пересмотру: честность, трудолюбие, совесть, доброта... Уверуй, что все было не

зря: наши песни, наши сказки, наши неимоверной тяжести победы, наше страдание — не отдавай всего этого за понюх табаку. Мы умели жить. Помни это. Будь человеком».

«Будь человеком»... Все, что сделано Шукшиным в искусстве, освящено у него этим требовательным понятием, этой страстью и этой болью, которым он заставил внимать всех — кто умеет и не умеет слушать. Не было у нас за последние десятилетия другого такого художника, который бы столь уверенно и беспощадно врывался во всякую человеческую душу и предлагал ей проверить, что она есть, в каких просторах и далях она заблудилась, какому поддалась соблазну, или, напротив, что помогло ей выстоять и остаться в верности и чистоте. Читателем и зрителем Василия Шукшина была и остается вся Россия от самых высоких умов до самых падших душ; его талант — это тревога, отчаяние и вера всепроникающей совести, ищущей оставленные ею в каждом человеке следы.

И вот в этом-то — в предельной напряженности слова и объединяющей его силе — мы, кажется, не сумели достойно поддержать Шукшина. И мы говорим о том же, но спокойней и отстраненней, и нас читают, но своим читателем, по-гурмански. Литература после Шукшина вернулась в свое обычное русло, он же умел, не теряя красоты и проникновенности искусства, довести ее до пропагандной остроты и тревоги, до разрушающей всякое равнодушие силы, до аввакумовской страсти.

Нам так нужен был Шукшин — и он пришел, сделал свое дело талантливо и честно, не жалея себя, и, надорвавшись за этим запущенным делом, преждевременно ушел, показав, как необходимо художнику жить, работать и думать во имя народа и правды.



ИСТИНЫ АЛЕКСАНДРА ВАМПИЛОВА*

В поэзии Николай Рубцов, в прозе Василий Шукшин, в драматургии Александр Вампилов...— кажется, самую душу и самую надежду почти в единовременье потеряла с этими именами российская литература... И, кажется, сама совесть навсегда осталась с ними в литературе...

Народ наш на удивление чуток к таланту; едва ли где-нибудь еще, у другого какого народа, можно отыскать подобную чуткость. У нашего читателя (если говорить о литературе) она связана чуть ли не с личной надеждой; он относится к таланту не как к явлению, явившемуся и существующему независимо от него,— нет, он чаял его и ждал, он словно бы часть доли своей отдал для его рождения, и он дождался. Талант еще и не признан, он как художник только набирает силу, ничто вслух не отличает его покуда от неталанта, но читатель какими-то неведомыми токами и подводными течениями уже знает о нем и жадно ловит каждое его слово, отыскивая податливым, необыкновенно развитым к ней сердцем истину о себе самом и о своем времени, ту святую и нелукавую истину, без которой, как без труда, человек в здравье и нравственности существовать не может. И потеря таланта, гибель его воспринимается нашим читателем и зрителем как личная трагедия.

Мы забываем, к сожалению, что он, талант, вобрав в себя художественный дар многих и многих людей и наделенный, казалось бы, огромным сердцем добра и понимания, в собственной жизни чаще, чем кто-либо дру-

* Предисловие к книге А. Вампилова «Старший сын».

гой, хватается за сердце, с самого начала большое болью тех же многих и многих людей.

Сердце Александра Вампилова не выдержало всего в нескольких метрах от берега, к которому он плыл, после того, как натолкнувшись на скрытый под байкальской водой топляк, перевернулась лодка. Через день ему исполнилось бы 35, он и поехал с товарищем в тот вечер 17 августа 1972 года, чтобы наловить ко дню рождения рыбы. Товарищ спасся, он — нет. Теперь, по прошествии этих лет, все больше и больше верится, что трагическая гибель его, случайная тем, что это произошло именно так и именно тогда, сама по себе не была случайной, и это трудный, с застарелой одышкой разговор: почему мы не ценим по достоинству талант, пока он с нами... и словно какая-то посторонняя сила, жестоким образом наводя высшую справедливость, наказывает нас... «Утиную охоту», этого «героя нашего времени» в лице Зилова Вампилов, к счастью, успел написать. Не будем скромничать: Зилов — это не просто герой, один из героев одной из вампиловских пьес, это тип, явление далеко не ординарное и безопасное, и с «зиловщиной», пустившей глубокие социальные корни, нам впереди еще бороться и бороться, страдать от нее и страдать — и, быть может, самая большая заслуга Вампилова в том и состоит, что он один из первых ее распознал и показал настолько ярко, с такой художественной силой, что мы только-только сейчас стыдливо решаемся смотреть это на сцене. «Художник только потому и художник, что он видит предметы не так, как он хочет их видеть, а так, как они есть» (Л. Толстой). И что бы ни говорили критики о том, будто Зилов — человек отживший, по сути мертвец, этому мертвецу, поверьте, суждено долгое здравствование. Больше того — Зилов живет едва ли не в каждом из нас, подвигая нашу искренность к цинизму, и как мы впустили его в себя, почему позволяем ему хозяйничать — в этом еще разбираться да разбираться.

О Вампилове теперь пишут много и охотно, критики, перебивая друг друга, спорят о его героях и говорят настолько разное, что появилось даже выражение — «восторженное непонимание Вампилова». Непонимание это идет от предпосылок искусства, а не от предпосылок жизни, с которыми всякий раз начинал творить свое искусство Вампилов. Его герои вечерами выходят на сцены многих театров страны и его же герои, не всегда ведая, что это они и есть, смотрят на себя из зала и смеются... Впрочем, не только смеются, этого было бы слишком мало: Вампилов писал пьесы отнюдь не для того, чтобы зритель со спокойной душой отдыхал в театре, он и вообще не признавал искусства, создаваемого для развлечения. Об этом он начал говорить, но, к сожалению, не успел сказать в оставшейся незаконченной пьесе «Несравненный Наконечников». Зритель, приходя в театр на Вампилова, невольно попадает под нелегкое нравственное испытание, своего рода исповедь — его, зрителя, исповедь, в которую он, один раньше, другой позже, так или иначе вовлекается еще во время спектакля и которая долго продолжается после спектакля — в этом незаметная, но удивительная сила и страсть его таланта. И когда говорят о «театре Вампилова», следует, очевидно, иметь в виду не только то, что предлагается зрителю, но и то, что случается с ним, сторону глубокого психологического воздействия его пьес, которую театральная условность словно бы даже еще и увеличивает, а не снижает. К тому же вампиловские пьесы, похоже, сами диктуют свою постановку и не допускают разночтений.

Вместе с Вампиловым в театр пришли искренность и доброта — чувства давние, как хлеб, и, как хлеб же, необходимые для нашего существования и для искусства. Нельзя сказать, что их не было до него — были, конечно, но не в той, очевидно, убедительности и близости к зрителю. До последнего предела раскрылась перед на-

ми наивная и чистая душа Сарафанова из «Старшего сына» и стоном застонала, уверяя старую истину: «все люди братья», которая в нашей повседневности превращается в смешной парадокс. Вышла на сцену Валентина («Прошлым летом в Чулимске»), и невольно отступило перед ней все низкое и грязное — вышла не просто героиня, несущая в себе черты добродетели, вышла сама страдающая добродетель. Слабые, незащищенные и не умеющие защититься перед прозой жизни, люди, но посмотрите, какая стойкая, какая полная внутренняя убежденность у них в главных и святых законах человеческого существования. И в слезах, и в отчаянии не перестанут они веровать, как фанатики, в лучшую человеческую сущность, не замечая, как слепые, сущности худшей. Можно гадать, что будет с Валентиной дальше, там, за границами пьесы, как сложится ее судьба в житейском смысле, но в том, что веры она не изменит и в добродетели своей не ослабнет и не сдастся, сомневаться нельзя. Эту уверенность Вампилов оставляет в нас без всяких оговорок.

Казалось бы, и в рассказах, и в пьесах (и даже в газетных очерках, когда Вампилов работал в газете) старые, знакомые истины. Он не пытался выдумывать новые, их нет, он ставил лишь их в нынешние условия, и они начинали звучать по-новому. Вечные, как день и ночь, нетускнеющие, нестареющие темы искусства, которые никогда не перестанут волновать человечество, — жизнь и смерть, любовь и ненависть, счастье и горе, совесть и долг. Каждое новое время привносит в эти понятия свои отличительные признаки, они-то и метят время, но сами эти понятия при всей их сложности и продолженности остаются неизменными. Любить одним человеком другого значило тысячу лет назад то же самое, что и теперь. Но как любить? Что несет в себе это первое и самое чувствительное чувство? Чем оно обогащает? Что заставляет терять? Насколько оно долговеч-

но? Пока будет жив хоть один человек, он станет любить и ненавидеть по-своему, он будет бояться и желать смерти, как никто до него не боялся ее и не звал. Человеческие чувства неповторимы.

Истины старые, но вечные, не знающие во времени ни морального, ни физического износа. У Вампилова они имеют еще и ту важную особенность, что получают в каждом читателе и зрителе некое личное, собственное озарение. Как, каким образом удастся ему внушить каждому из нас, что это относится именно к нам (к нам — стало быть, ко мне), в первую очередь касается нас и обращено именно к нашим чувствам, остается загадкой, но прямое обращение с одной стороны и личный отзыв, личное соучастие — с другой, тут налицо. И не один из нас, выйдя из театра или прочитав пьесу, ловит себя на детском и наивном желании превратиться в того же, скажем, старшего сына Сарафанова, чтобы помочь этому доброму, до старости сохранившему светлую душу, человеку в нашей сложной и донельзя запутанной жизни. Искусство может только мечтать о подобном его восприятии.

Кажется, главный вопрос, который постоянно задает Вампилов: останешься ли ты, человек, человеком? Сумеешь ли ты превозмочь все то лживое и недоброе, что уготовано тебе во многих житейских испытаниях, где трудно стали различимы противоположности — любовь и измена, страсть и равнодушие, искренность и фальшь, благо и порабощение... Тут нельзя опять не вспомнить Зилова, который, не имея сил сопротивляться, позволил, чтобы все первые названия перешли в нем во вторые...

Но, читая Вампилова, снова и снова с надеждой возвращаешься к старому убеждению Достоевского: «Мир спасет красота». Красота и сила природной одухотворенности, перешедшая в красоту и силу человеческой духовности, во имя сохранения которой и обязано трудиться искусство.



ЕГО СОТВОРЕННОЕ ПОЛЕ

О Федоре Абрамове

Я не могу похвалиться, что хорошо знал Федора Александровича. Чаще всего наши встречи происходили в Москве во время писательских пленумов и съездов, однажды я был гостем у него в Ленинграде. Меня не оказалось, к сожалению, в Иркутске, когда приезжал туда Абрамов, и это в особенности обидно: так хотелось походить с ним по нашему городу, показать и послушать. Его взгляд на вещи был точный, много раз приходилось в этом убеждаться, и он, чтобы сказать правду, не стеснялся положением гостя. Позднее, вспоминая об Иркутске, он упрекал меня:

— Что ж распустили вы там своих перестройщиков?! Они рады все перестроить, все с ног на голову. Красивый город, и — портят. Что ты мне о вкусе! Дело не во вкусе. Есть люди, которые заинтересованы, чтобы мы с тобой, живя в России, остались без России. Чтобы она у нас потихоньку да помаленьку уходила из-под ног. Эх!.. Когда поумнеем?!

На съезде мы и познакомились. Раньше книжные распродажи бывали там, где открывался съезд, — в Кремле. Пытаясь продрасться к столам с книгами, я в людской толчее лицом к лицу столкнулся с Федором Александровичем, выбирающим с пустыми руками обратно. Мы столкнулись, и Абрамов, как давно знакомому, вдруг сказал:

— За чем так бьешься? Без чего жить не можешь?

Я засмеялся, счастливый от такого внимания и все же на всякий случай всматриваясь, действительно ли это

Абрамов, и стал разворачиваться обратно. Помню, мы прошли в конец книжных рядов, где писательский люд был реже, и купили по «Энциклопедии домашнего хозяйства».

— Вот это нам и надо. Все остальное напишем сами. Что пишешь-то? — говорил Федор Александрович сквозь препятствия, когда едва ли не каждый третий тянулся к нему поздороваться.

Прежде я не был знаком с Абрамовым, но примерно за год до того мы обменялись письмами. Первым, прочитав мою книжечку, написал Федор Александрович. Немного, но тепло, одобрительно, как-то так, что даже и замечания мне, никому тогда не известному молодому писателю, казались похвалой. До самых последних дней он находил время читать молодых и писать им, когда ему нравилась книга. Как, из каких запасов выкраивал он для этого часы, я теперь не пойму, у меня это получается плохо. Недавно, разговорившись с новосибирцем Николаем Самохиным, я узнал, что и у него есть письма от Федора Александровича: вот так же случайно наткнулся на рассказ, увидел в авторе писателя и тут же, не откладывая на потом, как это было со мной, отозвался двумя страничками, способными окрылить кого угодно. Еще бы! — сам Абрамов заметил и благословил. Он да еще Василь Быков никогда не гнушались свой огромный писательский авторитет опускать до маленького, казалось бы, дела — до незапрашиваемого отзыва и читательского порыва. Много раз и у меня и при мне он спрашивал: есть молодые? есть молодые? — для него было чрезвычайно важно, в чьи руки после нас попадет литература, которая в великих мучениях, в том числе и в его мучениях, снова соединилась с совестью и правдой.

О мучениях. Однажды я спросил у Абрамова, насколько трудно было в ту пору, когда литература еще считалась уделом сочинительства, писать «Вокруг да

около». Он ответил (не буду ставить его слова прямой речью, потому что могу ручаться лишь за смысл, но не за порядок слов), что писать правду всего легче, чем неправду; труднее печатать ее. Но и напечатать — не самое сложное, труднее же всего, когда свой брат писатель и читатель, выросший на фигурах умолчания и красивых заменах, отвыкший от полной правды, считает ее не подходящим для искусства, неэластичным материалом, который грубостью и прямолинейностью губит форму и не производит должного впечатления. На 50-летию Василия Белова в Вологде в 1982 году Федора Александровича не было, он тогда болел, но помню, как в одной из приехавших на юбилей групп, состоящей из московских гурманов, заявлено было, что Абрамов своим известным письмом к односельчанам оклеветал русский народ. Великая боль от зла равнодушия и бесхозности земли принята была за действие во зло. Как будто можно оклеветать народ! Как будто писателю, если бы даже он задался подобной целью, это по зубам! Меня возмутили не тон и не формулировка, даже не присвоенное право говорить от имени народа, все это в избытке всегда водилось и не переведется, но то, как высоко поднялось это патронажное мнение: на юбилей к Василию Белову случайные люди попасть не могли. Позднее в других, не менее авторитетных устах, я слышал его и в адрес Юрия Бондарева и в адрес Виктора Астафьева по поводу «Игры» и «Печального детектива», и всякий раз, когда с непрерываемостью высшего судьи произносилось это «оскорбление интеллигенции», «оскорбление народа», всякий раз вспоминал я слова Федора Александровича о том, что правде, входящей в литературный салон, где любят толковать о правде, обидней всего быть неузнанной.

Во время того же съезда, когда я познакомился с Абрамовым, спускаюсь я в магазинчик в гостинице «Россия» — навстречу Федор Александрович с новенькой пи-

шущей машинкой. К той поре я свою машинку расколо-
тил так, что вместо кириллицы она стала выбивать ла-
тынъ, и при виде желанного инструмента обрадовался:

— Продают?

Абрамов, приостановившись, хмыкнул:

— А у тебя талон есть?

— Какой талон?

— Талон надо было взять в правлении. Не взял?

— Не взял. Не знал. Попрошу — может, дадут по пи-
сательскому билету.

— Не дадут.—Он вдруг взял мою руку и вставил в
нее ручку от машинки.— Бери. У меня есть.

Я пробовал отказываться, протестовать — не тут-то
было. Федор Александрович так глянул на меня (а ког-
да он сердился и взглядывал исподлобья, сразу стано-
вился выше любого при своем небольшом росте), что я
сдался и принялся бормотать благодарности. Вправду,
получить такой подарок от Абрамова было, конечно, ле-
стно.

— Бери, бери, пользуйся. Машинка в нашем ремес-
ле не главное, но и без машинки нельзя.

И до сих пор жива у меня и служит немецкая «Эри-
ка», так неожиданно и счастливо доставшаяся от Фе-
дора Александровича.

Он любил, когда съезжались в Москве, собирать сво-
их, кого выделял и кому доверял. Помню большой апар-
таментный номер в гостинице «Россия», заказанный в
ресторане ужин, среди гостей Феликс Кузнецов, Васи-
лий Белов, Борис Панкин. Абрамов и Белов только что
схватывались в жестоком споре, схватывались по-север-
ному цепко и горячо, еще не остыли, и Василий Белов
торопливо набирает по телефону вологодский номер.

— Ольга,— сердито говорит он жене.— Приезжай.
Скорей приезжай, меня тут Федор обижает. Какой-ка-
кой?! Абрамов. От него звоню, от Абрамова. И Людми-
ла Владимировна здесь, привет тебе передает.

Абрамов исподлбья косит на Белова, и когда тот опускает трубку, не отстает:

— И Ольга тебе не поможет. Нет, брат, хватит шептаться по углам, вслух говорить надо.

— Я что — не говорю?! — взрывается опять Белов. — Я что, отмалчиваюсь?

— Громче говорить надо. Чтоб вся Россия слышала.

— Вот ты завтра подынешься и скажешь за всех нас.

— Я скажу. Но за себя ты сам должен говорить. Тебя любят, твое слово понесут.

— Я за столом говорю. А на трибуне не умею. Не люблю.

— Надо — сумеешь. А сейчас — надо. То, что ты скажешь, никто не скажет.

Когда Федор Александрович поднимался на трибуну, зал замирал. Во время его выступлений в фойе не оставалось, вероятно, ни одного человека, все возвращались на свои места, чтоб ни слова не пропустить из того, о чем нынче в первую очередь хлопочет совесть, что говорит правда. Я слушал Абрамова несколько раз, в том числе на 6 и 7-м писательских съездах страны, — впечатление было очень сильное. Можно объяснить его, это впечатление, ораторским искусством, но, мне кажется, тут дело не в искусстве. Когда слово добывается кровью сердца, оно с кровью сердца и произносится. Истина, если ей к тому же не часто удастся выйти в люди, сама найдет и голос, и тон, и температуру накаливания. У Абрамова к середине выступления она достигала обжигающего действия, зал, устраивая овацию, просил дать ему перевести дыхание. Взмашистым, вырубаящим слова голосом Абрамов добивался максимального, абсолютного проникновения и победительности своей мысли.

Не стало Абрамова — и пошел к трибуне Василий Белов и продолжил то, на чем кончил в последний раз Федор Александрович.

Когда нужно было сказать, он не оглядывался, кто рядом, свой или чужой: для хитрости, для полуправды требуются доверенные, правда годится для всех. Я был свидетелем, как один известный, очень известный писатель, обремененный, правда, высокой должностью, притворился пьяным, чтобы не участвовать в разговоре, который показался ему опасным. Федор Александрович прервался, удивившись, с чего бы тому опьянеть, догадался, что к чему, и не пожалел, довел разговор до конца.

Года за три до его кончины меня пригласили выступить в Ленинградском Доме писателя. Федора Александровича на этой встрече не было, но ему, видимо, передали, о чем я говорил, потому что позднее, когда я пришел к нему в дом, с прищуром улыбаясь, спросил:

— Значит, чтобы цензура не цеплялась, писать надо хорошо? Так?

— Примерно так.

— Но для этого надо, чтоб цензура была умная, чтоб в ней Салтыковы-Щедрины и Тютчевы служили, которые бы радовались полновесному слову. Радовались, а не обнюхивали его, чем пахнет — своим или чужим. Нет, тут не так все просто. А писать надо хорошо, это верно. Писать всегда надо хорошо. Не для цензуры, а для литературы.

Как никто из нас, один из очень и очень немногих (тут рядом с Абрамовым можно поставить лишь В. Тендрякова), он не просто задавался трудными вопросами, но всегда доискивался до ответов. Доказательство тому роман «Дом», многие статьи и выступления. Это был художник и труженик проникающего, мускулистого ума, что чувствовалось даже и в разговорах. Вместе с ним говорить было трудно, он вел мысль как борозду, распахивая ее из глубины, выворачивая из-под слоя поверхностного и случайного, и, как всему, что достается в трудах, знал ей цену, умел добиться, чтобы его слушали.

Никакого сомнения: в том, что происходит теперь по возрождению русского поля в широком смысле, и его работа, в которой он себя не жалел, и его правда. Так и вижу: стоит, только что услышав радостную весть об окончательном прекращении работ по переброске рек, Федор Александрович посреди вновь распаханной запусти и говорит, обращаясь в родные просторы упрямо и уверенно: «А как иначе? Так и должно быть! Или мы не великий народ?!»



ВСЕ КРАСКИ ЖИЗНИ

К 60-летию Виктора Астафьева

«Так что же я ищущу? От чего мучаюсь? Почему? Зачем? Нет мне ответа». Этими словами заканчивает Виктор Астафьев одну из лучших своих книг, одну из лучших книг нашей литературы — «Царь-рыбу», от начала и до конца наполненную нежной и дерзостной любовью к родной земле. Впрочем, какой там «наполненную» — наполнение требует иной силы, берущей любовь в качестве средства; здесь же этой первоначальной, исходной силой была именно любовь, огромная, пытливая и страдающая, в лад и слово себе подобравшая все остальное обряжение книги.

«Нет мне ответа». Как часто мы, заканчивая книгу, если и не заносим это сомнение на бумагу, то повторяем его после мучительных вопросов, веря и не веря в пользу с такой натугой доставшегося слова. Но по отношению к работе Виктора Астафьева ответ есть. Талант астафьевской мощи и страсти — явление редкое, в нынешней литературе по точности, красоте и эпическому полноречию народного языка он не имеет себе равных. Не слишком ли? Нет, не слишком. Писателей, обладающих народным словом, у нас немало, но для них оно, как правило — профессиональный инструмент для наиболее верного и полезного выполнения мыслей, для Астафьева же оно — его жизнь и стихия. Когда читаешь его книги, такие, как «Последний поклон», «Ода русскому огороду», трудно отделаться от впечатления, что он как автор не извне брал, приискивая слово за словом в общем хранилище языка, а обходился могучими собственными

недрами, и основная работа состояла в том, чтобы в интересах доступности и простоты повествования отбрасывать лишнее. Не найти, а убавить. Словно бы безбрежная, словно бы языческая наполненность, играющая всеми красками подлинной жизни — таково письмо Виктора Астафьева. Слово его телесно и чувственно, образ его, что называется, кровь с молоком, людей в его книгах как-то не с руки называть героями или действующими лицами, они люди и есть, к которым трудно что-либо прибавить.

Такой дар мог быть дан, казалось, лишь для того, чтобы славить жизнь. Это талант праздника, торжества раздольной осанной. Астафьев ее и славит, но его утверждение человеческого и природного бытия с немалыми трудами продирается сквозь боль и сомнения. Мирощущение наталкивается на практику жизни с ее несправедливостью, неправомерностью, совесть не всегда соглашается с натурой. И писатель подчиняется совести. Астафьев отнюдь не ломает голос, когда говорит и об одном, и о другом, и о здоровом, и о больном. Но совсем иная интонация, свободная и приподнятая, вышедшая на желанный простор, слышится в его повествовании, когда ненадолго отвлекается он от тяжких забот нашего жития.

Но это удается не часто — больше всего на страницах, посвященных детству. Затем была война, под которую и он, Виктор Астафьев, подставил свое плечо на самых трудных пехотных путях. Ему и нам повезло: он остался жив и создал книги, без которых мы сегодня не представляем советской литературы.

О войне написано много, но попробуйте из этой богатой героической летописи, насчитывающей многие и многие тысячи страниц, изъять всего только несколько десятков, составляющих «Пастуха и пастушку», и сразу неполной и подсушенной покажется художественная правда войны. Без краткой любви молоденького лейте-

нанта Костяева и девушки Люси из этой «современной пасторали», без случайной любви двух чистых сердец, выпавшей в перерыве между боями,— вся мировая словесность о великом человеческом чувстве потерянно опустится на отметку ниже: подобной нежности и обреченности, соединенной без границ в какое-то неиспытанное прежде чувство, в ней еще не бывало. Я вовсе не хочу этим сказать, что «Пастух и пастушка» — самая лучшая книга о войне и о любви на войне (да и кто в таком деле может рассчитать этот порядок?!), но мера смерти и мера любви доведены в ней словно бы до последнего, до конечного напряжения, которое добывает в наших вдоль и поперек изведенных сердцах новое и заповедное ощущение жизни. И могила лейтенанта Бориса Костяева посреди России становится общей нашей виной перед ним и такими, как он. Что и требуется от прекрасной книги.

Но все мучается и ищет писатель, и задает вопросы, на которые ответа не дать именно потому, что он близко: в самом человеке. Но это «близко» на деле оказывается слишком далеко, и вопросы наши часто не достигают цели.

«Обывателю-то хоб што — он не читает стихов, он по-прежнему ходит на футбол, лижет мороженое, выпивает из-под полы, орет по-бараньи, свистит...», — от горечи, что до души обывателя ничем достать невозможно, срывается однажды Виктор Астафьев в «Затесях», в книге лирических миниатюр, отнюдь не на лирический тон. Достигают ли цели усилия литературы по нравственному и духовному выправлению человека — сомнения такие навещают многих из нас. И все-таки: не по племени освободившихся от души и от совести, от Родины и от веры следует судить о работе литературы. Виктор Астафьев прекрасно о том знает. Многие сотни писем, которые получает писатель после каждой своей новой книги, лучше всего свидетельствуют, что сейчас, как никог-

да прежде, люди расположены к правде, какой бы неприятной она ни была, и к жизни и деятельности во имя отечества, что все больше и больше обретают они память по отношению к прошлому своей Родины и чуткость по отношению к ее будущему. Разумеется, это результат трудов не только литературы, но без литературы он не был бы столь заметен. Не потому ли народ наш, прежде всего, читатель, что в книгах находит он искомое для своей души,— то, что и должна литература давать человеку, не потерявшему окончательно во внешних материальных и технических приобретениях.

Давно замечено: талант — это «улица с двусторонним движением». То, что дается природой и детством, требует рождения и удачи — в месте рождения и в близком окружении. То, что дается жизнью и общением, книгами и воспитанием, требует будних усилий. Но то, что отдается людям и природе обратно, требует всего человека без остатка: ничего случайного или не выверенного, такого, что может быть понято превратно, художник предлагать не может. Писатель столько раз умирает и возрождается, сколько им написано книг.

«Последний поклон» у Астафьева — повествование обнаженной искренности, вычерпанности до дна. И не может же быть, чтобы оно в свой черед не подвинуло читателя к бесхитростной и открытой душе. И память, и совесть не имеют границ: быть может, они в одном источнике и существуют, восполняясь за счет своего потребления. Талант этому закону подчиняется не всегда, но талант, отданный памяти и совести, имеет долгую и счастливую судьбу.

Огромный и беспокойный талант Виктора Астафьева — это талант действия и убеждения, нескончаемых хлопот по обретению человеком своей лучшей сути. Он не может мириться с заржавевшей правдой бытия, говорящей, что всегда и во все времена были добро и зло, поровну того и другого. Он против зла в любых долях.

Однако литература — это не «шприцевание» добра, а только его предложение и доказательство. Чтобы оно стало частью человека, необходимо потрудиться и ему, человеку.

Над этим и бьется неустанно писатель Виктор Астафьев, для этого и созданы все его книги. И бьется с немалой пользой.

Не литературной, а живой и земной семьей стали для нас Витька Потылицин и его бабушка Екатерина Петровна (бригадир среди всех бабушек, которым писатели не перестают класть благодарные поклоны), Борис Костяев и Люся, Акимка и Сергей Митрофанович, как и многие другие герои Виктора Астафьева. К ним мы обращаемся за учебой и помощью, за состраданием и верой. Без них было бы бедней и хуже.

...Нет, такие труды не остаются без всходов. И если не пришло еще время убирать урожай, если его соберут после нас, то не миновать им, счастливым страдникам, чтобы не помянуть добрым словом тех, кто, несмотря на невзгоды и непогоды, продолжал с упорством и надеждой сеять и сеять...



«ПОКУДА ЧЕЛОВЕК ПРИРОДНОГО ДАРА ДЕРЖИТСЯ...»

К 70-летию Сергея Залыгина

Духовные центры не обязательно существуют только лишь в крупных, известных своей культурой городах. И не только в больших и знаменитых коллективах, таких, как Пушкинский дом в Ленинграде. Случается, что их несут в себе отдельные люди, вобравшие в себя столь огромное богатство и с такой мудростью им распорядившиеся, что это воспринимается как чудо. В литературе и литературной науке сразу вспоминаются два имени: академик Дмитрий Сергеевич Лихачев и прозаик Сергей Павлович Залыгин, влияние которых на общественную, художественную и, можно добавить, историческую мысль едва ли найдется с чем сравнить.

Но сейчас речь о Сергее Павловиче Залыгине...

Мы обычно не обращаем внимание на то, как читатель произносит имя писателя. Разумеется, ничего плохого, если он называет его по фамилии, — лишь бы читал и знал. Но в том-то, однако, и штука, что, если по фамилии, то не читает. Быть может, и знает, поскольку фамилия эта в критических «святцах» и постоянно на слуху; быть может, даже и читал, да остался спокоен к книге и больше не читает, но дальше фамилии близости между ними нет. Если еще и по имени — понимание и согласие или есть, или к тому дело идет, этот писатель интересен читателю. Ну, а если по полной форме... В последние годы мне, кажется, не приходилось слышать, чтобы где бы то ни было Сергея Павловича Залыгина называли иначе, чем именно так, — по имени-отче-

ству, с особым уважением и интонацией в голосе, выдающем родство. Иначе его имя не произносится и не звучит. Почему-то не получается иначе, словно для этого потребовалось бы завернуть поперек язык. Не выходит, и только. Так же, припомним, как при имени Федора Михайловича Достоевского или русского философа Николая Федоровича Федорова. Или того же Дмитрия Сергеевича Лихачева. И объяснять это следует не столько уважением (уважение может быть и холодным), сколько всеобщей любовью и поклонением, жаждой этих имен, боязнью пропустить от них каждое новое слово.

Давайте попробуем ненадолго представить себе, что среди граждан, так сказать, художественного «государства», созданного в последние десятилетия нашей литературой, нет ни Степана Чаузова, ни Ефрема Мещерякова, ни Николая Устинова и Ивана Ивановича Саморукова — персонажей только трех книг С. П. Залыгина о гражданской войне и коллективизации в Сибири. Удастся ли предположить, чтобы литература и мы с вами, читатели, обошлись теперь без них? Нет, не удастся. Представить такое нельзя. Общая правда, высказанная многими и многими, без их слов была бы далеко не полной и без их судеб осталась бы неподтвержденной до конца. В 60-х годах в числе самых главных свидетелей тех событий были, бесспорно, герои романа «Соленая падь» и повести «На Иртыше», в 70-х — герои романа «Комиссия», не просто честно и беспристрастно подтвердившие, в чем состояла суть перемен, но и представившие себя в полный рост в качестве исходного материала для размышлений: такими мы тогда были, так работали и относились к земле, так понимали революцию и освобождение и так собирались жить... Они вышли друг за другом к читателю со столь убедительным голосом, и слово их показалось столь необычным своей потерянной обычностью и природностью, что впору было усомниться, действительно ли они выписаны писательским пе-

ром, а не составлены какой-то чудесной силой из народного мнения и опыта.

О писателе говорят: художник слова. Для С. П. Залыгина этого мало, он художник мысли. Причем мысли народной, вникающей в коренные вопросы бытия. Не просто выразитель, а именно художник, высказывающий ее так, что, оставаясь и народной, и мудрой, и органичной, она становится убедительной благодаря еще и привлекательности, красочности, вызывая в нас эстетическое чувство. Для него, кажется, и внешнее, сюжетное движение в книге менее важно, чем движение, нарастание мысли, имеющей словно бы собственную драматургию. Удивительная вещь: мы воспринимаем эту непростую мысль без всякого напряжения, с охотой — будто для нее заранее приготовлено место, чтобы нам сразу сделалось легко и удобно. Удобно в себе — не физическим, а духовным ладом — состояние редкое и счастливое. Происходит совпадение, совмещение, пусть недолгое, твоей личной правды с правдой общей, ни в ком отдельно не состоящей, недостижимой в своей высоте от искажений, живущей и сохраняющейся вот такими совпадениями. И если этому помогает книга — что еще чужно от книги?!

Никто до С. П. Залыгина не писал у нас с таким знанием дела о народной организации жизни. Конечно, одного знания дела тут мало. Мало добытых в архивах сведений, мало побывать в местах намечаемых событий и разговаривать с оставшимися очевидцами, видеть во всех подробностях время, взятое для книги, в его земном объеме. Чтобы показать эту организацию, этот порядок жизни так, как показывает их С. П. Залыгин, необходимо иметь какое-то особое чутье на любые мелочи, обладать способностью присутствия и ощущать в себе что-то вроде родовой памяти.

Читая «Соленую падь», нам и в голову не придет усомниться, что партизанская республика в тылу Кол-

чака могла быть организована как-то иначе и действие могло происходить в другом порядке. Даже сцены боев, которые под рукой гражданского писателя, как правило, невольно выдают себя едва заметным опозданием слова к моменту наступления события, — и их воспринимаешь с полным и безусловным доверием. Однако и тут С. П. Залыгин остается самим собой. Самим собой — значит ни в чем не позволяет обнаружить себя — писателя, полностью находясь в шкуре мужика, для которого война — занятие противоестественное и который участвует в ней не просто как боевая единица, во имя правого дела в любую минуту готовая на смерть, а, прежде всего, как рассудительная, не скинувшая со своих плеч забот о земле личность, среди прочего оружия пользующаяся еще и хитростью, чтобы не потерять попусту голову и без крайней нужды не дать осиротить семью.

Это словно бы самовыражение события и времени, нашедшее в писателе Залыгине тот единственный, не способный на сбой, подходящий голос. То же самое можно сказать и о «Комиссии».

В «Комиссии» показана народная организация жизни в мирное время. Еще в мирное — на пороге братоубийственная гражданская война. Вопрос в том, сегодня или завтра ворвется она в село Лебяжку, где разворачивается действие романа. Старая государственная власть прекратила свое существование, за новую предстоит еще биться. Казалось бы, под страхом решающих перемен, с одной стороны, и в ожидании их, с другой — по логике вещей не мог устоять никакой порядок. И какова же должна быть сила мирского здравомыслия и вера в будущее общественное благоустройство, насколько важной в поведении хозяйничающего поколения была забота о жизнеобеспечении детей и внуков, если именно в эту тревожную и неустойчивую пору мужицкий сход Лебяжки избирает Лесную комиссию. Подумать только:

Лесная комиссия для охраны соснового бора, народного достояния, накануне страшной внутринародной войны! Лес — поперед всех других дел! Поневоле воскликнешь: где они ныне, те лебяжинские мужики?! Те, которые провозгласили: «Сущность власти — разумный закон и порядок, а всякий человеческий закон и порядок бессмысленны без убережения людьми природы и земли».

В одной из своих статей С. П. Залыгин назовет браконьерство, привычку «побольше взять, и не только с недозволенной рыболовной снастью», способом жизни.

Но Лесная комиссия в Лебяжке занимается не одной лишь охраной бора. Как народное представительство, она с общего согласия взяла на себя функции полной власти: разбивает самогонные аппараты, собирает общество на строительство новой школы, помогает нищим и малоимущим, разбирает тяжбы, наказывает нарушителей порядка, которым не терпится бить стекла и поджигать усадьбы. Одним словом, справляет на месте со всей возможной справедливостью не сегодня и не вчера появившиеся писанные и неписанные законы человеческого общежития. И справляет самостоятельно, руководствуясь совестью и благодеянием.

«Что есть гражданство? — спрашивается в письменном документе XVII века — в «Гражданстве обычаев детских» — и отвечает: — Есть обычаев добросклонность и человекопочитательство».

Нет, была, была у русского мужика государственная голова, и после революции она вскинулась и обнадежилась, как никогда. Его по-природному сметливый ум высматривал и находил самые надежные и скорые пути для облегчения разоренной жизни. Ни в одном деле эта голова никому не хотела уступать, все ей представлялось по силам. И стоило чуть установиться после гражданской войны миру, стоило пообещать мужику самостоятельность, и он в считанные годы такие проявил грамотность и хватку в самом широком обустройстве жизни,

каких от него нельзя было ожидать. Но выяснилось, что были и, возможно, были они в нем всегда и только были придавлены.

«После бури» — так называется последний роман С. П. Залыгина, снова подтвердивший уже на ином материале, чем в прежних работах, талантливость, инициативность и добросклонность нашего народа, взявшего на себя огромный, для кого другого, быть может, непосильный труд преодолевать многие и всяческие трудности и помехи.

Ни о чем ином С. П. Залыгин, похоже, и не хочет писать. Для него это главная тема: народное сознание в его временных проявлениях и историческом движении, высветление народной сущности среди случайных и сезонных черт. И ни от чего — ни от случайного, ни от сезонного — он не отмахивается, а снова и снова ищет причины, откуда они взялись и как выпло, что они прижились, что, какие условия способствовали их зарождению. С народом следует быть откровенным, а у писателя другого способа нет, как быть в работе только откровенным, находить такие слова и мысли, которые проникали бы в самую затаившуюся душу.

На память приходят слова Петра Калашникова, председателя Лесной комиссии: «...Хорошее надо брать для жизни, худое отбрасывать, и дело народа пойдет! И еще как пойдет-то! Народ — он же великий! Он все может. до всего дойдет, ему надо только путь-дорогу хорошо определить».

Никакого нет сомнения: С. П. Залыгин — один из тех, кто и помогает ему «путь-дорогу хорошо определить» в его нравственных, духовных и общественных исканиях.

В эти дни много раз будет помянута огромная литературная, общественная и подвижническая деятельность С. П. Залыгина, его энергия и неутомимость, правдивое и только правдивое слово, никогда и ни под какими об-

стоятельствами не заглядывавшее в подставленные соседние пределы, его принципиальная борьба уже не на страницах книг, а на земных родных верстах за сбережение лесов и пашен. Оказывается, и один человек может очень и очень многое, если человек этот — Залыгин.

Сибирь обязана ему в особенности: перед всем миром он оправдал сибирского коренного мужика, показав его не урманным дикарем, а светлой и толковой головой.

Годы для человека, конечно, многое, но далеко не все. Годы же, отданные на благое дело, имеют какой-то свой счет и по-своему сказываются на нас. Нет, не ради красного словца станут в эти дни говорить о свежести пера и молодости С. П. Залыгина. Возраст — это территория, которую сдают; иные сдают ее старости и в сорок лет, иные держат и в 80.

Я вспоминаю, как совсем недавно большой писательской группой мы ездили в Петрозаводск и Мурманск. Только авторитет С. П. Залыгина собрал вместе такие имена, как Виктор Астафьев, Василий Белов, Гариф Ахунов, Владимир Крупин, Виктор Потанин, Виктор Лихоносов, Владимир Личутин, Анатолий Ким, Георгий Баженов и др. Поездка была трудной, приходилось и читать, и говорить, и выступать, и учить, и учиться — все то, что приходится в таких случаях делать писателям, но только в сильно увеличенном объеме. Северяне не упустили возможности использовать нас на полную катушку. Мы уставали. В Апатитах, чтобы посмотреть разработку руд, желающим предложено было встать в пять утра. Поднялись единицы, и среди них С. П. Залыгин. На следующее утро, встретив его в совсем раннюю пору на ногах, я удивился:

— Вы что же — успели уже отоспаться после вчерашнего?

Сергей Павлович взял меня под руку и засмеялся:

— Да я сегодня уже два часа успел над романом по-сидеть.

«В жизни должен быть дар, иначе одно только и останется ремесло, одна только мастерская и завод, в которых люди начнут строгать и печь свою жизнь день и ночь, без отдыха на обед и сон, а жить им будет совсем некогда.

Дареному коню в зубы не смотрят, а если жизнь будет только ремеслом, а даром — не будет, тогда опять-таки день и ночь для человека останется одно занятие: рассматривать на жизни каждый зубчик, каждый волосок, рассматривать и оставаться недовольным: «Почему сделано вот так, а не вот этак?»

Так рассуждает в «Комиссии» Николай Устинов, озирая землю и небо, которые он, как истинный пахарь, представляет в одной упряжке, несущих многоликую жизнь.

И, как мудрый человек и писатель, С. П. Залыгин подтверждает:

«И покуда человек природного дара держится, следует ему — до тех пор будет известно, что такое жизнь людская; забудется указ, и неизвестно станет о человеке ничего — кто он, что он, зачем и почему. И заблудится человек в неизвестности».



ВСЯ ЖИЗНЬ — СТРАДА

К 80-летию Дмитрия Сергеевича Лихачева

Поразительно, как много может один человек! Ученый, писатель, общественный деятель, почетный член ряда зарубежных академий и почетный доктор университетов, член редколлегий, редсоветов и ученых советов, крупнейший специалист по древнерусской литературе и авторитет по литературе современной, автор книг, в том числе для детей, ведущий телевизионных фильмов и передач, участник дискуссий, докладчик на конференциях и симпозиумах, рецензент по научным трудам и литературным новинкам, умеющий и успевающий представить самое нужное и интересное и отозваться на книгу, на мнение, на спор, самой деятельностью выдвинувшийся на роль одного из главных хранителей национальной культуры и памяти, ходатай за сохранение природы, попечитель нравственного облика человека, справедливый и здравомысленный судья по многим вопросам духовности, руководитель и учитель, огромных трудов гражданин и подвижник.

И за последние десять лет, когда другие в его возрасте уходят в себя и отдаются недугам, он не только не ослабил свою ученую и гражданскую деятельность, но даже усилил ее и расширил, подтвердив тем самым неписанный закон жизни: память, ум, физические силы не оставляют человека и восполняются до тех пор, пока они служат народному делу, пока в них есть общая потребность.

Он — это Дмитрий Сергеевич Лихачев, человек, которого в нашей стране представлять не надо, которого зна-

ют все, авторитет которого имеет особую значимость, как если бы мы подозревали и чувствовали, что в его слове и правде есть не одно лишь земное и настоящее, но вечное и вышнее. И весь его облик, спокойный, внимающий и светлый, красивое и одухотворенное лицо, лишенное вовсе бегающих морщин, происходящих от суетности, и выказывающее лад между внешним и внутренним, между мыслью и делом, весь вид его словно подтверждает, что ему дано что-то такое, что не дано нам, что он знает какую-то властную тайну.

По отпущенной человеку мере восемьдесят лет — это немало, даже много, но для Д. С. Лихачева это не окончание, а все еще долгое продолжение: древность, которой он занимается и которая благодаря ему стала нам родней и ближе, насчитывающая между тем века и века, приучила нас смотреть на толкователей ее как на избранников, как на апостолов, проживающих другие сроки. Литературным памятникам о Куликовской битве шестьсот лет, «Слову о полку Игореве» восемьсот. «Повести временных лет» и того больше, неужели же рядом с этими периодами ничего не переходит к их проводникам?! Быть того не может! «Мы называем древностью то, что далеко от нас во времени,— писал академик Лихачев в одной из своих статей.— «Древний мир» — античность, «древняя» русская литература — ее XI—XVII века. Но если отвлечься от них самих и считать не те годы, что отделяют нас от предмета, которым мы занимаемся, а только те годы, которые этот предмет изучения прожил сам, то, пожалуй, русскую литературу XI—XVII веков надо относить к ее младенческому периоду, а всю так называемую древнюю русскую литературу считать молодой». В таком случае молодость словесной древности не следует ли соразмерять с земной молодостью словесников, отдающихся древности?

Казалось бы, человек, продолжаясь из рода в род, опытным путем должен отбирать лучшие черты, отка-

зываясь от худших как не имеющих моральной выгоды и исторической перспективы. Не для того же был создан человек, чтобы, отказавшись от собственного совершенствования, употребить ум свой и знания в течение веков на совершенствование прикладной стороны жизни — технического, но не нравственного могущества? А так оно и случилось. Прогресс принял форму раковой опухоли, когда второстепенное возросло до огромных размеров и вытеснило главное. В человеке победил механизм физического движения и насыщения, дух остался в старомодных советчиках, не нашедших решительного слова.

Но среди нас должен быть тип личности, развивающийся вопреки принятому направлению гармонично, в соответствии с начальным заданием. Но если такая личность есть, а ее не может не быть, тем сильнее она выделяется. Она заметна сразу. Любая порода вырождается, кроме духовной. Когда смотришь, читаешь, слушаешь академика Лихачева, не оставляет ощущение, что вот он, человек, каким и должен быть человек, не потерявший ни в веках, ни за свою жизнь верноподданности, ведающий истинные пути. Что вот оно, слово, каким и должно быть слово, сохраняющее зерно и вес, происходящее из завоеваний и говорящее в пользу завоеваний разума. Разума свободного от всякого гнета, в том числе и добровольного, купленного за блага.

Что помогает Дмитрию Сергеевичу знать эту истину, эту властную тайну, скрытую от многих и многих? Подозреваю, что никакого секрета тут нет. Секрет здесь в памяти, доступной каждому. От начал человечества прежде в устном слове, затем в письменном оно отбирало, проверяло и заносило в книгу бытия основные свои заповеди, ориентиры и открытия, от которых следовало двигаться дальше. Однако самонадеянный человек не всегда давал себе труд заглядывать в эту книгу. В античности, во времена Птолемея и Аристотеля, хорошо

было известно, что планета наша — шар, но в средневековье эту очевидность пришлось открывать заново. Так происходило и продолжает происходить со многими другими завоеваниями опыта и разума, особенно в мире отношений между людьми. У каждого народа, кроме того, существует своя национальная память, как записанная, так и пульсирующая в крови, если слушать токи родной крови. Если слушать ее и понимать, от скольких заблуждений, жертв и пустых трудов был бы избавлен любой народ,двигающийся нередко как слепой из стороны в сторону. История в наше время не может подвигаться случайными или ложными шагами. И не электронным машинам вычислять ее маршруты. Она ориентирована прошлым, его лучшими, замечательными событиями и умами.

Одна из последних книг Д. С. Лихачева так и называется — «Прошрое — будущему». Многое можно из нее цитировать, и все будет кстати, все будет к месту наших рассуждений о природе дальновидности: чем глубже знаешь прошлое, историю и культуру своего и других народов, тем дальше различаешь будущее, тем меньше ошибаешься в движении.

Вероятно, Д. С. Лихачеву повезло. Сам предмет занятий наделил его особым духовным зрением. Его профессией стала национальная память, оставленная в «хождениях», «житиях», «поучениях», «молениях», «словах», «сказаниях», «повестях» — во всем том, что является поэзией, страстью и художественным опытом народа. Оставлялись в слове, как правило, не в пример нашему времени, великие события и нерядовые откровения духа: как нынче ищут в недрах земли нефть и уголь, так прежде искали в недрах нарождающихся общественных отошений незыблемые, невырабатываемые, не знающие износу и угасания «слова о законе и благодати». На первый взгляд, любой исследователь этой вековой мудрости мог составить единую золотую памятку из самого лучше-

го и поучительного, руководствоваться ею сам и руководить других. Рядом с великими, выстраивающимися в учение, в национальный кодекс завоеваниями ума и дела как не воспламениться и не понести их жар и правду равнодушным и заблуждающимся! Беда нынешнего человека в том, что он плохой хозяин знаниям, он обо всем информирован и ничего в себе не держит — все как на общественном дворе. Однако скольких мы видим ученых, погруженных в древность так, что они находят минуту выбраться из нее лишь для того, чтобы пообедать. «...труд ученого, результаты его работы, его подходы к исследованию теснейшим образом связаны с характером его личности...», — заметил однажды Д. С. Лихачев. И в этом тоже: один будет изучать, писать труды и довольствоваться миром собственных открытий, другому такой работы в себя покажется мало, и то, что необходимо, по его мнению, знать всем, он всем и скажет.

Личность академика Лихачева деятельная, общественная, учительная. Независимо от того, время ли выдвигает такие личности, или они подготавливают благоприятное время, произошло удивительное совпадение, как принято говорить, велений времени с учеными и гражданскими задачами Д. С. Лихачева. В гуманитарной науке бывает не часто, чтобы результаты трудов на общество сказались уже при жизни ученого и человек внял его слову. Уж очень важным и необходимым должно быть это слово! Гораздо легче убить память, чем восстановить ее, однако, случилось почти чудо, которое мы, добываясь его, не успели осознать как чудо: примерно за два десятилетия к нам вернулась память. Мы больше не иваны не помнящие родства. Наша история, литература, фольклор, нравственность, духовность, национальный характер стали богаче и, главное, приобрели зримые черты. Мы все, в свою очередь, стали богаче и почувствовали ответственность, которой прежде не были обременены, за все — за прошлое и будущее, за себя и

народ. Мы обрели духовную оседлость, о которой так много писал и которой добивался Д. С. Лихачев. Конечно, время кочевничества и беспамятства не прошло бесследно и породило во всех слоях общества тип деятельного преобразователя, начисто лишенного родового чутья, по образу мысли и действия пирата на собственном корабле, с которым предстоит долгая борьба, как гражданская война, но направление тем не менее определилось, верх взяла объединяющая, а не разъединяющая сила. И когда представляешь себе это патриотическое движение, теперь уже с каждым годом расширяющееся и углубляющееся, видишь среди его вождей и воителей, прежде всего, высокую и прямую фигуру Дмитрия Сергеевича, слышишь его спокойный, четкий, несущий изначальную убежденность, голос. Голос, словно воплотившийся в избранном, но принадлежащий самой положенной в основание народа идее.

Мы прислушивались к этому голосу, когда отмечали 600-летие Куликовской битвы, 800-летие «Слова о полку Игореве», прислушиваемся и теперь, когда с опаской смотрим на приближающееся, совпавшее с принятием христианства, тысячелетие русской культуры. Как счастливо и удачно вышло, что в наших 80-х сошлись эти великие даты — историческая, и литературная, и духовная — три великие даты одна за другой, чтоб подхватывалось и полнее разгоралось народное самосознание. А между ними — 150 лет от смерти Пушкина, 100 лет — Достоевского, 75 — Толстого... И в это же время борьба «оседлости» с «кочевничеством» — против поворота северных и сибирских рек, за сохранение физического лица родных земель. И — долгожданная перестройка всех сфер общественной жизни, оздоровление государственного климата, гласность и вслед за экологией биологической и экологией культуры (термин, введенный Д. С. Лихачевым) экология нравственная, создание благоприятных условий для возвращения в лоно твое, человек.

Это должно было произойти неминуемо. Общество было беременно этим и даже переходило свои сроки. Мы долго еще, если суждено нам жить, станем вспоминать 80-е как рассветные времена. Рассвело прошлое, рассвело настоящее и соединилось с прошлым, несмотря на предупреждающие окрики о ретроградстве, прояснило и в душе, которая измаялась, у кого сохранилась, от своего двусмысленного положения на правах дальней родственницы, чье родство никак не удосуживались определить. Но эти времена нужно было подготовить, они наступили не как обратный шаг от пропасти, в которую можно скатиться, а как последовательное патриотическое выправление, как движение вперед. Вспомним имена Федора Углова, Петра Дудочкина, ученых из новосибирского Академгородка в борьбе за трезвость, вспомним имена Федора Абрамова, Сергея Залыгина, Юрия Бондарева, Василия Быкова, Алеся Адамовича, Василия Белова, Виктора Астафьева, Юрия Черниченко, Ивана Васильева и других, кто из года в год устно и письменно добивался, чтобы с глаз сняты были шоры, мешающие видеть родные нивы в неискривленном свете. Роль литературы, полагаю, была особенно важной. Она долго поддерживала жар отеческих начал и тепло нравственного происхождения человека, затем принялась их раздувать. В адрес древнерусской словесности Д. С. Лихачев сказал: «Литература поднялась над Русью громадным защитным куполом — стала щитом ее единства, щитом нравственным». Эти слова, пусть и с некоторыми оговорками, относящимися к ее захламленности, можно отнести и к современной отечественной литературе. Она выполнила свою объединительную и охранительную миссию достойно, упрекнуть ее не в чем.

Д. С. Лихачев занимает в нашей литературе и литературной науке отдельное место. Если сама по себе литература — выражение совести, то он для нее тоже совесть, смотритель совести, верный ее страж. Не он взял

это место, оно было дано ему всем ходом современных духовных вещей. Верхнее положение можно занять, высшее положение дается как бы за степень излучения. Прожив вместе с русской культурой тысячу лет, он впитал из нее и осветил свою земную службу и долю гуманизмом и только гуманизмом, любовью к человеку и земле. Любовь для него как дыхание. Это удивительно благодарный житель земли. Он благодарен всем народам и культурам за их общее и неустанное строительство любви как системы всяких отношений, за их непрекращающуюся мольбу о человеке; благодарен всем умным и добрым людям, с кем свела его судьба, учителям и ученикам, друзьям и единомышленникам; благодарен книгам, языкам, времени. Но прежде всего благодарен своему народу. Когда вы слышите или читаете Д. С. Лихачева, эта благодарность и эта радость жить, быть частью народа и его культуры, отвечать, продолжать, понимать и верить видны постоянно. Столь юношеская жажда жизни, ненасытность знаний и их результативность достаются далеко не всем.

«Жить в нравственном отношении надо так, как если бы ты должен был умереть сегодня. А работать так, как если бы ты был бессмертен», — делится он.

Хорошо сказано, но чем, какой позицией, каким путем этого добиться?

«Надо выбирать путь на абсолютную правдивость. И этот путь только внешне кажется трудным. Он — самый легкий. И самый перспективный. Никакие блага жизни не сравнятся с этим благом любить истину. Только на этом пути человеку удастся избежать закомплексованности, пожизненной, внутренней стесненности. Человек будет правильно, точно оценивать себя. У него не будет серьезных претензий к себе, постоянной неудовлетворенности собой, своей жизнью. А она есть сегодня у многих, у тех, в том числе, кто, если судить по внешним атрибутам, немало достиг».

Просто? Но это та простота и ясность, которые стоят даже не рядом с истиной, а за истиной, где все просто, ибо постигнуто.

Постижение, гражданское и человеческое, высокая состоятельность личности, государственность ее и, не побоимся этого слова, всемирность — снискали Дмитрию Сергеевичу Лихачеву огромную любовь и уважение в родных и чужих пределах. Прожить так жизнь — необыкновенная удача и счастье. Должно быть, есть в свете какая-то сила, которая хранит таких людей до окончания важного дела, до результатов. Только что одержана победа над поворотчиками рек. Создан фонд культуры. Ясная Поляна спасена от ядов химкомбината. Страна пришла к выводу, что разорять памятники истории и культуры действительно разорительно и дурно, что без культуры ничто, ни экономика, ни политика, прочно не держится. Древнерусскую литературу сегодня читают и изучают в Европе, Америке и Азии. И во всем этом «хождение», «моления», «слово» и «житие» Дмитрия Сергеевича. Мы привыкли, что то дело правое, на стороне которого он участвует. Но общее дело как совокупность перечисленных и предстоящих дел, как единый надежный щит, еще далеко не окончено. На его пути много чего.

Если хранит Д. С. Лихачева какая-то вещая и мудрая сила, пусть хранит крепче и дольше.

«Главное, от чего зависит физическое здоровье, — здоровье нравственное», — сказано им, в том числе, вероятно, и про себя.

СОДЕРЖАНИЕ

ЗНАКИ РОДИНЫ

Поле Куликово	5
Сибирь без романтики	27
Иркутск с нами	66
Байкал	92
Кяхта	101
Моя и твоя Сибирь	135

ВРЕМЯ И БРЕМЯ ТРЕВОГ

Что в слове, что за словом?	151
Вопросы, вопросы	160
Время и бремя тревог	181
«Верую, верую в Родину!»	191

БЛИЖНИЙ СВЕТ

Откуда они в Иркутске?	215
В некотором царстве, в некотором государстве	224
С любовью и виной	230
«Что ни возьми, одни воспоминания». <i>О романе Виктора Лихоносова «Ненаписанные воспоминания»</i>	236
Исповедимы пути твои. <i>О рассказах Геннадия Николаева</i>	245
Жила-была сказка... Живет ли она?	255
После ран	260
Вслед за Тополтой-рекой. <i>О повести Георгия Семенова «Вольная нагаска»</i>	264
Твой сын, Россия, горячий брат наш. <i>О Василии Шукшине</i>	272
Истины Александра Вампилова	301
Его сотворенное поле. <i>О Федоре Абрамове</i>	306
Все краски жизни. <i>К 60-летию Виктора Астафьева</i>	313
«Покуда человек природного дара держится». <i>К 70-летию Сергея Залыгина</i>	318
Вся жизнь — страда. <i>К 80-летию Дмитрия Сергеевича Лихачева</i>	326

Валентин Григорьевич Распутин
ЧТО В СЛОВЕ, ЧТО ЗА СЛОВОМ?

Рецензент *Д. Г. Сергеев*
Редактор *Л. А. Васильева*
Художественный редактор *А. Г. Маклыгин*
Художник *А. А. Зубченко*
Технический редактор *Т. А. Воронцова*
Корректоры *В. М. Ермакова, А. С. Лысенко*

ИБ № 1144

Сдано в набор 10.11.86. Подписано в печать 07.02.87. НЕ 00015, Формат 70×108¹/₃₂. Бум. тип. № 1. Гарнитура обычнов. новая. Печать высокая. Усл. печ. л. 14,78 (с фр.). Уч.-изд. л. 15,02 (с фр.). Усл. кр.-отт. 14,78. Тираж 50 000 экз. Заказ 1775. Изд. № 6090. Цена 75 коп.

Восточно-Сибирское книжное издательство Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 661000, г. Иркутск, ул. Марата, 31.

Типография издательства «Восточно-Сибирская правда» 664009, г. Иркутск, ул. Советская, 109.

